АЛЬФРЕД МОРИ

СОН
И СНОВИДЕНИЯ



АЛЬФРЕД МОРИ

СОН И СНОВИДЕНИЯ

Психологические исследования этих явлений и родственных им состояний

Об этой книге

Альфред Мори — французский ученый-историк и археолог, член Института. Много лет он изучал собственные сны: просил будить себя в разные мгновения засыпания, подносить к лицу запахи, касаться кожи, произносить слова — и записывал, как эти впечатления превращались в сновидения. Он первым описал гипнагогические галлюцинации — образы, возникающие на пороге сна.

В книге он сравнивает сновидение с бредом, душевным расстройством, сомнамбулизмом, экстазом, гипнозом и действием наркотических средств, а в приложении и примечаниях говорит о сне у животных, об инстинкте, о внушении, памяти и бессознательных движениях.

Содержание

Предисловие к первому изданию	6
Глава I. Мой способ наблюдения	11
Глава II. О физиологическом состоянии во время сна	14
Глава III. О снах и о том, как работает ум во время сна	35
Глава IV. О гипнагогических галлюцинациях	41
Глава V. О сходстве галлюцинации и сна с болезненным ослаблением ума	69
Глава VI. О сходстве сна и душевного расстройства	85
Глава VII. О душевном расстройстве и бреде. Теория галлюцинаций	121
Глава VIII. О некоторых несовершенствах ума и чувств, близких ко сну и сновидению	141
Глава IX. О природном сомнамбулизме	146
Глава X. Об экстазе и о том, как работает ум в этом состоянии	182
Глава XI. О гипнотизме и действии наркотических, обезболивающих и спиртных средств на ум	203
Глава XII. Об искусственном сомнамбулизме, или месмеризме	220
Заключение	268
Приложение. О сне в связи с развитием инстинкта и ума	276

Примечание A. О совместном участии различных частей организма в порождении мысли 324

Примечание B. О свободе во сне и при душевном расстройстве 331

Примечание C. О внушении 337

Примечание D. О возвращении воспоминаний во сне 343

Примечание E. Об утрате памяти 347

Примечание F. Новые наблюдения над гипнагогическими галлюцинациями 355

Примечание G. О неосознанных движениях 362

Примечание H. Об участии инстинктов и страстей в сновидении 370

Примечание J. О теории Дэвида Гартли об ассоциации идей 374

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

✦

Эта книга — изложение исследований, которые я давно уже веду над сновидениями и над явлениями, с ними связанными. Первый их очерк был помещен в *Медико-психологических анналах нервной системы* (*О гипнагогических галлюцинациях*, январь 1848; *Новые наблюдения о сходстве явлений сна и душевного расстройства*, июль 1853; *О некоторых фактах, замеченных в сновидениях и в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном*, апрель 1857). Со времени выхода этих статей я старался дополнить и расширить свои наблюдения, сопоставляя их с фактами, которые сообщали мне друзья или которые я находил у заслуживающих доверия авторов. Думаю, что так я напал на след истинной теории сновидения; однако я далек от притязания рассеять все ее темные места. Быть может, другие психологи, подчинив себя столь же строгому и последовательному методу наблюдения, какой принял я, окажутся удачливее меня. Но чтобы с пользой продолжать изучение этого любопытного явления, необходимо обязать себя к ежедневным опытам. Слишком часто в науке о проявлениях души и о действиях мысли терпеливое и методичное наблюдение — единственный путь, способный привести нас к истине, — подменяют построениями, выведенными из предвзятых идей или из чисто умозрительных теорий; отсюда и весьма медленные успехи психологии. Я старался обойти этот подводный камень и потому принял за основания лишь те начала, что вытекают из наблюдения. Не сделавшись заранее учеником какой-либо одной философской школы, я внес в это исследование полную

беспристрастность суждения; я просто наблюдал факты со всей строгостью, какая была мне доступна, и, так сказать, дал им говорить самим. Что до грозной задачи первопричин, я остерегся к ней подступаться, убежденный, что решить ее нам не по силам. Чувство Божества и бесконечного, живущее в человеке, при всей своей живости не может привести к тем точным и определенным понятиям, из которых складывается знание. Все, что нам дано постичь, — это явления: ведь именно через явления мы связаны с природой, и только явления действуют на наши чувства, обычный источник наших знаний и идей. Изучая сновидения и порождающий их сон, я искал почти исключительно закон, по которому они возникают, и обстоятельства, с которыми они связаны. Итоги этого изучения, как мне показалось, проливают некоторый свет на наш душевный склад и на образование идей. Я не отделял в своих исследованиях человека физического от человека нравственного, потому что в нашем земном существовании эти две стороны личности тесно соединены. Нельзя познать действия ума и ступени мыслящей жизни, не изучив прежде игру организма: тело ежеминутно влияет на душу, а душа — на тело. Человек, даже когда думает, что более всего ушел из-под влияния органов, все еще подчинен их власти. Психология останется неполной, пока не станет учитывать всех физиологических фактов. Ничто не показывает этого лучше, чем изучение сновидений, чем наблюдения, подробности и связь которых я излагаю в этом труде. Не желая выходить из области фактов, подвластных опыту, я оставлю читателю свободу выводить метафизические следствия из многих указанных мною явлений и сам не переступлю границ самого естественного и законного заключения.

Итак, метод, которого я держусь, — целиком метод наблюдения. Ему мы обязаны завоеваниями физических наук; он же, примененный шотландской школой, вернул философию на пути здравого смысла и, распространенный шире, обеспечит успехи наук нравственных и психологических. Но пусть не забывают, что опыт, чтобы оставаться надежным проводником, должен вестись с тем постоянством, с теми предосторожностями, с той бдительностью ко всем источникам ошибок, которые и составляют критический метод. Наблюдение имеет вес и ценность лишь тогда, когда его проверяет строгое суждение, когда воображение не вмешивается, чтобы преувеличить или исказить его итоги, и когда предвзятые теории не вводят в заблуждение насчет истинной причины явлений. Тяга к чудесному, склонность к сверхъестественному, готовность принимать — в силу верований, а не доводов разума, — факты, которые едва потрудились проверить, загромождают психологию множеством мнений, утверждений и гипотез, сильно мешающих ее движению вперед. Все, что касается сна и сновидения, больше, чем другие психологические факты, открыто такому вторжению воображения в область наблюдения. Потому-то явление, столь повсеместно известное, как сновидение, до сих пор окутано той же тьмой, что поначалу скрывала от человека все явления природы.

Если мне удалось кое-где проникнуть сквозь эту густую тьму, я достиг своей цели: во-первых, я прояснил один из любопытнейших вопросов душевной жизни, во-вторых, принес еще одно свидетельство в пользу превосходства опытного метода над тем, который исходит из отвлеченных построений и онтологических аксиом.

Книга эта на деле делится на две части. В первой я излагаю, как образуются сновидения, — так, как это следует из моих исследований; во второй прилагаю начала, выведенные из моих наблюдений, к фактам сходного порядка — более странным, потому что более редким, но которые мне не всегда удавалось изучать самому: к гипнотизму, к сомнамбулизму и к некоторым болезненным состояниям, в которых видели явления, противоречащие естественному порядку вещей. Без сомнения, я отваживаюсь кое-где, особенно в приложении и в примечаниях, на некоторые теоретические взгляды, которые могут показаться недостаточно обоснованными; но, излагая их, я скорее предлагаю их для изучения, чем выдаю за доказанные истины. Успехи анатомии и физиологии когда-нибудь, надеюсь, позволят их проверить. Знание о составе и действии головного мозга еще в младенчестве. Химические анализы, которые были предприняты, — лишь грубые пробы. Здесь лежит целая физиологическая физика, которой нужен свет органической химии, едва сложившейся в наши дни. Психология нуждается в ее указаниях, чтобы дать себе отчет в действиях, от нее ускользающих, а учение о душевных болезнях в свою очередь довершит освещение вопроса. Но пока небезынтересно предложить некоторые соображения, которые подсказывает уже известное число наблюдений и опытов. Если мне и не всегда удавалось в этой книге дать своим мыслям полное доказательство, я думаю по крайней мере, что даю полезную пищу для размышления. Хорошо возвращать человека к изучению самого себя. Наблюдая себя и погружаясь в глубину своего сознания, мы лучше понимаем, сколько удивительного в нашем устройстве, и наш ум поднимается на высоты, с которых мы парим над мелкими

заботами земной жизни. Наша мысль облагораживается, она становится яснее и чище!

ГЛАВА I. МОЙ СПОСОБ НАБЛЮДЕНИЯ

✦

Из предисловия читатель только что увидел, какими началами я руководствовался в этом опыте о сне и сновидениях. Я хотел заниматься опытной психологией. Прежде чем перейти к изложению своих наблюдений, я должен сказать несколько слов о том, как я их собирал. Нужно, чтобы каждый мог повторить мои опыты, проверить их строгость и убедиться в законности выводов, которые я из них делаю. Уже много лет я веду над собой исследование, которое волен предпринять любой человек, но которым почти никто не занимался — по недостатку постоянства и должного внимания, а также потому, что пренебрегали разными предосторожностями; поэтому я и считаю нужным их указать.

Я наблюдаю себя то в постели, то в кресле, в ту минуту, когда меня одолевает сон; я точно отмечаю, в каком расположении находился перед тем, как заснуть, и прошу человека, который рядом со мной, будить меня в мгновения, более или менее удаленные от того, когда я задремал. Разбуженный внезапно, я еще храню в уме память о сновидении, из которого меня вдруг вырвали, во всей свежести впечатления. Тогда мне легко сопоставить подробности этого сна с обстоятельствами, в которые я себя поставил, засыпая. Я заношу эти наблюдения в тетрадь, как врач заносит в свой журнал случаи, которые наблюдает. И, перечитывая составленный таким образом свод, я уловил между снами, приходившими в разные периоды моей жизни, совпадения и сходства, ключ к которым очень часто давало мне сходство обстоятельств, их, так сказать, вызвавших.

Наблюдение вдвоем почти всегда необходимо: ведь прежде чем ум вновь придет в сознание, совершаются психологические факты, память о которых, конечно, может сохраниться и после пробуждения, но которые связаны с проявлениями, доступными лишь стороннему глазу. Так, слова, произносимые в дремоте или в беспокойном сне, должен услышать кто-то, кто сможет вам их передать. Даже жесты и позы имеют свое значение. Наконец, участие второго лица необходимо потому, что вы никак не смогли бы проснуться в заданную минуту каким-нибудь механическим способом так, как просыпаетесь с помощью услужливой руки. Само собой разумеется, что для того, чтобы собрать полезные наблюдения, нужно быть расположенным к полудремотным грезам, к сновидениям, быть подверженным тем гипнагогическим галлюцинациям, которые я опишу ниже; таков как раз мой случай. Немногие видят сны так же быстро и так же часто, как я; очень редко воспоминание о том, что мне снилось, от меня ускользает, а память о моих снах часто сохраняется несколько месяцев такой же свежей — я бы охотно сказал, такой же яркой, — как в минуту пробуждения. Кроме того, я легко засыпаю вечером и в эти короткие мгновения сна начинаю видеть сны, связь которых с тем, чем я перед тем был занят, могу проверить через несколько секунд. Наконец, малейшее отступление от моего режима, легчайшая перемена в привычках порождают у меня сны или гипнагогические галлюцинации, совершенно не похожие на сны моей обычной жизни. Таким образом, у меня почти всегда в руках мерка действий, произведенных причинами, которые я могу оценить.

Теперь, когда публика знает мой метод и посвящена в особенности моего склада, я предстану перед ней то в дремоте, то спящим и расскажу, что со мной тогда происходит. Впрочем, мне

придется еще глубже посвятить ее в тайну моих слабостей и недостатков. Для наблюдений такого рода, где душа пытается открыть, как она действует, ей нужно раскрыться перед чужими взглядами просто и чистосердечно и, подобно тому, кто позирует художнику, оставить всем своим движениям их непринужденность и естественность. Мне нужно отложить в сторону не только личное самолюбие, но и гордость человека и едва ли не достоинство Божьего творения. Ведь этот ум, которым мы так гордимся, приходится показывать ежеминутно переходящим от силы к слабости. Нет ничего унизительнее, чем видеть, как минута сна или дремоты опускает нас, как будет видно из моих наблюдений, до уровня младенца, плачущего в колыбели, или старика, который заговаривается; грустно признавать нашу немощь и изучать явления, которые постоянно ставят нас лицом к лицу с распадом или остановкой мысли, близкой к смерти. Но философ находит в радости открытой истины утешение от горьких фактов, которые она может нам открыть; и если любопытство, побуждающее нас исследовать чудесные подробности нашего телесного устройства, легко помогает нам преодолеть отвращение к мертвой плоти и вскрытым телам, то интерес, который возбуждает психологическое познание человека, позволит нам перешагнуть через печали, какие может приготовить нам зрелище человеческого ума во всех его состояниях. Многие до меня взялись показать, что есть благородного, великого, могучего, обширного и даже возвышенного в человеческом разумении; остается разве что изучить ум в домашнем платье и рассказать, чем он становится, когда сбрасывает тот парадный наряд, что зовется разумом, и ту несколько утомительную осанку, что зовется сознанием.

ГЛАВА II. О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВО ВРЕМЯ СНА

✦

Прежде чем заняться явлениями, исходной точкой которых служит сон, необходимо составить себе точное представление о состоянии, в котором находится спящий человек. Я не собираюсь излагать здесь полную физиологическую теорию сна; я хочу лишь выяснить главные биологические обстоятельства и изменения организма, совпадающие с этим состоянием, потому что некоторые явления, связанные со сном, которые я буду изучать дальше, имеют, как мне кажется, свою причину в физических переменах, совершающихся тогда в нас.

Сон у человека, как и у животных, вызывается потребностью в отдыхе; это главная и периодическая форма, в которой одушевленные существа возвращают утомленному организму силу, нужную, чтобы приняться за новые занятия и продолжать действия, составляющие жизнь отношений с внешним миром. И в самом деле, явления, происходящие во время сна, указывают на замедление жизненных отправлений, на приостановку действия органов, которым поручено связывать нас с внешним миром. Кровообращение идет медленнее; дыхание и пищеварение менее деятельны; большая часть мышечных движений прекратилась, а чувства притуплены или на три четверти угашены[1]. В то же время берут верх отправления растительной жизни; они поглощают почти всю деятельность организма и своей работой помогают восполнить истощение животной жизни[2].

[1] См. Кабанис, *Отношения физического и нравственного в человеке*, раздел о сне в частности.

[2] См. Литтре и Робен, *Медицинский словарь Нистена*, статья «Сон».

Сон чаще всего бывает следствием усталости, которую мы испытываем, приводя в действие органы, подвластные воле; так как во время бодрствования мы не перестаем действовать и так как, с другой стороны, в силу самого нашего устройства мы можем произвести лишь известное количество деятельности, потребность в отдыхе, который дает сон, дает о себе знать периодически, и тем чаще, чем меньшей силой для действия мы наделены[3]. Смотря по тому, насколько полон этот сон, наши члены и чувства, мозг и мышцы отдыхают больше или меньше, то есть становятся более или менее способны вновь вступить в действие на определенный срок. Истощение наших умственных и телесных сил возвещает о себе желанием спать; если мы хотим бороться с наступлением сна, подхлестывая нервную силу, усталость наша растет, а когда это возбуждение проходит, потребность вскоре становится еще повелительнее.

[3] «Итак, ощущение есть утомление для жизни, и жизнь истощается более или менее быстро, смотря по тому, насколько сильно возбуждалось ощущение в данный промежуток времени. Вот почему в здоровом состоянии ощущение периодически прерывается». Дж. Хантер, *Лекции об основах хирургии*, в его *Сочинениях* в переводе Ж. Ришло, т. I, с. 308.

Итак, та скрытая и таинственная сила, которая дает организму толчок и поддерживает жизнь, возбуждая наши отправления и способности, во время сна действует уже не с той мощью, что наяву. Когда человек или животное утомлены, или, точнее говоря, когда они израсходовали почти весь запас жизненной силы, который как бы накопил в них последний сон, у них уже нет достаточной силы, чтобы без чрезмерного возбуждения

поддерживать ту полную игру организма, которая называется бодрствованием; их отправления замедляются, органы уже не так послушно повинуются воле, и весь организм становится как бы менее чутким: это и есть то, что называют желанием спать. Тогда человек, давая отдых утомленным органам, должен дать время новому количеству жизненной, или нервной, силы накопиться в нем — точно так же, как электрический скат, истощенный повторными разрядами вырабатываемой им электрической силы, нуждается в известном промежутке времени и в покое своего электрического органа, чтобы вновь стать способным к разрядам. Этим, по-видимому, и объясняется чередование бодрствования и сна, сна и бодрствования.

Впрочем, прибегая к усилию, о котором я только что говорил, человек обладает способностью актом своей воли поддерживать еще некоторое время движение и бодрствование: возбуждение нервов вызывает восполнение истощенной жизненной силы. Нервно-жизненный аппарат утомлен, количество доставляемой им жизни уменьшилось, но то с помощью возбуждающих средств, то нравственным усилием нам удается не дать оцепенению охватить члены и мозг, нервы и ум. В этом случае возникает борьба между нервами и организмом — борьба, которая истощила бы нас, если бы затянулась, и вскоре произвела бы глубокое расстройство в органах чувств или в головном мозге. Бессонница, лишение сна[4], от какой бы причины оно ни происходило, порождает помешательство, потому что цереброспинальная система тогда вынуждена непрестанно покрывать расход нервной силы, который ничем не восполняется. Но, однажды оцепенев, организм выходит из сна лишь под действием внешнего возбуждения или когда количество выработанной и не израсходованной нервной силы становится так велико, что само

по себе возбуждает органы. Так что наш сон бывает то более, то менее продолжительным. Впрочем, причины полуболезненные — легкий прилив крови к мозгу, отсутствие движения — могут продлить его или вызвать: ведь так как сон происходит оттого, что нервная сила не расходуется, то, даже когда она еще накоплена в количестве, достаточном для бодрствования, мы засыпаем, если ею не пользуемся. Все обстоятельства, которые уменьшают или приостанавливают упражнение умственных способностей, тем самым ведут ко сну.

[4] См. статью доктора Э. Ренодена *О болезнетворном влиянии бессонницы* в *Медико-психологических анналах*, 3-я серия, т. III, с. 384 и след.

По причине, обратной той, что действует, когда желание спать подавляют волей, через силу прибавляя себе деятельности, избыток сна отягощает и притупляет ум.

Как известно, не следует давать организму слишком долгого отдыха: ведь, наводя оцепенение на нервную систему чаще, чем нужно, сон в конце концов ослабил бы ее силу.

«Когда сон обычно слишком долог, — пишет Кабанис[5], — он притупляет нервную систему; он может даже в конце концов совершенно отупить отправления мозга. Нетрудно увидеть, что так и должно быть, если обратить внимание на то, что сон прерывает большую часть действий чувствительности, особенно тех, которые, по-видимому, преимущественно предназначены возбуждать все остальные, ибо от них исходят важнейшие впечатления, и самою силою этих впечатлений, из которых мысль черпает свой самый необходимый материал, они направляют, расширяют и укрепляют большинство чувствующих отправлений и сочувственно воздействуют на прочие».

[5] *Отношения физического и нравственного в человеке*, раздел «Влияние режима на нравственные привычки».

Сказанное показывает, что человек находится не только под влиянием своей воли, приводящей в действие его органы, но еще чаще подчиняется влияниям внешним. Его тело, его чувства непрестанно побуждаются к действию причинами, лежащими вне его. Поэтому, чтобы предаться отдыху, мы ищем положение, место, условия, лучше всего позволяющие уйти от внешних раздражений. Человек, как и животное, выбирает для сна укромное, тихое место, где ничто не оторвет его от нужного ему отдыха. Он принимает позу, не требующую никакого волевого усилия и меньше всего подставляющую его действию внешних сил, которыми он как бы окружен. Змея свертывается кольцом, птица прячет голову под крыло, куница закрывает глаза хвостом, еж сворачивается клубком, собака кладет морду под лапу, человек ложится на бок или на спину, садится или вытягивается. Лишь когда потребность во сне становится совершенно неодолимой, то есть когда запас силы действия и воли, которым мы располагаем, полностью исчерпан, мы засыпаем в каком угодно положении, как это бывает после крайнего утомления.

Я сказал, что спящий должен просыпаться сам, когда после известного времени отдыха жизненная сила восстановилась в количестве более чем достаточном. Говорили, что это душа будит тело; что первая бодрствует, пока второе спит; что душа стряхивает оцепенение с членов и органов. Таково, в частности, мнение, которое со своим обычным талантом развил Жуффруа в *Философских смесях*[6]. Но здесь этот тонкий наблюдатель, как нам кажется, не вполне отдал себе отчет в явлении. Прежде всего, употребляя слово «душа», он напрасно прибегает к началу, природу которого не мог четко определить. Душа, как признает сам Жуффруа, может узнавать о предметах, ее окружающих, лишь при посредстве чувств. Раз чувства совершенно усыплены, как

дойдет до нее весть о внешнем факте? Ясно, что если сон становится менее глубоким вследствие начавшегося восполнения утраченной жизненной силы, чувства уже не будут так оцепенелы; они ощутят стремление вступить в действие и уже передадут уму некоторые впечатления. Именно эти впечатления выводят мозг из оцепенения, пробуждают внимание и волю, а воля в свою очередь довершает освобождение органов от оцепенения. Исходной точкой, стало быть, было оживление деятельности чувств. Воля лишь заканчивает то, что начало ощущение. Доказательство тому — что если сон очень глубок, иначе говоря, если вследствие потребности в отдыхе чувства находятся в крайнем оцепенении, то, чтобы нас разбудить, их необходимо подвергнуть сильному и продолжительному возбуждению; иначе мы не просыпаемся. Итак, воля проснуться проявляется лишь тогда, когда ум воспринял впечатление чувств, а чтобы принять впечатление, чувства должны уже выйти из полного оцепенения.

---

[6] *О сне*, т. I, с. 118 и след. (Париж, 1833).

Из того, как он понимает это явление, Жуффруа заключает, что душа всегда бодрствует. Нужно условиться о значении этого слова. Если речь идет об уме, утверждение неточно. Ведь ум, как и тело, может проходить разные степени оцепенения. То, что происходит с чувствами, происходит и с мозгом. Если бы ум оставался во сне в том же состоянии, что и наяву, он не терял бы во сне почти всегда волю и разум — два своих существенных свойства. Правда, некоторые авторы утверждают, что умственные способности во сне не нарушаются и что бессвязность, неразумность сновидений происходят оттого, что чувства доставляют тогда нашим восприятиям лишь неполные данные; но им легко ответить тем

фактом, что наяву, хотя бы чувства и передавали нам лишь неполные впечатления, разум, если он не болен, по-прежнему действует нормально, и, следовательно, ум может работать правильно, хотя у чувств этого и нет. Мы тогда поправляем мыслью неполное или смутное восприятие, которое нас не обманывает; восполняем памятью недостаточные данные, доставляемые чувствами. Так бывает, с одной стороны, при обмане слуха, зрения или осязания; так наблюдается, с другой, у слепого или глухонемого. Во сне же мы образуем идеи лишь неполно, выносим суждения химерические и несообразные, ассоциация идей больше не подчиняется воле, и все понятия ума являются смешанными или смутными; стало быть, умственные способности на деле временно расстроены.

Кроме того, внимание — одна из способностей ума, одно из действий, которыми он приходит к познанию, — во сне заметно ослаблено. Ведь, как справедливо заметил Дугалд Стюарт[7], все, что ведет к уменьшению внимания, располагает ко сну, и чем слабее внимание у человека, тем легче им овладевает сон. Не все люди одинаково способны к вниманию, и большая сила, которую можно в него вложить, свидетельствует о силе ума.

---

[7] См. *Начала философии человеческого духа*, пер. Пейсса, т. I, с. 244.

Раз во сне мы перестаем хотеть, сравнивать, понимать, быть внимательными, значит, ум цепенеет, как и члены. Скажут, быть может, что колеблется не ум, а мозг. На это я отвечаю, что при нынешнем образе нашего существования невозможно отделить орган от силы, которой он действует. Наш ум проявляется лишь при условии, что мозг работает более или менее полно; и если мозг впадает в состояние вялости или отупения, следует сказать, что ум ослабевает. Итак, раз мозг разделяет то же оцепенение, что

охватывает остальное тело, ум засыпает, как и чувствующий организм; и подобно тому как мы видим, что во сне чувства притупляются лишь не полностью и еще сохраняют некоторое действие, так и ум чаще всего хранит следы деятельности. Это не дает права говорить, что душа бодрствует, а тело спит, потому что во сне они сохраняют свое обычное соотношение: в то время как чувства притупляются, а члены цепенеют, ум становится менее острым. Но хотя то и другое временно поражены в своей деятельности, тело и ум продолжают находиться во взаимной связи, благодаря которой возбуждение, сообщенное чувствам, передается духу, а дух в свою очередь возбуждает чувства и довершает их пробуждение. На деле пробуждение вызывается влияниями извне или впечатлениями, которые приносит игра животных и умственных отправлений, продолжавшаяся во время сна. Скопление мочи в пузыре, кала в прямой кишке, например, вызывают в нас ощущения достаточно сильные, чтобы вывести нас из оцепенения. Точно так же сон, сильно поразивший наше воображение, кошмар будят нас, потому что сообщают мозгу толчок, который вскоре передается остальному телу. Итак, производятся ли ощущения действиями организма или вызваны возбуждением извне, они всегда отражаются в уме; они действуют либо на спинной мозг, либо на головной и вызывают действия инстинктивные или произвольные; но это не доказывает, что душа, иначе говоря, деятельное и мыслящее начало, бодрствует больше, чем тело. И то и другое просто способны быть вырванными из своего оцепенения — вследствие возбуждения, переданного чувствами и воспринятого духом или испытанного духом и сообщенного чувствам.

Вообще говоря, подлинно естественная причина самопроизвольного пробуждения — возбуждение, возникающее в

цереброспинальном аппарате от нервной силы, накопившейся за время отдыха.

Накопление может быть еще недостаточным, чтобы пробуждение совершилось само собой, но уже настолько большим, что после случайного легкого возбуждения бодрствование возобновляет свой ход. Силы восстановлены — неполно, конечно, но все же восстановлены, — и наш организм, снабженный запасом деятельности, сможет выдержать новое бодрствование.

Впрочем, приостановка животных и умственных отправлений никогда не бывает полной, потому что полная приостановка была бы смертью. Но пружины нашей машины могут проходить все степени деятельности, от самого живого возбуждения до самого глубокого оцепенения, и на убывающей шкале жизненной силы последовательно находятся простые полудремотные грезы, легкий сон со сновидениями, глубокий сон с неполными и неясными сновидениями или без сновидений, коматозное состояние, обморок.

Дугалд Стюарт, обычно столь тонкий и рассудительный наблюдатель психологических явлений, впал, однако, в явную ошибку, когда поставил выбор: либо воля во сне остается приостановленной, либо она теряет власть над способностями духа и членами тела. Воля тогда редко бывает упразднена так полно, как в коматозном состоянии; обычно она еще проявляется, но утратила часть своего действия и силы вследствие полуоцепенения органов, которые приводит в действие, чтобы проявиться; поэтому она, как и члены, может быть более или менее бодрствующей. Если она не действует, то не только оттого, что органы, ставшие менее чуткими, не откликаются на ее побуждение, но и оттого, что мозг сам может оцепенеть, как

члены. Впрочем, ошибка, допущенная шотландским философом, не единственная, в которой можно упрекнуть его теорию сна; читая ее, замечаешь, что он недостаточно изучил физиологические факты. Он не заметил, что непроизвольные и жизненные движения могут во сне цепенеть и замедляться, как и движения ума, вследствие ослабления нервной силы, и что, напротив, действия души, зависящие от воли, не всегда остаются приостановленными, как он утверждает. Мы хотим во сне, и порой сильно, но инертность наших органов и отсутствие суждения, которое предоставляет воле средства проявиться, препятствуют ее исполнению. Воля остается в состоянии простой идеи, если только тело не спит лишь частично, если прежнее перевозбуждение не оставило избытка нервной силы, достаточного, чтобы держать как бы бодрствующими органы и те части головного мозга, которые нужны духу для исполнения задуманного. Так, в частности, бывает у сомнамбулы, как я покажу в дальнейшем.

Итак, нельзя допустить, что ум действует одинаково при разных видах сна; и что бы ни утверждали некоторые философы, мысль тогда может быть более или менее полной, умственные действия могут совершаться при более или менее ясном сознании и более или менее деятельно. Без сомнения, человек, страдающий слабоумием или кретинизмом, человек, пораженный размягчением мозга, еще мыслят; но эту мысль, слабую и бессвязную, часто прерывающуюся и подверженную перебоям, нельзя сравнить с размышлением здорового человека.

Факт, на который опирался Жуффруа, утверждая, что во сне дух бодрствует и как бы стоит на часах, — это пробуждение от странных или незнакомых шумов и продолжение сна, когда такие шумы давно доносятся до слуха спящего, уже успокоенного насчет

их природы. Мельник, привыкший к стуку своей мельницы, во сне ничуть от него не страдает; парижанин, свыкшийся с шумом экипажей, не замечает сотрясений, которые они вызывают вечером или утром в его комнате. Напротив, тот, кто впервые ночует на мельнице или недавно приехал в Париж, постоянно тревожим непривычным шумом и то и дело просыпается. Здесь уместно повторить замечание, сделанное мною выше. Душа может слышать лишь при посредстве слуха или по крайней мере сотрясений, которые ощущает тело; если она, удивленная или испуганная непривычным шумом, выходит из полуоцепенения, составляющего ее сон, чтобы приказать организму возобновить деятельность, то потому, что слух передал шум мозгу; эта передача вызвала в головном мозге возбуждение, которое есть лишь следствие впечатления, полученного ухом. Ухо не было вполне нечувствительным или оцепеневшим, иначе оно не могло бы принять сотрясение; ум тоже не был вполне приостановлен, иначе он не мог бы воспринять звук. И, как справедливо замечает Жуффруа, когда ум уже знает причину внешнего шума, ему достаточно быстрого и мимолетного представления, чтобы ее вспомнить; тогда он не выходит из своего состояния или, лучше сказать, выходит из него лишь затем, чтобы тут же вернуться, и тело остается в том частичном оцепенении, которое свойственно сну.

Однако Жуффруа, хотя и видел вещи лишь несовершенно, был все же вправе признать здесь явление, сходное с тем, что происходит при сосредоточении внимания. Ум приобретает привычку оставаться безразличным к одним ощущениям, чтобы воспринимать лишь другие. Человек, привыкший работать среди разговоров и шума, подобен спящему, которого уже не будят привычные звуки и сотрясения. Здесь есть явление привычки и

силы внимания — энергия духа, обратная склонности к рассеянности. Но эта умственная сила, нередко являющаяся в высшей степени у математика или у человека, поглощенного глубокой заботой, не предполагает полной игры ума и совместима со сном, то есть с известной степенью ослабления чувствительности. Доказательство тому читатель найдет в том, что будет сказано в этом труде о природном сомнамбулизме и об экстазе. Ум следует считать оцепеневшим, когда его способности в совокупности проявляют отупение; но это не мешает одной из этих способностей продолжать тогда действовать нормально, а часто даже и с большей силой, чем наяву. Мы вернемся к этому предмету, говоря о сновидениях.

Впрочем, воля, ослабленная во сне, может быть возбуждена и как бы разбужена раньше чувств; она способна выйти из оцепенения прежде, чем тело совсем стряхнет свое. Порой во сне, особенно в кошмаре, мы хотим — и не можем сделать органы послушными этой воле. Нам кажется, что мы в опасности, мы хотим позвать на помощь — и издаем лишь слабые, нечленораздельные крики; тогда мы пытаемся вырваться из сна, смутно сознавая, что нас давит сновидение, и удается нам это лишь с трудом. Здесь воля явно бодрствует больше, чем внешние чувства; но надо заметить, что оживили эту волю очень яркие внутренние чувственные впечатления: настолько верно, что чувства должны сперва передать духу побуждения, чтобы он начал действовать.

Поэтому я не стану дальше углубляться в это разграничение души и тела, на котором применительно ко сну слишком настаивали; мне достаточно сказать, что оба их механизма действуют согласно и сохраняют взаимные связи.

Что я должен найти — так это причину оцепенения волевой способности и силы внимания, которое у засыпающего соответствует для духа замедлению мышечной деятельности, отупению чувств и ослаблению пружин нашего организма.

Оцепенение органа вызывается замедлением кровообращения в артериях и особенно в венах — замедлением, которое отзывается на нервах. Нервы, будучи возбудителями кровообращения, в то же время испытывают и его обратное действие, и когда кровообращение становится менее деятельным, чувствительность притупляется или ослабевает.

Обратно, если ослабевает чувствительность, кровообращение совершается медленнее. Посмотрим, что происходит, когда от долгого пребывания какой-либо части тела, например ноги, в одном и том же положении наступает онемение. Оставляя ногу неподвижной, мы перестаем возбуждать нервную силу; ее действие замедляется, и это замедление, отзываясь на кровообращении, заставляет кровь течь медленнее; отсюда мурашки, свойственные онемению. То же явление бывает, когда дает о себе знать паралич: ослабление нервной силы вызывает время от времени остановки кровообращения, и мурашки становятся предвестниками утраты движения или чувствительности. Обратно, если мы замедлим кровообращение, сдавив орган, член, палец, чувствительность в нем притупляется. Здесь кровообращение воздействует на нервную силу, тогда как в первом случае нервная сила воздействовала на кровообращение.

При нервной горячке, как отметил доктор Сандрас[8], пульс отличается особой живостью: удар бьет быстро и быстро исчезает; чувствуешь, что напор уступает сразу после того, как прошла волна; кровяная волна, хотя и переменная по объему, имеет в себе что-то резкое и жесткое, тотчас сменяющееся

поразительной живостью стенок артерии. Кожа тогда становится горячей, но это жар поверхностный, исчезающий, если подержать некоторое время руку на теле больного. Здесь неравномерность нервного действия придает кровообращению неравномерное движение, вызывающее попеременно активные и пассивные приливы крови. Кровь течет то быстро, то медленно — вот почему жар недолог. По той же причине в пульсе есть что-то жесткое, зависящее от крайнего напряжения, сменяемого расслаблением. Это наблюдение над пульсом при нервной горячке хорошо показывает нам действие нервов на кровообращение.

[8] См. Сандрас, *О нервной горячке*, в *Медико-психологических анналах*, т. VIII, с. 221 (сентябрь 1846).

Замедление кровообращения сдавливает орган, в котором оно происходит, — совершается ли это сдавление механически или просто следует из ослабления нервного тока. Приложим это начало к мозгу. Нервная сила ослаблена расходом во время бодрствования, кровообращение замедлено; в головном мозге происходит сдавление, сходное с тем, которое испытывают онемевшие члены; отсюда уменьшение силы внимания и воли. Мы и в самом деле видим, что все снотворные средства замедляют кровообращение, а средства, отгоняющие сон, его ускоряют. Когда мы засыпаем, в головном мозге от замедления кровообращения происходит сдавление, сходное с тем, местом которого бывают онемевшие члены. Отсюда уменьшение внимания и воли, упражнение которых связано с деятельностью кровообращения в мозге. Доказательство в том, что, когда у нас болит голова, когда мы чувствуем, как кровь давит на мозг, мы одновременно замечаем, что внимание дается нам с трудом, а деятельность становится менее энергичной. Когда головная боль нервная, то есть когда ослаблена нервная сила — то ли от слишком сильного

возбуждения из-за употребления возбуждающих напитков, то ли вследствие самостоятельной вялости всей системы, — ощущение то же; но здесь нервный ток замедлил кровообращение и переполнил сосуды, тогда как при головной боли от прилива крови кровь останавливается, раздувает сосуды и затем уже действует на нервы и на головной мозг. Перед нами два вида прилива, которые важно различать, хотя признаки их очень сходны. Ведь, по замечанию Андраля, в патологии есть закон: в любом органе уменьшение количества крови, которое он должен нормально содержать, производит расстройства отправлений так же, как и присутствие избытка крови. Мало того, в обоих случаях расстройства отправлений бывают порой совершенно одинаковы. Сердце, легкие и желудок обнаруживают эти явления так же, как мозг, и часто находили этот последний орган вместе с его оболочками совершенно обескровленным у детей, умерших среди судорог. Коматозное состояние, как и бред, совпадает с бледностью нервных центров. При бледной немочи, как и при полнокровии, при головной боли бывают дурнота, головокружения, звон в ушах.

Знаменитый Галлер и Д. Гартли считали причиной сна скопление крови в сосудах головного мозга[9], но не позаботились исследовать природу этого прилива.

[9] См. Робли Данглисон, *Физиология человека*, 5-е изд., Филадельфия, 1844, т. II, с. 553.

В наши дни выдающийся анатом Я. Генле[10] указал различия, которые следует проводить в отношении прилива; он заметил, что прилив, завися от вялости сосудов и их нервов, может наступать прямо, одновременно с вялостью нервов животной жизни, — это составляет *пассивный* прилив, — или косвенно, при усиленном действии этих нервов, — отсюда так называемый

активный прилив. Эти два капиллярных прилива проявляются: первый — ощущением холода, второй — усилением тепла.

[10] *Общая анатомия, или Учение о тканях*, перевод с немецкого Журдана, т. II, с. 58. Париж, 1853.

В нормальном сне температура человеческого тела понижается, нервы теряют часть своей деятельности; налицо *пассивный* прилив; отсюда замедление кровообращения в мозге[11] и, следовательно, ослабление воли и внимания, сила которых, при прочих равных условиях, тем больше, чем деятельнее это кровообращение[12]. Таким образом, мы находим здесь подтверждение данного выше объяснения явления.

[11] Знаменитый английский анатом Маршалл Холл, рассматривая под микроскопом глаз летучей мыши в состоянии оцепенения, установил, что кровь в мелких артериях и мелких венах течет тогда медленно. См. Дж. Хантер, *Полное собрание сочинений*, пер. Ришло, т. IV, с. 218, примечание.

[12] См. Лейкок, *Ум и мозг*, т. II, с. 55, 327.

Ночь, уменьшающая число ощущений и не приносящая всех дневных причин возбуждения, тем самым меньше возбуждает органы чувств; она не так сильно приводит в действие нервную силу, и вот почему она располагает человека ко сну, тем более что присоединяется к усталости от бодрствования.

Чтобы уйти от этого снотворного влияния ночи, придется искусственными средствами умножать причины возбуждения: пользоваться искусственным светом, напитками, ускоряющими кровообращение, музыкой или прибегать к влечению какой-нибудь сильной страсти.

Так можно перенести бодрствование туда, где природа назначила отдых, и, наоборот, поместить отдых там, где должно было быть бодрствование. Такое нарушение естественного

порядка не обходится без серьезного вреда для здоровья[13], потому что дневной сон никогда не восстанавливает сил так, как ночной. Когда солнце встало, тысяча причин стремятся привести в действие наши чувства, и замедление кровообращения, свойственное сну, уже не совершается так правильно. «Дневной сон, — пишет доктор Мишель Леви, — оставляет после себя признаки неполного восстановления, которые держатся до конца дня: некоторую тяжесть в голове, вялость чувств, горечь или вязкость во рту».

[13] См. Мишель Леви, *Трактат об общественной и частной гигиене*, 3-е изд., с. 383 и след.

Тот же автор отметил, что сон, которому предаются днем в южных странах или в сильную жару, не обладает теми же достоинствами, что сон ночной. Природа, правда, и тогда побуждает ко сну; но прилив, вызывающий этот сон, уже другого рода. Высокая температура порождает активный прилив; и именно такой прилив происходит всякий раз, когда сон, вместо того чтобы наступать просто от потребности восстановить нервные силы, бывает следствием притока крови к мозгу, ускорения кровообращения из-за пищеварения; в этом случае он всегда более или менее принимает болезненный характер. Опьянение порождает подобный сон. Поэтому оно обычно сопровождается тяжестью в голове, головной болью. Кровь, давящая на разные части мозга, ослабляет нервное действие. Это ослабление, если оно следует за употреблением ядовитых веществ или злоупотреблением спиртным, часто предваряется сильным возбуждением, обратным ударом которого и служит нервная вялость; умственные способности, сперва оживленные введением известного количества спиртного, затем впадают в упадок.

Сходство мозгового состояния пьяного и спящего окончательно доказывает нам, что сон есть следствие преходящего прилива. Но прилив в том и другом случае неодинаковой природы. При головной боли от прилива крови голова, вместо того чтобы остывать, становится горячее: прилив *активный*. Что же до действия того и другого прилива на ум, оно представляет известное сходство.

Душевное расстройство, которое, как будет видно дальше, имеет столько сходства со сном, тоже чаще всего зависит от прилива крови к головному мозгу, вызванного или поддерживаемого нервным перевозбуждением. Паралитическое помешательство, или общий паралич душевнобольных, несомненно происходит от причины этого рода. Большинство тех, у кого вот-вот начнется помешательство, жалуются на головные боли с особыми ощущениями в мозге. «Одним, — пишет доктор А. Соз[14], — кажется, что им сдавливают или раздирают голову, другие испытывают ощущение пустоты или холода в черепе. Больные жалуются также на усталость, которую, казалось бы, ничто не оправдывает. Они не способны заниматься своими обычными делами». Словом, у них проявляется нечто, напоминающее наступление сна, и, конечно, потому, что действующая причина в обоих явлениях сходна. Я часто замечал, что, когда я страдаю невралгией, приближение сна удваивает мои боли и вызывает у меня местную головную боль, подобную той, которая, по Созу, служит одним из признаков душевного расстройства.

---

[14] См. А. Соз, *О физических симптомах помешательства*, в *Медико-психологических анналах*, 3-я серия, т. III, с. 364.

Так как одно из действий оцепенения, которому обязан сон, — притуплять чувствительность, понятно, что при очень глубоком

сне в некоторых органах проявляется начальная анестезия. Есть спящие, чей сон так полон, что их трогают, толкают, даже бьют, а они не просыпаются. П. Прево из Женевы приводил пример человека, которому во время сна прижгли мозоль на ноге, а он этого не заметил[15]. Холод, который вызывает сон, потому что замедляет кровообращение и производит пассивный прилив к мозгу, порождает и неполную анестезию, и с помощью охлаждающих средств удавалось производить местную анестезию[16].

[15] См. *Наблюдения о сне* во *Всеобщей библиотеке Женевы*, т. LV, отдел «Словесность» (1834), с. 237, 238.

[16] См. *Медико-психологические анналы*, 2-я серия, т. IV, с. 467, и Дж. Хантер, *Сочинения*, пер. Ришло, т. I, с. 331.

Как видим, если позаботиться о различении разных форм прилива, мы уже не сталкиваемся с противоречиями, в которых Лелю упрекает физиологическую теорию сна[17]. Эти противоречия появляются, лишь если ограничиться поверхностным изучением явления; для их разрешения нужно внимательное рассмотрение.

[17] См. *Словарь философских наук*, т. VI, статья «Сон» (Париж, 1852).

Разные части цереброспинальной системы, имея каждая свои отправления, способны к большему или меньшему развертыванию деятельности. Нервная, или жизненная, сила распределена неравномерно по всему организму, по всем очагам иннервации. Понятно поэтому, что во время сна та или иная часть нервной системы охвачена более или менее выраженным оцепенением — смотря по тому, насколько она истощила пребывающую в ней силу. Спинной мозг, продолговатый мозг, мозжечок, мозолистое тело, четверохолмие, полушария большого мозга могут быть неравно ослаблены, неравно оцепенелы, или,

говоря проще, разные части тела могут спать неодинаковым сном. Нетрудные наблюдения показывают нам возможное неравенство этого оцепенения. При пробуждении одни члены, одни мышцы дольше остаются онемевшими, чем другие. Если мы хотим быстро встать, мы спотыкаемся: это мозжечок, управляющий движениями при ходьбе, еще не вышел из оцепенения, которое уже стряхнули полушария мозга. Обратно, двигательная способность может проснуться раньше чувствительности; иначе говоря, нервные волокна, ведающие движением, стряхивают оцепенение раньше тех, что ведают чувствительностью. Сдавите локтевой нерв у локтя, затем вытяните предплечье: кисть и пальцы еще совершенно нечувствительны; сначала вы пытаетесь пошевелить ими и не можете, а когда это удается, вы их еще не чувствуете; но когда кровообращение восстанавливается, когда в пальцах возникает покалывание, чувствительность понемногу возвращается[18]. То же самое происходит при пробуждении со всей совокупностью органов чувств, а когда мы засыпаем, оцепенение часто охватывает нас в обратной последовательности. У человека, который грезит на ходу, ум, иначе говоря, полушария мозга, через которые он действует, уже начинает цепенеть, тогда как спинной мозг и мозжечок еще в полном действии. У того, кто во сне, не сознавая этого, непроизвольно опорожняет кишечник, продолговатый мозг, первый двигатель этого действия, не оцепенел, тогда как полушария и мозжечок оцепенели. То, что происходит с крупными отделами цереброспинальной системы, а быть может, хотя и в меньшей степени, и с системой большого симпатического нерва, должно происходить и с разными внутренними частями мозга. Степень их оцепенения должна меняться от одной к другой, смотря по тому, насколько каждая

нуждается в восстановлении своей нервной силы. К сожалению, физиологи еще не знают точных отправлений этих разных частей.

[18] См. по этому поводу остроумные взгляды доктора Мэра на нервное кровообращение. — Медико-хирургический конгресс Франции, 1-я сессия, состоявшаяся в Руане, с. 23.

По моему мнению, разные умственные действия, разные нравственные чувства требуют преимущественно участия определенных частей головного мозга. Это вытекает из большого числа наблюдений. Не то чтобы я поэтому принимал локализации френологов: краниоскопия, как показали Лелю и Флуранс, покоится на произвольном эмпиризме; но и оставив френологию в стороне, мы имеем факт, засвидетельствованный многими вскрытиями: утрата памяти на определенные разряды предметов или слов, ослабление суждения, способности к отвлечению соответствуют поражениям определенных частей головного мозга или остановкам его развития. Это явно видно при идиотии. Образование опухоли внутри черепа может лишить силы память или способность говорить, судить, связывать идеи[19]. Каждое действие ума, без сомнения, требует участия разных способностей, но в нем есть начало, отвечающее особому органу. Чтобы прийти не к такому определению, еще невозможному при нынешнем состоянии наших знаний, а к доказательству неравенства действия умственных способностей, нам нужно изучить умственные явления, происходящие во время сна; это я и сделаю в следующей главе.

[19] См. в особенности наблюдения Годара. *Отчеты Академии наук,* 22 июня 1846.

ГЛАВА III. О СНАХ И О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ УМ ВО ВРЕМЯ СНА

✦

Я сказал, что оцепенение, составляющее сон, обычно охватывает не в одинаковой степени все части цереброспинальной системы; первое доказательство этого мы имеем в том, что в минуту засыпания оцепенение захватывает не сразу и не равно все наши чувства, все наши деятельные и сознательные отправления; другое доказательство, уже упомянутое выше, — что при пробуждении тот или иной орган часто дольше другого остается в полуоцепенении. Природа мозговых и нервных движений, которые продолжаются во сне, позволяет нам судить, насколько он глубок. То же мерило приложимо и к умственным способностям: восприимчивость, память, воображение, воля, суждение развиты в сновидении неравно, что указывает на разные степени деятельности в тех или иных частях полушарий мозга. То наш ум вызывает знакомые ему образы, например лицо друга, родственника, не вспоминая его имени; то ощущения, которые передают нам чувства, проснувшиеся на три четверти, воспринимаются лишь несовершенно: мы приписываем им силу, характер, которых у них нет. В первом случае налицо вялость памяти, во втором — ослабление восприимчивости. В другой раз мы воображаем, что участвовали в невозможных событиях, в делах гораздо более давних, чем мы сами; верим в существование людей, о которых знаем, что они умерли, в мгновенные путешествия за несколько сотен лье; здесь ослабленным оказывается суждение. Бывают сны, в которых нам не удается

представить себе знакомые образы, составить идеи, захотеть действий, которых мы желаем, удержаться от поступков, внушающих нам ужас; в таких снах воображение и воля явно повреждены. Впрочем, ослабление, поражающее ту или иную способность, а значит, и ведающий ею орган головного мозга, само меняется на протяжении сна. Иной мозговой орган цепенеет, затем начинает просыпаться от мимолетного возбуждения, снова засыпает, чтобы снова проснуться, и так далее.

Из столкновения этих неравно оцепеневших мозговых органов и рождается характер сновидения. Чем больше преобладает оцепенение, тем сновидение смутнее и мимолетнее; чем больше иные органы бодрствовали во сне, тем больше, напротив, следов сновидение оставляет в нашем уме. Если же оцепенели лишь некоторые чувства, некоторые второстепенные способности, а в иных отношениях память, воображение, суждение, воля остаются нетронутыми, мы сможем в своих снах последовательно сочетать идеи, сочинять стихи, как это сделал Вольтер с одной из песен *Генриады*, музыку, как Тартини со своей знаменитой сонатой *Дьявола*, совершить научное открытие, как, по собственному рассказу, сделал физиолог Бурдах. Сосредоточение мысли на одном предмете, устранение всякой причины рассеяния лишь благоприятствуют во сне этим действиям ума. Добавим, что некоторые волокна мозга могут не только оставаться бодрствующими, тогда как другие охвачены оцепенением, но даже способны к большей степени перевозбуждения по разным причинам: например, от пищи, напитков, прежних душевных волнений, даже от усталости, вызвавшей боль, которая, как отмечает Кабанис, в свою очередь становится причиной перевозбуждения[20]. Однако, как справедливо заметил Шарма в

своей статье о сне[21], это случаи редкие: здравый смысл и связные мысли являются во сне лишь вспышками и как бы сами собой.

[20] *Отношения физического и нравственного в человеке*, раздел о сне в частности. — Этот выдающийся мыслитель отмечает, в самом деле, что людям, перенесшим сильное утомление, нужно принять теплую ванну, успокоительное питье и пищу или хотя бы отдохнуть некоторое время в тишине и темноте, прежде чем они смогут уснуть.

[21] *Записки Академии наук, искусств и словесности города Кана*, 1851, с. 419.

Не внимание и не воля приводят перед умственный взор образы, которые во сне мы принимаем за действительность; они возникают сами собой, по некоему закону, обусловленному бессознательным движением мозга. Возникновение этих образов, которые наяву обычно вызывает воля, соответствует для ума тому, чем для двигательной способности бывают некоторые движения при хорее и паралитических заболеваниях: ведь при этих болезнях мы видим, как мозг без участия воли вызывает мышечные действия, которые во всяком другом случае от нее зависят[22]. Образы сна господствуют над вниманием и волей и потому являются нам как предметные создания, как произведения, исходящие не от нас, которые мы созерцаем так же, как внешние вещи. Это не просто идеи, а чувственные образы, и именно этот их внешний характер и заставляет нас верить в их действительность.

[22] См. Дж. Хантер, *Лекции об основах хирургии*, в его *Сочинениях* в переводе Ришло, т. I, с. 305.

Воспроизведение образов и ощущений, воспринятых наяву, чаще всего доставляет сновидению его материал. Нам снится то, что мы видели, говорили, желали или делали. Доказательство в том, что, когда наши идеи, наши ощущения меняются, меняется и природа наших снов. Потерявшие зрение еще некоторое время видят во

сне видимые предметы, но позднее во сне только слышат. Мое зрение стало очень слабым лет двадцать назад, и что же: когда во сне я представляю себе далекие предметы, они всегда предстают мне смутными и неясными. Один глухой, о котором рассказывает Денди[23], тридцать лет изъяснялся лишь знаками; ему снились только разговоры жестами и знаками, подобными тем, к которым он прибегал наяву. Если же нам снятся давние события, то потому, что оставленное ими в нашем уме впечатление было очень глубоким или какое-то обстоятельство оживило память о них.

[23] *Философия тайны*, Лондон, 1841, с. 228.

Таковы обычные источники сновидения; но есть еще влияние, зависящее от телесного состояния спящего. Важно заметить, что наши сны, как и наши мысли, как и идеи, внезапно возникающие в бодрствующем уме, как и наши поступки, представляют собой равнодействующую всех внутренних и внешних впечатлений, которым подвержен весь наш организм. Как прекрасно показал Лелю в превосходном труде о *Физиологии мысли*[24], все органы человеческого тела суть очаги чувственных впечатлений. Непрестанно происходят пробуждения этих чувственных впечатлений, которые суть лишь более или менее ослабленные их повторения; и из совокупности этих впечатлений рождается чувство личности.

[24] *Физиология мысли*, 2-е изд.

Пейсс справедливо упрекнул некоторых врачей душевных болезней в том, что они отводят недостаточно места в происхождении помешательства, а значит, и в происхождении идей, ощущениям, рождающимся из чисто растительной жизни. Именно эти впечатления больше всего и составляют нашу личность, потому что, будучи бессознательными, они не имеют в

себе ничего предметного: они поистине — мы сами. «Мозг, — говорит он[25], — без сомнения, всегда участвует как орудийное условие всякого умственного или чувственного представления в сознании, в „я“; но он лишь своего рода отголосок изменений, совершающихся в глубинах общей ганглиозной системы, в которой пребывают первоисточники жизненности. Именно эти разнообразные виды органической чувствительности, неверно названные Биша *нечувствительными*, выражаясь во внутреннем чувстве как состояния и переживания самого „я“, порождают бесконечное разнообразие чувств, волнений, расположений, в которых более или менее живо открывается сознание существования».

[25] *Медицина и врачи*, т. II, с. 21 (Париж, 1857).

Отсутствие согласия и правильной связи между этими впечатлениями, вызванное неравномерным пробуждением органов, приводит к расстройству наших мыслей и чувств, к искажению чувства собственной личности, — и это расстройство и есть бред сновидения.

Бред этот столь же разнообразен, как и состояния, которые его вызывают; он зависит от того, сколько деятельности сохраняется в различных частях мозговых аппаратов. Он — зеркало всего нашего организма. Поэтому он связан с тысячей причин, которых мы не в силах распутать, но у которых тем не менее есть свое физиологическое или болезненное основание. Вот почему он может порой давать медицине верные предвестия, обнаруживать те или иные склонности ума или сердца. Спящий возвращен своим инстинктам, своим господствующим привязанностям[1], и даже мысли его возникают инстинктивно. В этом хаосе многообразных причин некоторые можно различить ясно; но

чтобы хорошо понять, как они действуют, нужно изучить, как рождается сновидение, — что я теперь и попытаюсь сделать.

---

[1] См.: Мен де Биран, *Nouvelles considérations sur le sommeil*, в его *Œuvres philosophiques*, изданных В. Кузеном, т. II, с. 248, 249.

ГЛАВА IV. О ГИПНАГОГИЧЕСКИХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯХ

✦

Есть явление, знакомое очень многим людям, которому весьма подвержен и я сам и которое, как мне кажется, способно пролить свет на то, как возникают сновидения; я говорю о галлюцинациях, которые предшествуют сну или сопровождают пробуждение. Эти образы, эти призрачные ощущения возникают в ту минуту, когда нас одолевает сон, или когда мы еще не вполне проснулись. Они составляют особый род галлюцинаций, к которому подходит название *гипнагогических*, образованное от двух греческих слов: ὕπνος — *сон* и ἀγωγεύς — *ведущий, проводник*; соединенные вместе, они указывают на мгновение, когда галлюцинация обычно является. Этим необычным явлением уже занимались несколько немецких физиологов — И. Мюллер, Пуркине, Груйтуйзен, Брандис, Бурдах[2], — а французский психиатр, которому мы обязаны превосходными трудами о галлюцинации, г-н Байярже, посвятил ему особую статью[3]; но эти авторы далеко не исчерпали предмета и, главное, на мой взгляд, недостаточно уловили связь, соединяющую гипнагогическую галлюцинацию со сновидением, с одной стороны, и с галлюцинациями при душевном расстройстве — с другой[4]. Чтобы восполнить этот пробел, я уже давно предпринял ряд наблюдений над самим собой и дополнил их сообщениями, которые любезно сделали мне люди, подверженные тому же явлению.

---

[2] См.: И. Мюллер, *Manuel de physiologie*, пер. Журдана, т. II, с. 536; Бурдах, *Traité de physiologie*, пер. Журдана, т. V, с. 205; Г. Валентин, *Lehrbuch der Physiologie des*

Menschen, т. II, ч. 2, с. 584, № 4594 (Брауншвейг, 1848).

[3] Байярже, *De l'influence de l'état intermédiaire à la veille et au sommeil sur la production et la marche des hallucinations*, в *Annales médico-psychologiques du système nerveux*, т. V (Париж, 1845). См. также в том же сборнике, т. VII, с. 1 и далее, статью г-на Байярже *Sur les hallucinations psycho-sensorielles*.

[4] О сходстве этих галлюцинаций с галлюцинациями душевнобольных см.: В. Гризингер, *Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten*, с. 75 (Штутгарт, 1845).

Из изложения собранных таким образом фактов я и извлеку сопоставления, которые помогут мне объяснить разные существенные стороны сновидения.

Прежде всего надо заметить, что люди, чаще всего испытывающие гипнагогические галлюцинации, обладают легко возбудимым складом и обычно предрасположены к гипертрофии сердца, к перикардиту и к болезням мозга.

Это я мог подтвердить собственным опытом. Мои галлюцинации многочисленнее и особенно ярче, когда у меня появляется — а это случается со мной часто — наклонность к приливу крови к мозгу. Стоит мне страдать головной болью, стоит ощутить нервные боли в глазах, ушах, в носу, стоит почувствовать тянущую боль в мозгу — и галлюцинации осаждают меня, едва сомкнутся веки. Так я объясняю себе, почему всегда подвержен им в дилижансе, проведя в нем ночь: недосыпание, неполный сон неизменно вызывают у меня головную боль. Один из моих двоюродных братьев, г-н Гюстав Л., который испытывает те же галлюцинации, имел случай сделать о себе сходные замечания.

Когда вечером я предаюсь упорной работе, галлюцинации непременно являются. Несколько лет назад, проведя два дня подряд за переводом длинного и довольно трудного греческого отрывка, я, едва лег в постель, увидел образы столь многочисленные и сменявшиеся с такой быстротой, что,

охваченный настоящим страхом, приподнялся и сел, чтобы их рассеять. Напротив, в деревне, когда ум мой спокоен, я лишь изредка испытываю это явление.

Черный кофе и шампанское, которые даже в довольно малом количестве вызывают у меня бессонницу и головную боль, сильно располагают меня к гипнагогическим видениям. Но в этом случае видения появляются лишь спустя очень долгое время, когда сон, тщетно призываемый в течение нескольких часов, наконец готов меня одолеть.

В подкрепление наблюдений, которые заставляют считать прилив крови к мозгу одной из явных причин галлюцинаций, скажу, что все встречавшиеся мне люди, испытывающие их, как и я, уверяли меня, что они так же сильно подвержены головным болям, тогда как многие люди, среди которых назову свою мать, почти не знающие головной боли, говорили мне, что никогда не видели этих призрачных образов.

Это первое наблюдение показывает нам, что явление должно быть связано с перевозбуждением нервной системы и с наклонностью мозга к приливам крови.

Галлюцинации немецкого книгопродавца Николаи, которые имели большое сходство с гипнагогическими и были в некотором роде их разновидностью, но возникали в состоянии бодрствования, а не в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, прошли после того, как ему поставили пиявки[5].

[5] Николаи видел с открытыми глазами фигуры людей и животных, особенно после еды, то есть в то время, когда идет работа пищеварения. Эти зрительные галлюцинации в конце концов, как и у натуралиста Савиньи, соединились с галлюцинациями слуха.

Гипнагогическая галлюцинация — признак того, что во время наступающего сна деятельность чувств и мозга будет ослаблена

лишь слегка. В самом деле, когда начинаются эти галлюцинации, ум уже перестал быть внимательным; он больше не следует логическому и произвольному порядку своих мыслей и размышлений; он предоставляет воображение самому себе и становится пассивным свидетелем созданий, которые оно непрестанно порождает и рассеивает. Это условие — отсутствие внимания, отсутствие умственного напряжения — в самом начале необходимо для возникновения явления; и оно объясняет, на наш взгляд, почему явление это служит предвестником сна. Ибо для того чтобы мы могли предаться сну, ум должен как бы отступить, ослабить свои пружины и перейти в состояние полуоцепенения. А начало этого состояния как раз и есть то, что необходимо для появления галлюцинаций. Внимание может отступать либо от усталости органов мысли, от непривычки их долго действовать и работать, либо от усталости чувств, которые на время притупляются, перестают доставлять ощущения мозгу и потому больше не дают уму ни материала, ни предметов для деятельности. Из первой из этих причин и происходит сон, к которому нас привели предшествовавшие ему дремотные грезы. Ум, перестав быть внимательным, постепенно навел сон. Вот почему некоторые люди, чей ум мало привычен к размышлению или к чисто умственному вниманию, засыпают, едва захотят поразмыслить или просто почитать. Вот почему скучная речь, скучная книга нагоняют сон. Внимание, которое оратор или занимательность книги уже недостаточно возбуждают, отступает, и сон не замедлит овладеть нами. Доктор Марсе сообщает нам, что у страдающих хореей гипнагогические галлюцинации тоже связаны с большим трудом сосредоточить внимание. Человек, больной хореей, находится в состоянии нервного и мозгового возбуждения, сходном с состоянием человека, испытывающего

гипнагогические галлюцинации; однако у него это состояние выражено гораздо сильнее и смешивается с нервными расстройствами, которые зависят от болезни[6].

[6] См.: *Annales médico-psychologiques*, 3-я серия, т. V, с. 456.

Но для того чтобы проявилась гипнагогическая галлюцинация, вовсе не нужно, чтобы отсутствие внимания длилось долго; достаточно, чтобы оно продолжалось хотя бы секунду, а может быть, и меньше. Это я очень часто проверял на себе. Я ложился в постель; через несколько минут внимание, до тех пор бодрствовавшее, отступало; тотчас образы представали перед моими закрытыми глазами. Появление этих галлюцинаций возвращало меня к себе, и я вновь подхватывал нить своих мыслей, чтобы вскоре опять впасть в новые видения, — и так несколько раз подряд, пока не засыпал совсем. 30 ноября 1847 года мне удалось наблюдать эти странные чередования. Я читал вслух «Путешествие по Южной России» г-на Оммер де Гелля: едва дочитав абзац, я невольно закрывал глаза. В одно из таких коротких мгновений дремоты я увидел в гипнагогическом состоянии, но с быстротой молнии, образ человека в коричневой рясе и с капюшоном на голове, похожего на монаха с картин Сурбарана; этот образ тотчас напомнил мне, что я закрыл глаза и перестал читать; я разом поднял веки и продолжил чтение. Перерыв был так короток, что человек, которому я читал, его не заметил.

В этом состоянии невнимания чувства еще вовсе не уснули: ухо слышит, члены ощущают то, что к ним прикасается, обоняние воспринимает запахи; но все же их способность передавать ощущение уже не так жива и отчетлива, как в бодрствовании. Что же до ума, то он перестает ясно сознавать свое «я», он как бы

пассивен, он весь в предметах, которые на него действуют; он воспринимает, видит, слышит, но не сознает, что воспринимает, видит, слышит. Здесь действует умственный механизм совершенно особой природы, во всем подобный механизму дремотных грез. Но стоит уму вернуться к себе, стоит вниманию восстановиться — и сознание вновь вступает в свои права. Поэтому можно с полным основанием сказать, что в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном ум становится игрушкой образов, вызванных воображением; что они заполняют его целиком, ведут туда, куда идут сами, увлекают его как бы вне его самого, не позволяя ему в эту минуту размышлять о том, что он делает, — хотя потом, придя в себя, он может прекрасно помнить пережитое и способен его описать, как я покажу ниже.

Поскольку для того, чтобы не помешать явлению проявиться, ничто не должно возбуждать внимания, необходимо, чтобы никакой предмет не действовал на глаза, никакой слишком громкий звук не занимал слуха, никакой слишком сильный запах не действовал на обоняние. Отсюда, как правило, необходимость закрыть глаза для того, чтобы галлюцинации возникли[7]. Но, однажды появившись, они могут продолжаться еще мгновение сразу после того, как глаза открылись. Призрачный образ тогда сияет очень недолго перед возвращающимся зрением; он исчезает, чтобы больше не вернуться, как только веки вновь опускаются. Такое же явление стойкости образа бывает иногда и тогда, когда просыпаешься посреди сновидения, сильно взволновавшего; в течение секунды, а может быть, и меньше, видишь тогда образ, обманывавший тебя во сне. Я не раз испытывал это действие, которое отмечали и другие. Впрочем, справедливо сказать, что глаза, хотя и открытые, еще не

различают отчетливо предметов, что в действительности они лишь широко раскрыты. И образ исчезает как раз в то мгновение, когда зрение перестает быть смутным.

[7] С тех пор как была написана эта глава, я несколько раз испытывал, вследствие очень сильного прилива крови к мозгу, начатки гипнагогических галлюцинаций при открытых глазах. Эти видения нападали на меня в ту минуту, когда усталость мозга вызывала у меня невнимание. Но образы были более смутными и мимолетными, чем те, что я видел с закрытыми веками.

Перевозбуждение, от которого зависит это явление, мешает мозгу сразу впасть в то бессилие, которое неотделимо от глубокого сна. Образы, которые рисуются перед нашими закрытыми глазами, звуки, раздающиеся в наших полуоцепеневших ушах, — предвестники снов, которые займут наш ум, когда мы уснем. Немецкие физиологи, занимавшиеся гипнагогическими галлюцинациями, уже признали это, и Груйтуйзен с полным основанием назвал эти призрачные видения *хаосом сновидения*.

Когда вечером я засыпаю в кресле и прошу разбудить меня через несколько мгновений после того, как сон отяжелит меня, я очень часто убеждаюсь в связи между образами, явившимися мне в минуту засыпания, и сновидениями, которые я видел во время этого короткого сна. Однажды вечером причудливые гримасничающие лица в необычных головных уборах с невероятным упорством являлись перед моими уже сомкнутыми глазами. Я еще не спал; я слышал все, что говорилось вокруг. Внезапно вырванный из сна, последовавшего за этими гипнагогическими галлюцинациями, я заметил, что видел во сне те же странные уборы.

В другой раз, во власти голода, вызванного диетой, которую я назначил себе ради здоровья, я увидел в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном тарелку и кушанье,

которое брала с нее рука с вилкой. Уснув через несколько минут, я очутился за хорошо накрытым столом и слышал в этом сновидении стук вилок сотрапезников.

Недавно я испытывал сильное раздражение сетчатки; вечером, в постели, в ту минуту, когда я закрывал глаза, я увидел крошечные буквы, которые читал одну за другой с крайним утомлением; проснувшись примерно через час, я еще был весь полон своим сновидением и вспомнил тогда, что видел во сне раскрытую книгу, напечатанную очень мелким шрифтом, которую с трудом читал.

Впрочем, связь гипнагогических галлюцинаций и сновидений легко объяснить: ведь и те и другие обычно определяются состоянием мозга и всего организма. Эти странные фигуры, которые мы видим в минуту засыпания, зависят от состояния организма, которое может продолжаться и после того, как сон овладел нами. Я сделал несколько наблюдений, которые показывают, что образы, рисовавшиеся перед моими полузакрытыми глазами, часто вызывались внутренними ощущениями или воспоминанием об образах, которые я созерцал несколькими часами раньше.

В один из февральских дней 1862 года я ощущал тянущую боль в желудке и кислый вкус во рту. Через несколько мгновений я сажусь в кресло и впадаю в оцепенение, предвестник сна. Кровь приливала мне к лицу[8]. Тогда я увидел в гипнагогической галлюцинации блюдо с рагу под горчицей, от которого исходил запах, напомнивший мне вкусовое ощущение, испытанное незадолго перед тем.

[8] Я заметил, что образы бывают ярче и красочнее, когда ощущение прилива крови сильнее.

В другой раз, под действием возбуждения в половых органах, которое я заметил у себя еще наяву, мне явилась женская фигура с признаками гермафродита.

Многие видения, о которых говорится в житиях отшельников и мистиков, должны были быть галлюцинациями того же рода. В состоянии созерцания, молитвы неподвижность, в которую погружается мысль, вызывает расположение ко сну, и тогда должны являться образы, соответствующие прежним заботам ума и состоянию тела. Так христианские отшельники Египта, например святой Павел и святой Антоний, видели призрачные образы, которые принимали за явления бесов; непристойные фигуры вызывались перед их глазами самой строгостью воздержания, которое они на себя налагали. Подобные видения тревожили и индийских подвижников; только они приписывали ракшасам[9] то, что христианские монахи относили на счет Сатаны.

[9] См.: *Ramayana*, итальянский перевод Г. Горрезио, т. II, с. 157.

Во всех этих фактах видно одно и то же самопроизвольное действие мозга под влиянием сходных побуждений. Поэтому можно сказать, что гипнагогические галлюцинации составляют образующие элементы сновидения. Есть, однако, та разница, что в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном ум еще полностью сознает себя, он не верит в действительность призрачных образов или ощущений; он чувствует себя, владеет собой, хотя странность галлюцинаций может иногда его смутить или испугать, что нередко и вырывает его из готового овладеть им сна[10]. Я знал одну старую служанку, сильно подверженную гипнагогическим галлюцинациям, которую страшные лица, являвшиеся ей, так пугали, что она всегда держала возле кровати зажженную свечу.

[10] См. об этом: Г. Валентин, *Lehrbuch*, т. II, ч. 2, с. 584.

Не одни только более или менее странные образы, звуки, ощущения вкуса, запаха, осязания осаждают нас в минуту, когда нас одолевает сон; иногда, когда задремываешь, в голове вдруг возникают слова, фразы, и притом без всякого повода. Это настоящие галлюцинации мысли, потому что слова звучат во внутреннем ухе, словно их произносит чужой голос. Когда прилив крови очень силен, эти слова вызывают в голове настоящий гул, и их звучание порождает своего рода головную боль. Эти бессвязные слова и фразы быстро забываются; но я тоже не раз замечал явную связь между ними и сновидением, которое следовало за ними, когда я засыпал, испытав это явление.

Например, однажды вечером моему воображению вдруг представились слова: *аналитическая геометрия трех измерений*. Уже несколько дней эта самая фраза беспрестанно и машинально приходила мне на ум. Уснув затем, я увидел во сне, что занимаюсь математикой, и повторял в этом сне — я это прекрасно помню — те же слова: *аналитическая геометрия трех измерений*. В другой раз, когда я закрывал глаза, чтобы уснуть, я слышу, как меня зовут по имени: это была чистая гипнагогическая галлюцинация; в сновидении, которое вскоре последовало, мое имя было произнесено несколько раз.

Итак, явление происходит одинаково, идет ли речь об образе, о звуке или о мысли. Мозг получил сильное впечатление от ощущения, от мысли; это впечатление позднее само собой воспроизводится как отзвук мозговой деятельности, который порождает либо гипнагогическую галлюцинацию, либо сновидение. Эти отголоски мыслей, это возвращение образов, прежде воспринятых умом, часто не зависят от его последних забот; они происходят тогда от внутренних движений мозга,

соответствующих движениям остального организма, или возникают по цепочке, через связь с другими образами, возбудившими ум, — точно так же, как это бывает с нашими мыслями, едва мы предаемся мечтательности и даем блуждать воображению.

Помню еще, как во Флоренции незадолго до того, как уснуть, я увидел картину Микеланджело, поразившую меня в Лоджиях, а затем увидел ее снова во сне. В другой раз, в Париже, я узнал во сне две странные фигуры конных егерей, которые являлись мне в моих галлюцинациях. Наконец, приведу последний случай: месяц назад, засыпая, я увидел льва, который напомнил мне того, в чьем обществе я двенадцать лет назад возвращался с Сироса в Триест, и увидел его во сне в той же позе, в какой он был тогда, и так же помещенным в клетку. Образ этого льва был внушен мне, я в этом убежден, чтением об инстинкте животных, которым я только что занимался.

Ограничусь этими примерами; впрочем, я мог бы привести и много других, в частности случай с ромбоэдрической фигурой зеленого цвета, которая явилась мне во сне через несколько минут после того, как я уже видел ее с закрытыми глазами, причем этот сон на стуле длился всего десять минут[11]. Но умножение таких примеров не прояснило бы явления больше.

[11] См. об этом наблюдения доктора Чезаре Ломброзо, *Frammenti medico-psicologici*, с. 20 (Милан, 1860).

Сказанного достаточно, и оно позволяет нам заключить, что самопроизвольные движения мозга, возбуждение чувств, вызывающие гипнагогические галлюцинации, продолжаются во время сна и служат силами, производящими сновидение.

Здесь, следовательно, мы видим подтверждение того, что я отметил в предыдущей главе, а именно: сновидение зависит от

того, что некоторые части головного мозга и органов чувств остаются бодрствующими вследствие перевозбуждения, которое противится полному оцепенению. Это перевозбуждение, обычно легкое, принимает резко выраженный характер при некоторых болезнях; отсюда те утомительные сновидения, которые служат их обычными признаками.

Галлюцинации могут касаться всех чувств, и порядок, в котором чувства располагаются по частоте вызываемых ими галлюцинаций, в точности тот же, что наблюдается в обманах сновидения. Прежде всего — зрение. Зримые образы составляют основу всех гипнагогических галлюцинаций, как и снов. В минуту засыпания и во время сна мы видим череду призрачных фигур и предметов, обладающих всей живостью фигур и предметов действительных. За зрением идет слух. В промежуточном состоянии между бодрствованием и сном мы слышим звуки, голоса, членораздельные слова точно так же, как слышим их во сне. Осязание, вкус и обоняние одинаково редко участвуют и в гипнагогических галлюцинациях, и в сновидениях. Однако многие люди испытывают в минуту засыпания ложные осязательные ощущения, чувствуют мнимые запахи или вкусы, подобные тем, которые в некоторых случаях обманывают нас во сне.

Чтобы лучше разобрать эти различные галлюцинации, я рассмотрю отдельно разные роды ощущений, возникающих в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном.

Галлюцинации зрения

Галлюцинации зрения, по-видимому, исходят из обманов, вызванных сильным возбуждением сетчатки, как заметил И. Мюллер[12]. Эти обманы заставляют нас видеть, как только веки сомкнуты, пламя, цвета, извилистые светящиеся линии, неясные

формы. Есть люди, у которых гипнагогические галлюцинации зрения не идут дальше этих странных и внезапных видений. Пуркине заметил, что призрачные образы сначала представляют собой смутные туманности, среди которых часто появляются светлые или темные точки и которые через несколько минут образуют облачные блуждающие полосы. Бурдах заявляет, что часто видел в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном лишь неопределенные формы[13]. И. Мюллер говорит об отдельных светлых или цветных массах. Но воображение, когда ум под натиском сна уже не судит отчетливо, вскоре придает этим светящимся и цветным видениям определенную форму.

[12] *Manuel de physiologie*, пер. Журдана, т. II, с. 537.

[13] *Traité de physiologie*, пер. Журдана, т. V, с. 206.

Галлюцинации зрения могут возникать не только в минуту наступления сна, но, если нервная система очень перевозбуждена, и тотчас, как закроешь глаза или войдешь в темноту, — что доктор Чейн и наблюдал у некоторых женщин. Знаменитого натуралиста Лелорня де Савиньи они постоянно тревожили, когда наступала ночь, и это создавало для него невыносимое положение, так как он страдал нервной болезнью, вынуждавшей его оставаться в темноте. Его галлюцинации зрения, впрочем, скоро соединились с галлюцинациями слуха, во многом напоминавшими бред при душевном расстройстве.

Окраска образов, их яркость, а затем бледность, когда явление ослабевает, ясно доказывают, что они рождаются из возбуждения сетчатки, поддерживаемого или вызываемого раздражением мозга, приливом крови к мозгу, воспалением мозга и т. д. В этом можно убедиться, прочитав подробное описание знаменитой галлюцинации немецкого книгопродавца Николаи, которая

возникала в бодрствовании под длительным действием тех же причин, что действуют мимолетно в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном. Фигуры, которые он видел, в конце концов утратили свой цвет и яркость. По Пуркине, призрачные образы меняются, когда мышцы сдавливают глазное яблоко, а И. Мюллер отметил, что они могут исчезать при малейшем движении глаза. Груйтуйзен описал случаи, когда эти образы, подобно обманам, вызванным просто воспалением или возбуждением сетчатки, закрывали внешние предметы; когда, согласно обычным законам оптики, очень яркий призрачный образ оставлял на своем месте фигуру той же формы, но темную; когда наблюдатель, увидев во сне, например, что на раскаленные угли бросают фиолетовый плавиковый шпат, видел затем желтое пятно на синем фоне[14].

[14] См.: *Annales médico-psychologiques*, т. VII, с. 9.

При галлюцинации вроде тех, что были у Николаи, один больной вдруг увидел под деревом человека, закутанного в широкий синий плащ, и, желая проверить знаменитый опыт Дэвида Брюстера, надавил на глазное яблоко одного глаза; этим он сделал фигуру менее отчетливой; затем, взглянув на нее искоса, он увидел ее раздвоенной и в натуральную величину[15].

[15] Там же, т. III, с. 170.

Эти факты, как заметил доктор Байярже, доказывают, что здесь галлюцинация целиком чувственная. Здесь не просто ошибка ума, но и расстройство в чувствующем аппарате. Иначе говоря, происходит двойная ошибка: ошибка чувств и ошибка ума. А именно это происходит и во сне, где, как замечает Аристотель[16], мы мыслим еще нечто сверх являющихся нам образов. Тогда случается примерно то же, что часто бывает с близоруким: не

различая ясно предметов на расстоянии, он работой воображения превращает их в другие, совсем непохожие, отдельные части которых его глаз будто бы узнает. Это я не раз мог проверить на себе, потому что я очень близорук. Так, помню, однажды на Новом мосту мне почудилось, что я вижу конного кирасира, и мне казалось, что я различаю весь его наряд: каску, султан, кирасу и мундир. Подойдя к этому мнимому всаднику, я узнал носильщика, который нес на заплечной раме огромное зеркало. Отблески зеркала и высота, на которую оно поднималось над носильщиком, и создали весь обман. Многие галлюцинации опьянения имеют тот же характер. Марк приводит историю пьяного, который наткнулся на кузнечный станок для ковки лошадей и, приняв его за человека, гневно воскликнул: «Погоди, завтра ты мне за это заплатишь; я уж узнаю тебя по алому мундиру и стальным пуговицам!»[17] Едва ли найдется человек с тем же недостатком зрения, который не мог бы привести сходных случаев. Когда под властью поверий или страха мы ночью превращаем в призраков, привидений, разбойников какое-нибудь дерево, какой-нибудь кусок полуразрушенной стены необычной формы, освещенный лунным светом, наше испуганное воображение точно так же прибавляет собственный замысел к неполному восприятию, которое доставляет нам неуверенное зрение среди темноты.

[16] Аристотель, «О сновидениях», гл. I, § 3.

[17] Марк, *De la folie considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires*, т. II, с. 610.

В некоторых случаях я мог дать себе отчет в целиком чувственном происхождении моих собственных гипнагогических галлюцинаций. Вот пример: когда у меня бывает прилив крови к сетчатке, я обычно вижу с закрытыми глазами цветные мушки и

светящиеся круги, которые рисуются на моих веках. И вот в краткие мгновения, когда сон возвещает о своем приходе призрачными образами, я часто замечал, что светящийся образ, вызванный возбуждением зрительного нерва, как бы изменялся перед очами моего воображения и превращался в фигуру, чьи сияющие черты изображали черты более или менее фантастического лица. Мне удавалось в течение нескольких секунд следить за последовательными превращениями, которые мой ум производил над этим первоначальным нервным впечатлением, и я еще различал на лбу и щеках этих голов тот красный, тот открытый синий цвет, тот светящийся блеск, что сияли перед моими закрытыми глазами до начала гипнагогической галлюцинации.

Скажем сразу, хотя речь здесь еще не о слуховых галлюцинациях, что то же самое происходит и со слухом. Гул и звон в ушах служат исходной точкой тех членораздельных звуков и голосов, которые нам чудятся в минуту, когда сон отяжеляет нас. Мы превращаем в музыку и слова то, что есть лишь смутный шум, порожденный возбуждением слухового нерва. Несомненно, и нервы осязания, вкуса и обоняния своим возбуждением вызывают смутные впечатления, которым ум, воспринимая их, придает больше силы и определенности.

С течением времени гипнагогические галлюцинации могут стать сильнее и превратиться в настоящие видения. Их испытывают тогда уже не только в минуту засыпания, но и тотчас, как закроешь глаза, или с открытыми глазами в темноте. Так бывает у одного из моих друзей, г-на М.

Вначале галлюцинации возникают лишь в минуту, когда внимание ослабевает, когда ум перестает думать. Я долго испытывал это явление только при таких обстоятельствах, но

мало-помалу ум, как бы разбуженный этими видениями, приобретает способность созерцать и удерживать их. Призрачные образы становятся менее мимолетными. Мои галлюцинации теперь иногда длятся достаточно долго, чтобы я успевал уловить все подробности гримасничающего лица или пейзажа, самопроизвольно возникшего перед моим закрытым глазом.

Однажды вечером, после дня, когда я много читал английских книг, напечатанных на глянцевой бумаге, я увидел в ту минуту, когда глаза мои закрывались и я собирался уснуть, блестящий лист, на котором были написаны три английских слова, — я успел перечитать их и понять. В другой раз я несколько раз подряд смотрелся в зеркало, бреясь, и это несколько утомило мне глаза. Вечером, лежа в постели, я снова отчетливо увидел свое лицо на блестящем фоне, таким, каким мне его показало зеркало.

Этот последний случай — из тех, что лучше всего показывают, что предметы, видимые в гипнагогических галлюцинациях, большей частью, как и наши сны, суть лишь прежде воспринятые впечатления, которые сами собой пробуждаются в нашей памяти.

Большинство лиц, которые я видел в своих галлюцинациях, казались мне чистым вымыслом; однако некоторые отчетливо показывали мне черты родных, друзей, знакомых или людей, которых я встречал. Так, я очень часто видел лицо моего отца, которого имел несчастье потерять в 1831 году. Его черты являлись тогда моему внутреннему оку с такой живостью, какой никогда не могло бы им вернуть мое простое воспоминание. Некоторые из этих лиц, не принадлежавшие ни одному знакомому мне человеку, часто являлись мне несколько ночей подряд или через короткие промежутки одна после другой. Впрочем, я отметил то же самое и в своих снах. Помню, что за месяц восемь раз видел во сне некое лицо, которому всегда придавал тот же

облик, тот же вид и которого я тем не менее не знал, которое, вероятно, даже вовсе не существовало вне моего воображения. И, что странно, этот человек часто продолжал в одном сне действия, начатые им в другом.

Пейзажи, рисовавшиеся перед моими закрытыми глазами, тоже казались мне то вымышленными картинами, то изображением мест и видов, которые я посещал или по крайней мере видел на картинах. Так, в первую ночь, которую я провел в Константине, городе, чей живописный вид сильно восхитил меня, я, лежа в постели с закрытыми глазами, отчетливо снова увидел зрелище, которым любовался наяву днем. То же явление я испытал в Константинополе через два дня после приезда. В Барселоне галлюцинация дала лишь частичное воспроизведение: лежа в постели, я увидел дом в квартале Барселонета, который, впрочем, мало привлек мое внимание. Наконец, в Эдинбурге, в Мюнхене, в Бресте перед моим закрытым глазом возникали пейзажи, поразившие меня во время прогулок по окрестностям этих городов. Особенно в путешествии или вечером после загородной прогулки я бываю подвержен этим живописным галлюцинациям. После нескольких пребываний в замке Ф., расположенном в десяти лье от Парижа, где я провел немало счастливых минут, я часто созерцал его в своих ночных видениях, почти каждый раз в новом виде.

Призрачные предметы, которые рисуются перед глазами, не вполне похожи на предметы действительные; глаз легко различает их ложность; и все же эти образы гораздо ярче, гораздо живее, чем были бы самые верные их изображения, какие можно было бы написать. Обычно они невелики, особенно фигуры людей и животных. Не помню, чтобы видел их в натуральную величину; и я не нахожу никаких указаний на это в наблюдениях, которые

записываю вот уже четыре года. Даже пейзажи сильно уменьшены; это почти миниатюры. Редко я вижу больше двух-трех предметов сразу, а чаще всего — лишь один. Однако мне случалось иногда видеть их довольно много. Однажды, когда я ехал в дилижансе в Швейцарию по дороге через Мюлуз, у меня была одна из самых замечательных галлюцинаций с множеством образов, какие я у себя наблюдал. Утомленный двумя ночами, проведенными в экипаже, я около одиннадцати часов утра начал впадать в дремотные грезы, возвещавшие близкое наступление сна. Я машинально закрывал глаза. Я еще слышал топот лошадей и переговоры почтальонов, сменявших упряжку, как вдруг передо мной явилась толпа маленьких человечков, красноватых и блестящих, которые совершали тысячу движений и, казалось, беседовали между собой. Это видение длилось добрых четверть часа. Оно возвращалось несколько раз и окончательно исчезло лишь по моем прибытии в Бельфор. Тогда я встал; лицо у меня было очень красное; кровь сильно приливала к голове. Нечто подобное я испытал два года назад, в июле, тоже в экипаже; фигуры тогда были не так многочисленны и, главное, не так ярки.

Прежние восприятия возвращаются так же, как образы, и в виде звуков, вкусов и запахов. Когда лицо, слово, событие, мысль сильно поразили наш ум, мы видим их во сне, или гипнагогическая галлюцинация может их воспроизвести. Наш мозг и то из наших чувств, которое было сильно взволновано, как бы охватывает судорожное движение, пробуждающее прежде воспринятое впечатление.

Несколько лет назад у меня болела голова от ревматических болей, сопровождавшихся легким приливом крови в теменной области. Было десять часов, я только что лег в постель; через двадцать или тридцать секунд после того, как я отдался

неопределенности мыслей, предвестнице сна, я очень отчетливо услышал — хотя, впрочем, не с той ясностью и особенно не с той внешностью звучания, как если бы слышал настоящий голос, — восклицание, повторенное несколько раз подряд. Галлюцинация была достаточно сильной, чтобы вернуть мое внимание и совсем вывести меня из начинавшейся дремоты. Тяжесть, которую я ощущал около ушей, все возрастала, и, размышляя о голосе, который только что слышал, я вполне узнал интонацию, ритм речи человека, говорившего со мной несколькими днями раньше. Тембр этого голоса поразил меня тогда же, как я это теперь вспомнил.

Одним из следующих утр повторилось явление того же рода: я ощущал в сердце одну из тех тяжестей, которые вызывают у меня некоторые перемены погоды; кровь приливала к голове; хотя пора было вставать, я оставался во власти дремотных грез, которые обычно овладевают мной лишь вечером. Вдруг слух моего ума — да простят мне метафору, без которой я не сумел бы передать того, что испытывал, — поражен звуком моего имени; я очень отчетливо слышу слова: *Господин Мори, господин Мори*, и это с такой чистотой звука и таким особенным выговором, что я сразу узнал, как произнес мое имя один из моих друзей, с которым я беседовал накануне вечером. Между тем интонация, с какой он тогда воскликнул, вовсе не удивила меня: я привык к его голосу, и звук остался у меня скорее в ухе, чем в уме.

Итак, и в этих двух случаях расстройство, охватившее некоторые отправления моего организма, отзывалось в моем мозгу и приводило в движение клавишу, соответствующую живому восприятию, которое оставило во мне, без моего ведома, остаток сотрясения.

Это возбуждение чувств может, как и во сне, прийти на помощь памяти и заставить нас вспомнить лица, звуки, которые в бодрствовании мы представляли себе лишь несовершенно. Восемнадцать лет назад я провел вечер у художника Поля Делароша и слушал там изящные импровизации на фортепиано искусного композитора, г-на Амбруаза Тома. Вернувшись домой, я лег и долго не мог уснуть; наконец сон одолевает меня, я смыкаю веки — и вот слышу, словно издалека, многие из прелестных пассажей, исполненных блестящими пальцами г-на Амбруаза Тома. Замечу, что я не музыкант и музыкальная память у меня развита слабо. Наяву я, разумеется, не смог бы вспомнить столь длинные отрывки. В другой раз, направляясь на остров Стаффа и лежа с закрытыми глазами на палубе парохода, я услышал мелодию, которую накануне играл возле меня на волынке слепой.

Несколько лет спустя я переживал такую пору жизни, когда вместо человеческих фигур, составляющих главный предмет моих галлюцинаций, видел преимущественно пейзажи. Это были длинные перспективы холмов, осененных деревьями, свежие уединенные рощи; вдруг в одном из этих видений, прерываемых постоянными возвращениями к бодрствованию, я вижу Роттердам, который посетил за несколько месяцев до того, и притом с такой ясностью, какой никогда бы не достиг живым и намеренным внутренним представлением этого любопытного города.

Точно так же в другой галлюцинации я узнал местность в окрестностях Регенсбурга, где побывал в 1839 году и которую совсем забыл.

Такое возвращение фактов, стершихся в уме, часто происходит в сновидениях. Приведу здесь еще несколько случаев, касающихся меня самого.

Первые годы жизни я провел в Мо и часто бывал в соседней деревне Трильпор, на Марне, где мой отец строил мост. Однажды ночью я во сне переношусь в дни детства и играю в этой деревне Трильпор; я вижу человека, одетого в нечто вроде мундира, заговариваю с ним и спрашиваю, как его зовут. Он говорит мне, что его зовут С., что он смотритель пристани, а затем исчезает, уступая место другим лицам. Я просыпаюсь внезапно с именем С. в голове. Было ли это чистым вымыслом, или в Трильпоре действительно был смотритель пристани по имени С.? Я этого не знал, не сохранив никакого воспоминания о таком имени. Некоторое время спустя я спрашиваю старую служанку, когда-то служившую у моего отца и часто водившую меня в Трильпор. Я спрашиваю, помнит ли она человека по имени С., и она тотчас отвечает, что это был смотритель пристани на Марне, когда мой отец строил свой мост. Вне всякого сомнения, я знал это, как и она, но воспоминание стерлось. Сновидение, вызвав его, как бы открыло мне то, чего я не знал.

Я вернусь ниже к этим любопытным пробуждениям памяти; возвращаюсь к гипнагогическим галлюцинациям.

Я сказал, что удается продлить эти призрачные видения настолько, чтобы их созерцать. Можно даже научиться вызывать их, порождать видения определенного рода, намеренно направляя к ним мысль. Однажды вечером, желая проделать опыт, я усиленно думал о портрете мадемуазель де Лавальер, который недавно видел в Мюнхенской пинакотеке, и через несколько минут, засыпая, увидел прелестное лицо этой знаменитой женщины, но не мог различить ни ее одежды, ни нижней части тела. В другой раз я думал о ключах китайской письменности, которые выучил, и вскоре, засыпая, увидел три из этих ключей. Совсем недавно я весь день расставлял книги в своей библиотеке.

Вечером, лежа в постели, я думал об этой долгой и утомительной расстановке; сон одолевает меня, и я вижу несколько полок своей библиотеки, на которых книги стояли вверх ногами; я видел заглавия, но не смог прочесть ни одного.

Один из моих друзей, подверженный гипнагогическим галлюцинациям, говорил мне, что может почти по желанию вызывать тот или иной образ. Значит, воля может направлять воображение, которое затем воздействует на восприятия, вызванные возбуждением чувств. Здесь перед нами, как я покажу в другой главе, явление, сходное с тем, что происходит при экстазе.

Галлюцинации слуха

Сказанное о галлюцинациях зрения достаточно объясняет, как возникают галлюцинации слуха. Обычно это короткие фразы или слова, которые раздаются в нашем ухе, но слабее, чем настоящие звуки. Поэтому их следует отнести к тому классу галлюцинаций, которые г-н Байярже назвал психическими. Голос словно далекий и внутренний; и все же это настоящий голос, со своим тембром и своим особым выговором. То это воспроизведение уже слышанного голоса, как показал приведенный выше пример, то незнакомые голоса, низкие или визгливые. Однажды, сидя на империале дилижанса, который вез меня в Страсбург, утомленный ночью, проведенной в экипаже, я задремал около полудня. Голова у меня была тяжелая и горячая. Вскоре мой слух поражают голоса, говорившие по-немецки; между тем я был еще далеко от Эльзаса, и вокруг меня не было ни одного немца. Я стряхиваю оцепенение, чтобы вскоре опять в него впасть; голоса возобновляются, но теперь это была смесь голландских и немецких слов. Дело в том, что у меня звенело в ушах, и этот

докучный шум моя память, тогда полная немецких и голландских слов, превращала в ряд фраз, составленных на обоих языках.

Галлюцинации осязания

Эти галлюцинации почти не свойственны гипнагогическому состоянию; когда они появляются в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, они обычно, как и ложные осязательные ощущения во сне, вызываются давлением, прикосновениями извне или по крайней мере возбуждением кожи. Это показывают два следующих наблюдения. Однажды я оказался на плохом постоялом дворе на севере Шотландии; меня клонило от усталости; я совершил долгий пеший переход по Горной Шотландии, и утомление вызвало у меня своего рода ломоту, сопровождавшуюся общим зудом кожи. Обессиленный, я засыпал на стуле, ожидая, пока служанка постелет мне постель. Гипнагогические галлюцинации не переставали осаждать меня, и в этих видениях мне чудились то укусы крысы, то укусы пчелы. В другой раз, когда кожа моя была также возбуждена обтиранием холодной водой, после которого я лег, я почувствовал словно женскую руку, скользившую по моим плечам, и надо заметить, что эта галлюцинация сопровождалась видениями хорошеньких женских лиц.

Галлюцинации вкуса

Я мало подвержен этому роду галлюцинаций. Однако помню, что испытал их дважды, при знаменательных обстоятельствах. В первый раз у меня во рту был вкус свинины, что-то вроде вкуса колбасы. Надо заметить, что за несколько дней перед тем — это было в тревожные июньские дни 1848 года — роте национальной гвардии, охранявшей Люксембургский дворец, раздали в

изобилии в виде провианта колбасные изделия; я получил свою долю. Воспоминание о вкусе одной из этих колбас было связано с воспоминанием о множестве ощущений и мыслей, потому что я был охвачен той живой тревогой, которую вызывали в Париже события. Во время второй галлюцинации я находился в Барселоне. Недавно приехав в Испанию, я был уверен, что найду там лишь кухню на прогорклом масле, хотя еще не ел ничего, что оправдывало бы это предубеждение. Вечером, когда я закрывал веки, вкус прогорклого масла упорно появился у меня во рту.

Впрочем, гипнагогические галлюцинации вкуса объясняются тем естественнее, что это чувство теснее всего подчинено власти воображения. Известно, что часто достаточно подумать о вкусном кушанье, чтобы вкус его появился во рту.

Галлюцинации обоняния

Эти галлюцинации, очень частые в гипнагогическом состоянии у людей, у которых начинается душевное расстройство, как видно из статьи г-на Байярже, довольно редки у здоровых. Не помню, чтобы я когда-либо их испытывал. Два собранных мною случая могут показать, при каких условиях должна возникать гипнагогическая галлюцинация обоняния. Старая служанка, так сильно пугавшаяся своих видений, о которой я говорил выше, часто жаловалась, что, засыпая, чувствует запах гари; надо заметить, что ее всегда мучил страх пожара. Я знал крестьянина из Бри, который, когда собирался уснуть, чувствовал ужасное зловоние. «Я не удивился бы, — добавлял он, — если бы это был запах дьявола, потому что в то же время я часто вижу очень страшные лица». Впрочем, этот крестьянин был вполне здрав рассудком, хотя и держался народных поверий.

Галлюцинации вкуса и обоняния, несомненно, зависят от раздраженного состояния слизистой оболочки желудка и слизистой оболочки носа; но они могут быть связаны, как это было у моего крестьянина, с возбуждением чувствующих аппаратов вкуса и обоняния, не зависящим от желудка и от самой работы обоняния.

Из всего сказанного видно, какая тесная связь соединяет гипнагогические галлюцинации со сновидениями. Это тоже внезапные восприятия, вызванные возбуждением чувствующего аппарата, которые служат темой нашему воображению, освобожденному от надзора суждения и разума, предоставленному своему самопроизвольному действию или лишь несовершенно[18] управляемому волей. Без сомнения, множество мыслей так же самопроизвольно рождается в нашем уме, незваными, вследствие внутреннего движения мозга, вызванного различными физиологическими или болезненными причинами, внутренними или внешними; но когда мы бодрствуем, воля завладевает ими, сочетает их с другими, намеренно вызванными мыслями, чтобы извлечь из них понятия и суждения. В промежуточном состоянии между бодрствованием и сном мы уже не судим, не сочетаем, мы видим, слышим, обоняем, осязаем — вот в чем разница. Мы почти не идем дальше этих ощущений, этих восприятий; мы можем им не верить, если еще достаточно бодрствуем, чтобы понять их пустоту; но мы почти не пользуемся ими для последовательных рассуждений и для того, чтобы прийти к логическим понятиям. Если же те же образы, те же призрачные звуки продолжаются после того, как сон стал полным, наш ум, сохраняющий остаток деятельности, обманывается ими и блуждает в погоне за ними. Он подчиняется их власти в той мере, в какой у него еще остается разум; иначе

говоря, он рассуждает, исходя из этих впечатлений, не будучи в состоянии оценить их значение.

[18] Я говорю «несовершенно», потому что не думаю, чтобы следовало признать вместе с Мен де Бираном (*Œuvres philosophiques*, изд. В. Кузена, т. II, с. 73), что воля тогда совершенно отсутствует; она еще может вмешиваться, но проявляется лишь слабо. В самом деле, как очень верно замечает г-н Лелю (*Physiologie de la pensée*, т. II, с. 453), умственные элементы во сне слабее, чем в бодрствовании.

Весьма выдающийся итальянский врач, г-н Аугусто Тебальди, пришел к тем же выводам, которые я излагаю здесь, и изложил их в превосходном труде, вышедшем в 1861 году[19].

[19] *Del sogno, studio medico-ideologico*, Милан, с. 138.

Итак, гипнагогическая галлюцинация дает нам как бы историю зарождения сновидения. Это те же предметные явления, почти то же физиологическое состояние; ведь мы видели выше, что прилив крови к мозгу и нервное возбуждение порождают гипнагогические галлюцинации. Точно так же, если во время сна бессилие жизненных сил и оцепенение нервной системы встречают своего рода противодействие в наклонности к приливу крови с возбуждением, сновидения становятся многочисленнее и связнее. Ослабление мозговой деятельности уравновешивается приливом крови, который стремится восстановить работу умственных способностей.

Отсюда живость образов в гипнагогической галлюцинации и во сне, сила памяти, а часто даже и размышления. Если суждение всегда остается в чем-то поврежденным — без сомнения, потому, что его работа не может обойтись без содействия всех способностей в их полноте, — то прочие отправления мозга возвращаются к почти полной деятельности, и суждение даже стремится вновь обрести свою цельность, когда начинается пробуждение вследствие уже заметного восстановления

умственных сил. Именно в таких случаях наш ум пронизывает сомнение в действительности тех химер, которыми он занят. Очень часто во сне спрашиваешь себя, не сон ли все, что видишь, и смутное чувство обмана, вводящего нас в заблуждение, овладевает нами и ослабляет волнение, вызванное картинами, развертывающимися перед нашими глазами.

Я не говорил о болезненных сновидениях — тех, что служат предвестником или признаком некоторых болезней. Этот разряд сновидений уже очень тщательно изучен доктором Макарио[20], и мне нечего прибавить к тому, что он о нем говорит. Замечу только, что нельзя вполне отчетливо отделить болезненные сновидения от тех, которые называют физиологическими; ибо, как справедливо замечает г-н Авг. Тебальди, сон принадлежит к разряду явлений, промежуточных между физиологией и патологией: покой всей наружной чувствительности и преобладание чувствительности внутренних органов сами по себе — условия, которые особенно благоприятствуют усилению деятельности этой последней чувствительности, а следовательно, и расстройству отправлений мозга. Отмечу еще, что болезненные сновидения служат явным доказательством участия внутренних ощущений в тех самопроизвольных мыслях, которыми завладевает воображение спящего, чтобы соткать из них сон. Одинаковость формы сновидений, сопровождающих ту или иную болезнь, показывает, что ум в своих, по видимости прихотливых, созданиях неизбежно испытывает отзвук того, что тело переживает без его ведома[21].

[20] См.: Макарио, *Du sommeil, des rêves et du somnambulisme dans l'état de santé et dans l'état de maladie* (Лион, 1857), и мою книгу *La Magie et l'Astrologie dans l'antiquité et au moyen âge*, 3-е изд., с. 232.

[21] См. примечание A в конце книги.

ГЛАВА V. О СХОДСТВЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И СНА С БОЛЕЗНЕННЫМ ОСЛАБЛЕНИЕМ УМА

✦

Поскольку сон есть частичное и более или менее глубокое оцепенение умственных способностей, чувств и нервов, он, естественно, должен иметь некоторое сходство с болезненными состояниями, вызванными размягчением мозгового вещества, дряхлостью, болезнью, при которых возникает такое же оцепенение. В этих состояниях внимание становится затруднительным, чувства притупляются, воля колеблется, в памяти появляются пробелы.

У старика ослабление ума обычно зависит от того, что ощущения неполны и смутны; они доставляют тогда мозгу лишь толчки, недостаточные для ясного и отчетливого восприятия. Ослабление некоторых чувств может, таким образом, привести к начаткам слабоумия, если не хватает жизненной силы, чтобы чувство, сохранившее цельность своего действия, взяло на себя замену тех, что цепенеют или угасают. Поэтому если старик оглохнет или ослепнет, это может серьезно повредить работе его умственных способностей. Я знал одного бывшего книгопродавца, который потерял зрение и почти потерял слух; было очевидно, что его ум сильно страдал от этого лишения. Итак, нет сомнения, что простое замыкание чувств может, если ум не обладает большой собственной деятельностью, отнять у него во время сна часть его силы и точности. Доктор Буиссон недавно привел любопытный пример человека лет пятидесяти, который лишился рассудка вследствие потери зрения. Он впал в состояние

слабоумия. Так как его слепота была следствием катаракты, операция вернула ему зрение, и вместе с ним он вновь обрел и разум[22].

[22] См.: *Annales médico-psychologiques*, 3-я серия, т. VII, с. 194.

Но это оцепенение чувств, конечно, не единственная причина бессвязности наших снов или мыслей человека, страдающего старческим слабоумием. Есть еще оцепенение самого мозга, которое в сновидениях зависит от ослабления нервной силы во время сна, а при слабоумии — от разрушения мозгового вещества, следствия преклонного возраста.

В гипнагогическом состоянии, как и в легком сне, чувства не настолько усыплены, чтобы оставаться совершенно закрытыми для внешних раздражений. Если кто-нибудь тогда появится передо мной, я его вижу; если он заговорит со мной, я его слышу; более того, я ему отвечаю. Однако, поскольку внимание мое слабо, ум оцепенел, я не отдаю себе точного отчета в том, что вижу, что слышу; я плохо различаю вещи и допускаю самые странные смешения; я не улавливаю смысла того, что мне говорят, и слышу лишь слова; иногда я отвечаю на эти слова, но мой ответ не соответствует смыслу обращенной ко мне речи. Звук слова вызывает во мне связанную с ним мысль, которая, быть может, не имеет никакого отношения к фразе собеседника. Заданный мне вопрос играет тогда ту же роль, что и внутреннее изменение, вызванное физиологической или болезненной причиной; он отдается в моем мозгу и наудачу заставляет зазвучать какую-нибудь мысль. Скажем точнее: сотрясение, которое он производит в моем мозгу, передается в той области, куда он направлен, тем волокнам или частицам, которые уже были расположены колебаться. Но часто я совершенно ничего не слышу из

обращенного ко мне вопроса; он для меня лишь звук, который, поразив мой слух, выводит меня из мечтательной дремоты, в которую я впал. Тогда я произношу фразы, не имеющие ни по словам, ни по мыслям никакой связи с тем, что мне говорят: это уже не просто странные ответы невпопад, это бессвязные речи, напоминающие речи старика, дошедшего до последней степени умственной дряхлости. Однако мне иногда удавалось, оглядываясь назад, уловить связь между некоторыми из этих слов и тем, что происходило в моем уме. Эти бессвязные фразы выражают мысль или образ, проходивший перед моими глазами в ту минуту, когда собеседник своим вопросом пробудил во мне зачаток внимания. Со мной заговаривают, я спешу ответить и выражаю то, что видел в ту минуту, когда меня спросили. Однажды, например, я задремал во время чтения; человек, который читал, задает мне вопрос о только что прочитанном месте; я отвечаю: *В этом месте нет табаку*, — что не имело решительно никакого отношения ни по смыслу, ни по словам, ни по звуку к обращенной ко мне речи. Мой ответ, естественно, вызывает шумный смех, и моя дремота разом рассеивается. Я лишь смутно сознавал, что сейчас ответил, но память моя еще хранила воспоминание о некоторых мыслях-образах, проходивших перед очами моего воображения; и тогда я вспомнил, что мысль о табаке явилась мне среди пестрой вереницы множества слов и мыслей, цеплявшихся друг за друга как попало. Итак, я отвечал своему сну, а не на вопрос. А отчего этот сон? Чихание объяснило мне это: несколько крупинок табаку, оставшихся у меня в носу после того, как я взял понюшку из любезно протянутой табакерки, действовали на обонятельную оболочку и посылали в мозг ощущение, которого я в ту минуту не сознавал.

Я сравнил свой бессвязный ответ с тем, какой мог бы дать впавший в детство старик, и нахожу здесь не просто сходство; ибо то, что происходит в угасающем уме, почти тождественно явлению, о котором я только что говорил: внимание слабеет, воля цепенеет, и воображение, предоставленное самому себе, убаюкивается образами и мыслями, отражающими непрестанные расстройства, которым подвержены все части организма, быстро идущего к своему разрушению. Самопроизвольное движение ума все больше берет верх над произвольным, и мысли, которые в прошлом больше всего занимали старика, играют главную роль в той смутной и бессвязной ассоциации, вместилищем которой стал его ум. Та же причина, по которой старик беспрестанно повторяет одни и те же истории, все время возвращается к воспоминаниям молодости, самопроизвольно пробуждает и его мысли и воспоминания. Впавший в детство человек находится в постоянном состоянии дремотных грез, и бессвязные слова, которыми он вам отвечает, должны выражать мысли, которыми он убаюкан. Как только вы вопросом возбуждаете его внимание, он пытается вновь взять в руки поводья той умственной колесницы, на которую Платон сажает душу; но он не может добраться до вас и просто правит в ту сторону, куда его увлекала мысль, проходившая перед его умом.

Так бывает иногда и с душевнобольным, и с рассеянным человеком. Но ни тот, ни другой не впали в то состояние пассивного созерцания, которое составляет дремотные грезы. Напротив, они размышляют о своей мысли с такой силой, что не могут от нее оторваться. В первую минуту, когда их спрашивают, и хотя их выводят из этой поглощенности мыслью, они могут лишь следовать за своей мыслью, хотя и вступают словом в общение с внешним миром. Спящий же делает по слабости ума то, что они

делают по силе размышления; у него нет сил приложить внимание к предмету, который ему предлагают, и его слово — лишь отзвук мысли, которую он машинально созерцает.

Поэтому надо думать, что расстройство нашего ума совершается прежде всего через ослабление способности внимания. У страдающего идиотией труднее всего удержать именно внимание, и как только это удается, в его уме становится заметен ощутимый успех. Известно, как подвижен ум ребенка, и череда образов, которые в нем рисуются, когда она слишком обильна, всегда мешает восприятию вещей, потому что внимание прилагается к ним с большим трудом.

Засыпающий человек, следовательно, на мгновение уподобляется старику, чей ум слабеет; он проходит через первую ступень старческого слабоумия, а когда совсем уснет и целиком подпадет под власть сна, он поистине являет собой, как я покажу в одной из следующих глав, человека, страдающего душевным расстройством.

Это печальное расстройство ума в глубокой старости совершается еще и во многих других отношениях, на которые изучение сновидений тоже может пролить некоторый свет.

Помню одного доброго старика, чья спокойная и размеренная жизнь протекала в маленьком замке в окрестностях Мо: возраст оказал на его ум, довольно плохо защищенный от разрушительного действия времени, неблагоприятное влияние, которого никто не мог не заметить. Его разговор все больше сводился к тесному кругу давних воспоминаний об Американской войне и о Революции; память настолько изменяла ему в повседневных делах, что часа или двух хватало, чтобы он забыл сказанное или сделанное, и если посещение затягивалось, гость сильно рисковал услышать, прощаясь, ту самую американскую

историю, с которой хозяин начал разговор. Память покидала его даже за игрой в триктрак, которой он занимался всю жизнь и которая была предметом самых серьезных его размышлений. Он забывал и ходы, и выпавшие кости и делал промахи в счете, на которые дружеское расположение тех, кто соглашался составить ему партию, заботливо не указывало. Слова в конце концов стали уходить из его памяти, как и события, и вскоре он начал путать в своих любимых рассказах имена действующих лиц, с которыми его постоянные гости — и я был в их числе — давно уже были знакомы. Я наблюдал тогда в нем явление, которое вспомнилось мне, когда двадцать лет спустя я занялся этими психологическими изысканиями. Вскоре после того как он рассказывал одно из своих приключений, он принимался за то, которое неизменно за ним следовало; но переносил в него часть имен из первого, так что дело стало бы совершенно непонятным, если бы он за несколько месяцев до того, когда память его была надежнее, не ознакомил вас с настоящими действующими лицами. То же самое повторялось, когда он играл в триктрак: играя «малый ян», он думал, что продолжает «обратный ян» предыдущей партии, и трудно было втолковать ему, что пора снять прежние отметки. Так его внимание, ставшее более медлительным, лишь с трудом могло оторваться от предмета, занимавшего его прежде, когда ему предлагали новый; и как это бывает со спящим, который просто отвечает на мысль, представившуюся ему, и не может уловить мысли, идущей от другого, так и внимание старика, когда он начинал новый ряд мыслей, оставалось еще приковано к фактам, к которым он, без сомнения, тоже с большим трудом сумел обратить свой ум, занятый фактами предыдущими.

Есть и другая черта старческого детства, сближающая его со сновидением. У старика, о котором я сейчас говорил, был брат,

старше его, который, хотя и намного превосходил его умом, не смог избежать последствий дряхлости; он тоже впал в детство; но так как круг его мыслей всегда был менее тесен, он не замыкал своих историй в узкой сфере войн Революции или американской независимости. Он много путешествовал, но еще больше читал о путешествиях, чем совершил их сам. Воспоминания о его странствиях и о прочитанном в конце концов совершенно смешались; и, поскольку все это разом представлялось его уму, когда он лежал в своем шезлонге, он с важностью рассказывал вам все, что читал; он говорил, например, что был в Индии с Тавернье, на Сандвичевых островах с Куком, что оттуда вернулся в Филадельфию, где служил под началом Лафайета. Память и чувство времени совершенно стерлись в нем, так что его мысли сцеплялись точно так же, как могли бы сцепляться во сне.

Эти странные заблуждения стариков очень удивляли меня, тогда совсем молодого человека, еще столь далекого от подобных невзгод. Однажды я захотел объяснить первому из двух братьев, о которых я говорил, что он путает людей и слова; я как мог растолковал ему значение имен, которые он так странно менял местами, — и через несколько мгновений увидел, как он снова впадает в те же ошибки! Эта неизлечимая слабость ума, который, однако, обладал знаниями и опытом, настолько превосходившими мои, — ведь мне было тогда всего пятнадцать лет, — поразила меня до оцепенения и запечатлела во мне воспоминания, из которых я и не подозревал, что позднее извлеку наблюдения, записанные здесь.

Эти факты позволяют сказать, что человек — автомат, чьи пружины время от времени заводит воля, а маятником служит привычка. Автомат этот продолжает идти и тогда, когда воли нет, пока пружина еще может раскручиваться. Раз часы заведены,

колеса продолжают свое размеренное движение, слегка нарушаемое, однако, действием внешних причин и внутренних перемен, затрагивающих их состав и природу. В самых лучших умственных часах, то есть в самых здоровых и сильных умах, перерывы в действии воли повторяются через чрезвычайно короткие промежутки; но чем больше ум расслабляется или слабеет, тем менее деятельна воля и тем чаще она предоставляет машине подчиняться присущему ей автоматизму.

Этот автоматизм, с которого человек начинает и которым кончает, не может длиться бесконечно. Заведенные часы идут лишь несколько дней; если не вмешается разумная рука, движение останавливается, и колеса вскоре портятся. Так же и с умом: если воля время от времени не возвращает ему свободную деятельность, его машинальное движение постепенно слабеет, и полное оцепенение, предвестник смерти, в конце концов овладевает этими колесами, которые какое-то время повиновались первоначальному толчку. Это я тоже хорошо понял, наблюдая за сновидениями. В самом деле, вслед за дремотными грезами и гипнагогическими галлюцинациями, вслед за беспокойным сном, перемежающимся ясными или не слишком бессвязными сновидениями, часто приходят сны крайне путаные, настолько бессвязные, что от них остается лишь воспоминание о том, что они были; после этого сон может стать достаточно глубоким, а чувства — достаточно притупленными, чтобы никаких признаков сновидения уже не проявлялось.

Лучшее доказательство того, что во сне автоматизм полон и что поступки, которые мы совершаем, происходят в силу привычки, приобретенной наяву, — то, что мы совершаем в воображении предосудительные поступки и даже преступления, в которых никогда не были бы повинны в действительной жизни.

Это говорят в нас наши склонности, они и заставляют нас действовать, а совесть нас не удерживает, хотя порой и предостерегает. У меня есть свои недостатки и дурные наклонности; наяву я стараюсь с ними бороться, и мне довольно часто удается им не поддаться. Но во сне я поддаюсь им всегда, или, лучше сказать, действую по их побуждению, без страха и без угрызений. Я даю волю самым бурным приступам гнева, самым необузданным желаниям, а проснувшись, почти стыжусь этих воображаемых преступлений. Очевидно, видения, что развертываются перед моей мыслью и составляют сновидение, внушены мне побуждениями, которые я испытываю и которые моя отсутствующая воля не пытается подавить. Нервное возбуждение, которое иногда сопровождает сон и вызывает сновидения, где свободно разворачиваются наши страсти — например, распутство, гнев, ненависть, страх, — может придавать нашим поступкам и чувствам неистовство, какого у них нет наяву. Причина такого разрастания страстей тогда не только в том, что воля и другие впечатления недостаточно бодрствуют, чтобы их обуздать, но и в том, что чувствительность перевозбуждена. Бред, который проявляется в этом случае, очень близок к бреду чувств у больных манией — бреду, который впервые ясно описал Эскироль[1], а затем особо изучил г-н Озуи[2]. Во сне в нас проявляются внезапные, неодолимые влечения, как это бывает у душевнобольного, и особенно у эпилептика, страдающего манией, который больше всех душевнобольных подвержен расстройству чувств. Но такие сны с болезненным возбуждением страстей редки, и, возможно, они уже указывают на предрасположенность к помешательству. Я мог бы привести разные примеры, доказывающие, что они не просто обнажают наши пороки, наши

тайные склонности, но связаны с возбуждением склонностей, которые наяву оставались вполне умеренными.

[1] См.: «О душевных болезнях», т. II, с. 145 (Париж, 1838).

[2] Озуи. «О бреде чувств, или Об изменении привязанностей при различных формах душевного расстройства» — в «Медико-психологических анналах», 3-я серия, т. IV (январь 1858).

Г-н М***, человек очень мягкого нрава и вовсе не склонный к убийству, признался мне, что во сне убил нескольких человек. Хотя я по натуре не суеверен, во сне меня часто одолевали страхи, явно навеянные приметами и поверьями. Г-н Ф*** уверял меня, что ему часто снились хорошие обеды, а между тем он очень умерен в еде.

Известно, впрочем, что болезнь, помешательство часто коренным образом меняют характер вследствие перевозбуждения того же рода. Буйные душевнобольные до болезни бывали людьми очень кроткими; целомудренные девушки, заболев, теряли всякую стыдливость.

Итак, во сне человек открывается самому себе целиком, во всей своей природной наготе и немощи. Едва он перестает пользоваться волей, как становится игрушкой всех страстей, от которых наяву нас защищают совесть, чувство чести, страх. Впрочем, их действие может сказываться и во сне; тогда это следствие привычки: это приобретенные чувства, перешедшие в состояние инстинктов и потому возникающие без участия воли, или же чувства инстинктивные, которые появляются вновь, потому что разума и воли больше нет рядом, чтобы их подавить. Нравственное сознание становится как бы автоматическим и, если позволительно выразиться противоречивыми словами, я сказал бы — не сознающим самого себя. Так, во сне я находил в себе религиозную щепетильность и детские страхи, которых

совсем не знаю наяву и которые восходят к самому раннему моему детству. Это давние представления, которые разум заставил умолкнуть, но корни их сохраняются в нас, и они вновь обретают власть, едва воля отступает или слабеет под действием сна или старости. Здесь мы имеем новое доказательство того, что врожденные инстинкты, прирожденные склонности сливаются с наклонностями, которые сообщило человеку раннее воспитание, ибо, когда воля упразднена и мы становимся настоящими автоматами, и те и другие служат пружинами, которые заставляют нас действовать.

Я соединил два весьма несогласных слова, когда сказал: сознание, не сознающее самого себя. Дело в том, что сновидение — арена противоречий; в нем совершаются самые противоположные действия, так что все наши психологические теории сбиваются с толку. Во сне я осуществляю поступки, мысли, замыслы, исполнение и ведение которых выказывают почти столько же ума, сколько я могу вложить в них наяву. Я вел споры и подбирал ответы, чтобы отразить грозные возражения; в своем воображаемом поведении я сообразовывался с характером тех, о ком вспоминал и кого вводил в свое сновидение; более того, у меня бывали мысли, озарения, каких я никогда не имел наяву; я даже находил кое-что такое, чего тщетно искал в тишине кабинета. Совсем недавно во сне, где я будто бы стоял перед человеком, которого мне представили за два дня до того, у меня возникло сомнение в его порядочности, которое прежде, несомненно, мне в голову не приходило. В другой раз, опасаясь небольшой денежной потери, я во сне стал игрушкой приключений, отправной точкой которых было это беспокойство. Я встретил своего должника; вид у него был печальный и угрюмый; он старался меня избежать. По правде говоря, это еще

не было сновидением: слишком уж это походило на действительность. Но вот начинается сон: лицо его преображается, и я узнаю в нем одного из моих друзей. «Вы принимаете меня, — говорит он, — за вашего должника; я его знаю и поговорю с ним». Дело в том, что связь между двумя моими персонажами была возможна, даже вероятна; но я об этом не подумал; лишь во сне эта мысль пришла мне в голову. Не проходит недели, чтобы я не делал наблюдений такого рода. Однажды, например, мне поручили доклад в одном из ученых обществ, членом которых я состою. Я ознакомился с бумагами и отложил на следующий день упорядочение и изложение мыслей, которые породил во мне этот первый просмотр. И вот ночью мне снится, что я присутствую на заседании, где должен читаться мой доклад; я беру слово; однако имя немецкого автора, о котором я должен говорить, ускользает от меня по той очевидной причине, что я не смог разобрать его подписи, хотя и помнил, что его называли, когда работу передали мне на рассмотрение. Один из моих собратьев — я все еще во сне — подсказывает мне его на ухо. Новое доказательство того оживления памяти во сне, того возвращения во время сна стершихся воспоминаний, которое я уже отмечал в предыдущих главах. Итак, во сне я пустил в дело элементы, остававшиеся разрозненными в моем уме, — первое знакомство с работой, которую мне поручили. Мой ум действовал без участия моей воли, но при участии всех остальных моих способностей. Подозреваю, однако, что эта автоматическая и как бы инстинктивная работа гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд, и что здесь больше действие памяти, чем суждения. Вероятно, я составил себе первое представление о форме, которую хотел придать докладу, — мимолетное представление, которое затем вернулось ко мне во сне со всей

видимостью нового и самопроизвольного замысла. Нельзя, однако, отрицать, что мой ум работал, хотя у меня не было на то ни воли, ни сознания. Он пустил в ход осмотрительность и размышление, ловкость и опасение, и все это машинально, без моего ведома.

Значит, в мысли совершается работа, совершенно подобная той, ареной которой служат наши чисто органические отправления. Мы перевариваем пищу, дышим, не зная об этом; мы даже совершаем некоторые внешние движения чисто инстинктивно. Следовательно, и в уме происходит своего рода рефлекторное действие, подобное тому, что имеет место в разумных поступках животного. Действия, которые я совершаю во сне, если и не обдуманы, то все же в известных отношениях разумны и логичны — по крайней мере могут быть таковыми. Я сочетаю и взвешиваю, сопоставляю мысли и вывожу следствия, не замечая этого, не зная, что делаю, или, лучше сказать, не будучи хозяином самому себе; я становлюсь автоматом, но автоматом, который видит и слышит; меня поражает своего рода нравственная и умственная каталепсия, и я присутствую при действиях, в которых участвую, не зная ни почему, ни как.

Однако весь этот ум, который я выказываю во сне, не чисто инстинктивен[3]. Во-первых, он опирается на приобретенные знания и на факты, в которых я предварительно отдал себе отчет путем размышления. Во-вторых, в инстинктивном акте одушевленное существо — простая машина, тогда как в тех действиях, которые я совершаю во сне, рассуждая, я действую, зная, что делаю, хотя и без желания и без размышления. Меня увлекает в череду моих поступков роковое сцепление, и я не держу ни одного из концов этой цепи фигур, где выступаю, словно рассеянный танцор в наскучившей ему кадрили.

[3] См. Приложение.

Итак, в человеческом уме, или, вернее, в наших поступках, рассматриваемых по отношению к уму, есть три ступени: 1) инстинктивный акт, который совершается без участия индивидуального ума; 2) акт разумный, но непроизвольный, как он происходит во сне и как, по-видимому, иногда бывает и наяву в силу привычки; 3) наконец, разумный произвольный акт — плод более или менее продолжительного размышления[4]. Акт, совершенный сначала произвольно, может затем совершаться непроизвольно; но еще удивительнее то, что ум может сразу, без вмешательства воли, совершить акт, который обнаруживает участие всех прочих способностей.

[4] Эти мысли подробнее развиты в Приложении.

Итак, состояние сна, или, вернее, сновидения, не всегда противоположно сложной деятельности человеческого ума; ум умеет найти и в отсутствие нашей воли достаточные условия для своего развития. Есть даже, как я уже замечал, такие способности, которые сон не ослабляет, а развивает: такова память. Что наши воспоминания во сне вырисовываются ярче, чем наяву, — это замечали почти все. То, что я сейчас рассказал об одном из своих снов, и то, что я отметил в предыдущих главах, показывает, что во сне к нам возвращаются факты, забытые нами наяву. Но еще необычайнее — и я не раз убеждался в этом сам — та связь воспоминаний, что может устанавливаться от одного сна к другому. Я очень часто во сне подхватывал нить прежнего сна, забытого мною наяву, и вполне сознавал, что видел его, как только новый сон напоминал мне о нем. Несколько лет назад я вижу себя во сне в воображаемой лавке на улице Кастильоне: я узнаю ту, где прежде делал покупки; я говорю с торговцем,

который узнает во мне одного из своих покупателей. Когда я проснулся, образ этой лавки так прочно запечатлелся в моей мысли, что я на мгновение поверил, будто перенесся во сне в лавку вполне настоящую; я тогда отчетливо припоминал свое прежнее посещение ее, и, однако, это воспоминание было окружено обстоятельствами, несообразность которых выдавала чистый сон; впрочем, немного поразмыслив, я убедился, что лавка была совершенно вымышленной, и на той улице, где я ее вообразил, я ее не нашел.

Возврат воспоминаний, относящихся к прежнему сну и возникающих в последующем, хотя в промежуточном бодрствовании они казались совершенно стертыми, по-видимому, может восходить даже к очень давним снам.

По крайней мере, к этой мысли склоняет меня сон, который я видел в ночь на 7 апреля 1861 года.

Мне снилось, что я еду по железной дороге почтовым поездом и мне пришлось сойти на станции близ Ланьи. Я вошел в кафе, откуда открывался вид на всю округу; туда принесли пива. Заметим мимоходом, что накануне мне хотелось его выпить, но желание мое так и не исполнилось: разные дела отвлекли меня от этой мысли. Сев за столик, я узнал кафе, где когда-то останавливался во время другой поездки — поездки совершенно вымышленной, о которой я рассказывал во сне сопровождавшей меня жене как о случившейся лет семь или восемь назад. В этом сне я был убежден, что узнаю место, столик и все обстоятельства прежней поездки, совершенной будто бы с моим младшим братом. Итак, у меня было тогда полное убеждение в прежнем сне и воспоминание о нем, возвращавшееся ко мне с совершенной ясностью; я даже испытывал настоящее удовольствие,

оказавшись вновь в местах, где когда-то побывал вместе с братом, умершим более десяти лет назад, о котором я так горевал.

Проснувшись, еще весь полный своим сном, я убедился, что воспоминание, вызванное во сне, должно было быть прежним сновидением: все подробности поездки были вымышлены; на станции Ланьи нет кафе, да и устройство ее ничуть не отвечает моим мнимым воспоминаниям. Не знаю, когда я видел этот первый сон, образы которого пробудились в моей мысли с появлением сходных образов, ибо я совершенно его забыл; но разные обстоятельства заставляют меня думать, что, как я и был уверен во сне, дело было несколько лет назад.

Я мог бы привести и много других примеров, ибо разные люди рассказывали мне о подобных случаях.

Впрочем, теории воспоминания, которую я изложил выше, мне кажется, достаточно, чтобы объяснить это явление, и нет нужды допускать, как делали некоторые авторы, что существуют две отдельные жизни — жизнь действительная и жизнь сновидения, — каждая из которых течет сама по себе и отвечает двум отдельным цепям поступков.

ГЛАВА VI. О СХОДСТВЕ СНА И ДУШЕВНОГО РАССТРОЙСТВА

✦

Сходство многих явлений сновидения с формами, которые принимают некоторые душевные болезни, поразило еще шестьдесят лет назад Кабаниса[1]; с тех пор на него указывали разные психиатры, в частности гг. Лелю и Ж. Моро. Последний в своем интересном труде «О гашише и душевном расстройстве» показал замечательное соответствие обоих родов умственных расстройств и до известной степени объяснил мономанию как сон, который видят наяву. Доктор Ф. Дюбуа (из Амьена) и американский физиолог Робли Данглисон тоже говорили о связи между бредом душевнобольного и состоянием сна[2].

[1] См. то, что он говорит в своих «Отношениях физического и нравственного в человеке», в главе «О сне в частности».

[2] См. «Медико-психологические анналы», т. VI, с. 128, и «Бюллетень Медицинской академии», заседание 1 апреля 1845 года.

С другой стороны, Мен де Биран, изучая сон с чисто психологической точки зрения, тоже пришел к сближению сновидения с душевным расстройством. Внимательный наблюдатель и строгий логик, этот мыслитель пытался объяснить происходящие тогда явления своей теорией воли. Не вступая в обсуждение учения, которое не всегда согласуется с фактами, я ограничусь тем, что заимствую у его автора мысли, верность которых мне позволил проверить собственный опыт.

Мен де Биран справедливо замечает, что все, что стремится сосредоточить жизненные силы, чувствующие и двигательные, в каком-либо главном внутреннем органе или очаге — то ли прерывая симпатическую связь с другими существенными органами, то ли вызывая совершенно новые симпатии, противные обычным и правильным законам жизненных отправлений, — способно вызвать, смотря по тяжести и продолжительности причины, то сон и сновидения, то бред и манию, то страсти определенного рода. Например, добавляет он, действие опьяняющих напитков или наркотических средств сначала обращается на желудок, оттуда распространяется на мозг, возбуждает общую чувствительность, которая мало-помалу сосредоточивается то во внутреннем органе, то в самом мозговом центре[3].

[3] «Новые соображения об отношениях физического и нравственного в человеке», посмертный труд, изданный г-ном Кузеном, с. 123.

Таким образом, Мен де Биран установил не только сходство умственного состояния во сне и при душевных болезнях, но и сходство порождающих их причин. Но, будучи чужд патологии и делая над снами лишь случайные наблюдения, знаменитый философ не углубил свой предмет настолько, насколько подобало такому уму, как его. Он вывел несколько начал из небольшого числа опытов, проделанных над самим собой; ему недоставало той совокупности данных, которая необходима для построения прочной теории.

Выдающиеся врачи, которых я назвал выше, показали себя более сведущими в фактах; но и они далеко не исчерпали вопроса. Им часто недоставало психологических наблюдений, и они почти не вникали в подробности умственных операций. Я постараюсь дополнить их замечания собственными наблюдениями — прежде

всего затем, чтобы развить и подкрепить сближения, приведенные в предыдущей главе.

В психологических операциях душевнобольного или сильно расстроенного ума есть два главных явления, которые почти одни заключают в себе все причины бреда: 1) самопроизвольная и как бы автоматическая деятельность ума; 2) неправильная, беспорядочная ассоциация идей. В первом случае, как прекрасно заметил г-н Байярже, мысль не повинуется воле, не вызывается, не направляется и не видоизменяется ею по законам рассуждения и размышления; она возникает вдруг, неизвестно как, часто именно тогда, когда ее меньше всего зовут, и предстает уму с такой силой и вместе с тем с таким характером предметности, что ум принимает ее за образ, за внешнее ощущение или по меньшей мере за действие какого-то существа, какой-то посторонней ему причины. Это и есть, собственно, то, что называют галлюцинацией.

Во втором случае идеи, вместо того чтобы сцепляться в логическом порядке и сочетаться по требованиям речи и доказательства, соединяются по сходствам, совершенно не зависящим от их собственного смысла и характера. Потрудитесь, как это иногда делали, записать бессвязные слова, несвязные речи больного манией, сопоставьте друг с другом слова и фразы, которые он произносит в бреду, — и вы нередко сможете уловить тайную связь, соединяющую эти фразы, на вид столь далекие друг от друга. То мысль ведет созвучие слов: больной соединит определенные слова, а следовательно, и связанные с ними мысли, потому что эти слова начинаются одинаково или имеют одинаковое окончание. Сблизив слова по сходству, не зависящему от их смысла, больной составит из них фразы, которые неизбежно будут бессвязны. То началом ассоциации послужит сходство,

тождество слов, имеющих, однако, разный смысл. Так, приведу пример: больной начнет свою речь с мысли о *corps* (теле), которая по тождеству звучания вызовет мысль о *cor* (роге), и речь закончится мыслью, связанной с этим вторым словом. Пример, который я привожу здесь для двух слов, можно было бы дать для трех, четырех и даже больше, потому что при мании мысль, а за ней и речь возникают с большой быстротой, с почти лихорадочным ускорением; говорливость больного не дает ему закончить ни одной из фраз, внушенных ему словами, связанными только что указанным сходством; он спешит бросить каждое начатое слово, чтобы погнаться за тем, которое вызывает в его уме слово, имеющее с предыдущим сродство смысла, мысли или звука.

Мне нет нужды приводить здесь доказательства этого явления, хорошо известного психиатрам, на которое одним из первых указал мне г-н Байярже. Я хочу показать — с доказательствами, которые изложу тогда во всех подробностях, — что явления того же рода происходят во сне; это отчасти объясняет бессвязность и странность мыслей и образов, из которых сон состоит.

Напомню, что, говоря выше о гипнагогических галлюцинациях, я отметил, что образы, осаждающие ум и даже глаз, возникают обычно самопроизвольно, вовсе не будучи вызваны предварительным размышлением. Это не мысль, которая мало-помалу превращается в ощущение; это образ, который, без сомнения, находится в уме, но о котором ум порой даже не помнит и который вдруг является нашим глазам при сомкнутых веках. Совершенно несомненно даже, что многие из этих образов обязаны своим появлением сочетанию других образов, действительно поражавших наши чувства наяву; и то, что я

говорю об образах, так же верно и для звуков, которые слышатся в гипнагогической галлюцинации в минуту наступления сна[4].

[4] Здесь следовало бы рассмотреть трудный вопрос о происхождении и зарождении этих идей-образов, которые не всегда бывают простым воспроизведением воспринятых ощущений, но представляют собой новые сочетания элементов прежних ощущений; ибо внутренний глаз видит тогда предметы, которых никогда не созерцал, внутреннее ухо может слышать напевы, мелодии, которых никогда не слышало. Глаз, ухо и вообще чувства обладают способностью сочетания, связанной с творческой силой воображения. Элементы, которыми они пользуются, доставлены уже воспринятыми ощущениями, но способ их соединения и группировки нов, и из этого возникают образы и звуки, отличные от тех, что были восприняты прежде. Объяснение этого явления потребовало бы многочисленных и весьма разнообразных исследований; ограничусь замечанием, что в мозгу и нервной системе тогда, вероятно, происходит нечто того же рода, что показывает нам следующий оптический опыт. Если быстро вращать вокруг центра круг, разделенный на секторы, пропорциональные пространствам, которые занимают семь цветов солнечного спектра, причем каждый сектор окрашен в один из этих цветов и в том же порядке, то при достаточной скорости вращения отдельные цвета спектра исчезают и круг покрывается однородным серым оттенком; глаз увидел бы даже белый цвет, если бы применяемые искусственные краски могли быть совершенно однородными; а если взять преломляющую призму, которая вращается вокруг оси, перпендикулярной к ее основаниям, и сквозь которую проходит луч света, появляется чистый белый цвет. (См.: Ш. Монтиньи, «Явления сохранения световых впечатлений на сетчатке», в «Записках Бельгийской академии» (премированные сочинения), т. XXIV.) Из этого опыта следует, что белый свет возникает не только от наложения основных цветов спектра, но и от быстрого сближения впечатлений, которые каждый из этих цветов производит на сетчатку. Так в глазу из сочетания раздельно воспринятых элементов рождается новый образ. Когда наш внутренний глаз видит вымышленную фигуру, в нем точно так же, вследствие перевозбуждения — признака очень быстрого движения нервной силы, — происходит сближение элементов, из которых состоит фигура: линий, красок, выражения, симметричного расположения и т. д., — всего того, что доставили ему восприятия, пришедшие извне.

Наблюдения врачей доказывают, что так же обстоит дело и с галлюцинациями при помешательстве. То или иное лицо, то или иное слово внезапно поражает зрение или слух душевнобольного,

хотя он их не вызывал, не призывал к себе, думая о них заранее. Но как только галлюцинация возникла, как только ум воспринял это мнимое ощущение, явившееся без внешней причины, он строит на этом образе, этом звуке, этом ощущении осязания, вкуса и т. д. мысль, которую и развивает, пока новая галлюцинация не пробудит, в свою очередь, новую мысль, которая собьет его с пути. Ум в этом случае идет, как шел бы слепой, который будет следовать одной дорогой, пока посторонняя сила не толкнет его на новую, которую он изберет и по которой пойдет, как по первой, до тех пор пока другая сила не заставит его свернуть, и так далее.

Вот наблюдение, которое позволяет мне думать, что галлюцинация сна тождественна гипнагогической галлюцинации и что именно она часто ведет сновидение и порождает его бессвязность. Несколько лет назад, перед тем как уснуть, я несколько раз, когда глаза мои были закрыты, видел нечто вроде летучей мыши с зеленоватыми крыльями и красной гримасничающей головой. Нечего и добавлять, что я вовсе не думал о подобном фантастическом животном и что такая галлюцинация была совершенно самопроизвольной. За этим видением последовали другие, которые я забыл, затем видение пейзажа, изображавшего, кажется, вид Пиренеев, воспоминание о которых было в моем уме не очень давним. Эту последнюю галлюцинацию я хорошо запомнил, потому что в ту минуту в мою комнату внесли свет, я открыл глаза, вполне пришел в себя и заметил, как исчез мой призрачный пейзаж. Через час я проснулся от настоящего сна и тогда очень отчетливо припомнил сон, который видел. В каком-то замке мне явилась летучая мышь, похожая на ту, о которой я только что говорил; потом с полуразрушенного здания упал камень, и сквозь отверстие чего-то вроде машикуля я увидел пейзаж, совершенно подобный тому,

которым закончилась череда моих галлюцинаций перед первым сном.

Итак, обе гипнагогические галлюцинации повторились во сне в том же взаимном порядке; каждая повлекла за собой вереницу мыслей, связанных в моем уме с образами, из которых они состояли. Летучая мышь заставила меня подумать о старом полуразрушенном здании, где эти животные обычно гнездятся, о старинном замке с машикулями; затем фоном картины я избрал свой фантастический, или пиренейский, пейзаж.

Приведу другие наблюдения, менее полные и потому менее убедительные, но которым первое придает действительную ценность. Несколько раз в своих гипнагогических галлюцинациях я видел некую фигуру с большим носом, мысль о которой, вероятно, была внушена мне вывеской какого-нибудь табачного торговца: «У доброго нюхальщика». Этот фантастический *носач* так со мной освоился, что целую неделю брал на себя труд меня усыплять, как некогда делала моя кормилица. И все же, должен сказать, мои гипнагогические галлюцинации столь мимолетны, что я почти не думал о нем, кроме тех минут, когда его видел. И что же! во сне я очень часто, и в те же самые ночи, имел дело с этим персонажем. Он играл в моих снах главную роль, и когда, проснувшись, я пытался распутать родословную странных мыслей моих снов, я всегда находил большой нос отправной точкой. То это был бывший министр, которого я не называю и чей нос вошел в поговорку, — с ним я вел спор. То мне снились табакерка, трубка, и даже, если не ошибаюсь, в один из этих дней мне, кажется, снилось, что я умру, чихая.

Несколько лет назад гипнагогические галлюцинации осаждали меня непрестанно и соединялись с тяжестью в области сердца. Я видел порой ассигнаты, какие печатали во времена первой

республики, и их светящиеся знаки чрезвычайно меня утомляли. С давлением, которое я ощущал в сердце, соединялись также, хотя и не столь постоянно, рези в желудке. Лежа в постели, я провожу минут двадцать в этом полунедомогании, видя то свои фантастические ассигнаты, то пучок овсяного корня, попавшийся мне на глаза несколькими днями раньше на кухонном столе. Я засыпаю — и вскоре меня будит сильный ветер, сотрясавший окна и хлопавший дверьми. Мне снилось, что я в ресторане, где мне подали обед. Вид стола, за которым я сидел во сне, прочно запечатлелся в моем уме. Особенно я помнил ломоть дыни, показавшийся мне очень холодным и тяжело легший мне на желудок. Когда я захотел расплатиться у стойки, официант обернулся к большой таблице, висевшей на стене, очень блестящей на вид, наподобие моих фантастических ассигнатов; на ней были записаны разные блюда и напитки с ценами. Он подвел итог и ответил, что с меня 35 франков. Я возмутился непомерностью цены; я спросил, по какой причине с меня берут так много. «Это, — ответил официант, — для того, чтобы вас не обокрали! Наш ресторан повышает цены в виде гарантии для семейств». Я, как легко догадаться, не понимал такого объяснения и обратился к хозяйке ресторана, лицо которой напомнило мне лицо одной особы, недавно мне встретившейся. Я не смог добиться никакой скидки, и мне пришлось лезть в кошелек; в нем нашлось лишь несколько однофранковых монет, совсем недавно отчеканенных, и их блеск утомлял мои глаза не меньше, чем таблица возле стойки. Заметьте, что в тот самый день я несколько раз пересчитывал деньги в кошельке, где были как раз совершенно новые однофранковые монеты 1861 года чеканки. Сколько я ни искал, я не мог найти требуемых 35 франков — у меня едва набиралось 9; зато на дне кошелька я нашел пучок

овсяного корня, на котором были словно бы клейма монетного двора. «Вот, — сказал я официанту, — ассигнаты, которые господин В*** дал мне в уплату на 15 франков и которые вы, без сомнения, примете, потому что они имеют хождение в банке департамента Сена и Уаза». Официант упирается, отказывается от этой странной монеты, которую не принимает и хозяйка ресторана. Мне остается только дать свой адрес; я объясняю, почему оказался без денег, и был в сильной досаде, когда меня разбудил порыв ветра.

В этом причудливом сне легко найти все влияния, которые проявлялись во мне уже в минуту засыпания. Мысль об этой дыне, трудно перевариваемой, была внушена мне резями в желудке; досада, в которой я пребывал, была следствием тяжести, ощущавшейся в области сердца; блестящие ассигнаты снова явились моим глазам и породили сцену, в которой официант подсчитывал по ресторанному тарифу стоимость моего фантастического обеда; наконец, я связал образ овсяного корня с воспоминанием об этих ассигнатах. Из всех этих несогласных элементов я построил свой сон, к которому примешались воспоминания о недавно полученных впечатлениях.

Я предлагаю публике эти наблюдения, чего бы они ни стоили, хорошо зная, что в предмете такого рода невозможно добиться математической точности; но все же эти факты и несколько других, о которых у меня осталось смутное воспоминание, мне кажется, добавляют новые доказательства к мнению, развитому выше, которое считает гипнагогические галлюцинации главными элементами сновидений. Часто все происходит так же и при душевном расстройстве: у человека бывает первое видение, первая галлюцинация, внезапная, неожиданная; ему кажется, например, что он видит ангела, которого Бог Отец послал

нарочно, чтобы шепнуть ему словечко на ухо, или слышит голос, который его обвиняет, доносит на него, насмехается над ним или говорит ему какую-нибудь непристойность. Эта первая галлюцинация сильно его поражает, он выводит из нее следствие, связывает с этим образом, с мыслью, которая к нему привязана, смежные мысли; и именно в этом смысле о некоторых душевнобольных могли сказать, что они рассуждают правильно, исходя из вымышленной посылки. Но если за этой первой галлюцинацией быстро следует вторая, если воображаемые образы следуют друг за другом через короткие промежутки, если звуки, нашептываемые на ухо больному, часты и непрерывны, — о! тогда мысли, рождающиеся из этой череды галлюцинаций, сменяют друг друга с чрезвычайной быстротой; от этого кажется, будто они порождают одна другую, и неизбежно возникает полная бессвязность мысли и речи.

Видения, ложные восприятия, которые непрестанно осаждают больного манией, предстают ему с такой живостью, что он буквально ими обманут. Это зрелище, происходящее как бы вне его, поглощает его целиком и не оставляет ему досуга вернуться к самому себе и убедиться размышлением, что все, что предстает его глазам, — лишь воображаемое. Но именно это и происходит во сне. Череда образов, развертывающихся перед нашим внутренним взором и влекущих за собой столько же побочных мыслей, целиком занимает нашу душу и не позволяет нам вернуться к себе. Иногда, впрочем, через известные промежутки, но очень мимолетно, такие возвраты происходят, и из них рождается сознание того, что видимое нами нереально, — сознание смутное, потому что оно не продолжительно. Нет человека, у которого не было бы таких снов, где присутствует некое неясное чувство, что ты не в действительной жизни. То же явление бывает и в бреду

лихорадящего. Помню, как в бреду, охватившем меня во время одной болезни, я верил, что председательствую в Палате пэров, и все же, когда мне случалось тереться о подушку, мокрую от пота, у меня время от времени появлялось чувство, что это не совсем кресло великого канцлера. Подробности, которые сообщил мне о своем бреде один мой друг, некоторое время страдавший душевным расстройством и ныне совершенно излечившийся, дают мне повод думать, что и при помешательстве бывают такие проблески разума. Этот друг рассказывал мне, в частности, что в ту самую минуту, когда он воображал себя членом семьи Бурбонов и щедро раздавал титулы и ордена, он смутно сознавал, что здесь какая-то иллюзия и что все это лишь своего рода сон, — сон, от которого он, однако, не мог оторваться.

Не стану больше распространяться о галлюцинациях как о причине бессвязности мыслей; перехожу к ложной ассоциации последних.

Мне часто случается, проснувшись, собирать свои воспоминания и стараться размышлением восстановить сны, которыми была занята моя ночь, — не затем, разумеется, чтобы извлечь из них правила поведения и откровения о будущем, как это делали древние египтяне, о чем свидетельствуют греческие папирусы, найденные в Египте, а затем, чтобы приподнять покров, скрывающий таинственное рождение сновидения. Однажды утром, занимаясь такой работой, я вспомнил, что видел сон, который начался паломничеством в Иерусалим или в Мекку; не знаю точно, был ли я тогда христианином или мусульманином. После множества приключений, которые я забыл, я очутился на улице Жакоб у химика г-на Пеллетье, и в разговоре, который у меня с ним был, он дал мне цинковую лопату, ставшую моим главным коньком в следующем сне, более мимолетном, чем

предыдущие, и которого я не смог припомнить. Вот три мысли, три главные сцены, явно связанные между собой словами *pèlerinage* (паломничество), *Pelletier*, *pelle* (лопата), то есть тремя словами, которые начинаются одинаково и, очевидно, соединились по созвучию; они стали связующими звеньями сна, на вид весьма бессвязного. Однажды я поделился этим наблюдением с одной знакомой особой, и она ответила мне, что очень живо помнит сон такого рода. Слова *jardin* (сад), *Chardin* и *Janin* так хорошо соединились в ее уме, что она увидела во сне поочередно Ботанический сад, где встретила путешественника по Персии Шардена, который, к ее великому удивлению, — не знаю, из-за анахронизма ли, — подарил ей роман г-на Жюля Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина». Приведу еще один пример, снова взятый из моих собственных наблюдений и обнаруживающий ассоциацию столь же неправильного рода. Я думал о слове *километр*, и думал так усердно, что во сне шел по дороге и читал столбы, отмечающие расстояние от определенного пункта, исчисленное этой путевой мерой. Вдруг я оказываюсь на одних из тех больших весов, какими пользуются бакалейщики, и на одну из чаш человек накладывал *кило*, чтобы узнать мой вес; потом, не знаю уж как, этот бакалейщик говорит мне, что мы не в Париже, а на острове *Жилоло*, о котором, признаюсь, я в жизни думал очень мало; тогда мой ум обратился к другому слогу этого имени и, словно переменив ногу, я оставил первую и заскользил на второй; мне привиделось подряд несколько снов, где я видел цветок, называемый *лобелией*, генерала *Лопеса*, о плачевном конце которого на Кубе я только что прочитал; наконец, я проснулся, играя партию в *лото*. Правда, я опускаю несколько промежуточных обстоятельств, которые помню недостаточно ясно и которые, вероятно, тоже имели ярлыками подобные

созвучия. Как бы то ни было, способ ассоциации здесь от этого не менее очевиден. Эти слова, которые, разумеется, не употребляются каждый день, сцепили весьма разнородные мысли.

Итак, сны, как и мысли душевнобольного, в конце концов менее бессвязны, чем кажется на первый взгляд; только связь мыслей устанавливается в них посредством ассоциаций, в которых нет ничего разумного, посредством сходств, которые обычно ускользают от нас по пробуждении и которые мы улавливаем тем меньше, что мысли превратились в образы, а мы не привыкли видеть, как образы спаиваются друг с другом, подобно разным частям полотна движущейся панорамы.

«Беспорядочный вид представлениям сна, — пишет Адольф Гарнье[5], — придает то, что в отсутствие подлинного восприятия они кажутся восприятиями. Если наяву я думаю о человеке, который находится в Италии, если Италия заставляет меня вспомнить об арке Тита, Тит — об иудеях, а те — о Пилате и т. д., я не нахожу в этом ничего удивительного. Если те же мысли были у меня во сне, мне приснится, что из Франции я вдруг перенесся в Италию, что Италия превратилась в Иудею, Тит — в Пилата и т. д.»

[5] «Трактат о способностях души», т. II, с. 274.

Профессор из Бреслау К. А. Шернер в сочинении под названием «Жизнь сновидения»[6] разобрал строение множества снов и тем самым показал, как совершаются эти ассоциации.

[6] *Das Leben des Traums*. Берлин, 1861.

В некоторых случаях душевного расстройства проявляется любопытное явление, не раз возникавшее и в моих снах; это то, что можно назвать расщеплением личности. Больной приписывает тогда разным собеседникам, а порой и целому

собранию, заседающему у него в голове, мысли, которые приходят ему на ум, слова, которые он произносит. Один знакомый мне душевнобольной говорил, что ему досаждают споры нескольких окружавших его демонов. Он пересказывал мне брань, которой, к великому его возмущению, осыпали друг друга эти злые духи. А между тем этот бесовский разговор был не чем иным, как словами, которые больной произносил сам, мысленно или вслух, и которые он относил то к одному демону, то к другому. Одна душевнобольная, которую мне не раз случалось видеть в окрестностях Парижа и чей рассудок расстроили набожность и судебные тяжбы, г-жа де П..., считала, что непрестанно спорит с судьей, из-за которого, по ее словам, проиграла процесс. Примечательно, что она нарочно изучила Кодекс и судопроизводство, чтобы ему отвечать; но, по ее же признанию, судья был еще сильнее ее: он подбрасывал ей доводы, бросал ей в лицо судебные термины, которых она не могла ни опровергнуть, ни даже понять.

Едва ли найдется сочинение о душевном расстройстве, где не приводились бы подобные факты. Это дробление личности, которое совершается в воображении больного, обычно зависит от разных рядов мыслей, которые его волнуют. Его осаждают противоположные мысли, его поочередно увлекают или удерживают различные побуждения, и он полагает, что эти противоречивые мысли и побуждения исходят не все в равной мере из его собственного ума. Приходит ли ему мысль, а затем является возражение — он относит мысль или возражение к лицу, отличному от него самого. То он думает, что просто повинуется внушениям, исходящим от враждебных друг другу существ, например от Бога и демонов, от священников и нечестивцев; то допускает, что это сами враждующие существа говорят его устами

и действуют вместо него. И что же! совершенно подобные бредовые представления являются и во сне.

Во сне мы приписываем разным лицам мысли и слова, которые на деле наши собственные. В одном из самых ясных, самых отчетливых и самых разумных снов, какие у меня когда-либо были, я вел с собеседником спор о бессмертии души[7], и мы оба выдвигали противоположные доводы, которые были не чем иным, как возражениями, которые я делал самому себе. Это расщепление, совершающееся в уме, в котором доктор Уиган видит одно из доказательств своего парадоксального тезиса *the duality of the mind*, большей частью есть лишь явление памяти; мы помним доводы за и против по какому-либо вопросу и во сне относим два противоположных ряда мыслей к двум разным существам. Однажды мне вдруг пришло на ум слово *Мюсидан*; я знал тогда, что это название французского города, но где он находится — не знал, вернее, забыл. Спустя некоторое время я увидел во сне некоего человека, который сказал мне, что приехал из Мюсидана; я спросил его, где находится этот город. Он ответил, что это главный город кантона в департаменте Дордонь. Я проснулся после этого сна: было утро; сон оставался в моей памяти совершенно отчетливо, но я сомневался в верности того, что сказал мой персонаж. Название Мюсидан все еще представлялось моему уму так же, как в предыдущие дни, то есть без знания того, где расположен этот город. Я спешу заглянуть в географический словарь и, к великому своему удивлению, убеждаюсь, что собеседник из моего сна знал географию лучше меня, то есть, разумеется, что я вспомнил во сне факт, забытый наяву, и вложил в чужие уста то, что было лишь моим собственным припоминанием.

[7] См. примечание D в конце книги.

Много лет назад, когда я изучал английский язык и особенно старался усвоить значения глаголов с предлогами, мне приснился вот какой сон. Я говорил по-английски и, желая сказать одному человеку, что накануне заходил к нему, употребил выражение: *I called for you yesterday*. «Вы неправильно выражаетесь, — ответили мне, — надо говорить: *I called on you yesterday*». На следующий день, проснувшись, я очень живо помнил это обстоятельство моего сна. Я беру грамматику, лежавшую на столике рядом с кроватью, проверяю: воображаемый собеседник был прав.

Здесь опять память о вещи, забытой наяву, вернулась ко мне во сне, как в случае, приведенном мною выше[8], и я приписал другому лицу то, что было лишь работой моего собственного ума.

---

[8] См. главу IV.

Однажды я рассказал об этом последнем замечании другу, г-ну Ф..., который сделал кое-какие наблюдения над своими снами. Он привел мне пример еще более поразительный. В детстве он бывал в окрестностях Монбризона, где вырос. Двадцать пять лет спустя он отправляется в Форез, чтобы обойти места своих первых игр и повидать старых друзей отца, с которыми с тех пор не встречался. Накануне отъезда ему снится, что он прибыл к цели путешествия; он близ Монбризона, в каком-то месте, которого никогда не видел, и там замечает господина с незнакомыми чертами лица, который сообщает ему, что он г-н Т...; это был друг его отца, которого он действительно видел в детстве, но помнил лишь по имени. Несколько дней спустя г-н Ф... в самом деле приезжает в Монбризон. Каково же было его удивление, когда он узнал местность, виденную во сне, и встретил того самого г-на Т..., в котором прежде, чем тот назвался, признал человека, явившегося ему во сне! Только черты его немного постарели.

Вообще, когда, проснувшись, я размышляю о снах минувшей ночи, я нахожу в некоторых примешавшихся к ним воображаемых диалогах воспроизведение разговоров и споров, в которых участвовал прежде наяву. Два года назад у меня был с одним из друзей разговор об итальянских делах, и, разойдясь во мнениях, мы оба отстаивали свой взгляд доводами, заимствованными из истории. Через несколько дней я снова увидел во сне своего друга; мы возобновили тот же разговор, и каждый развил тот же тезис с помощью тех же доводов. Очевидно, тут было лишь воспроизведение воспоминаний, и так как первый спор был еще жив в моей памяти, так же как и сон, я смог проверить полное совпадение обоих диалогов — действительного и воображаемого. Но часто мы забываем наяву возражения, которые высказывали собеседнику или задавали самим себе; и тогда, когда во сне это воспоминание оживает, оно производит на нас впечатление новых и незнакомых мыслей. То же может случаться и с душевнобольным. Один больной, на которого мне указали из-за его странного бреда, жаловался, что его мучает янсенист, чьи возражения не давали ему покоя; будучи весьма правоверным в своей вере, он испытывал от этих еретических положений настоящую пытку. Ясно, однако, что возражения, которые делал ему янсенист, должны были когда-то прийти ему на ум и встревожить его совесть. Чем сильнее этот больной старался их отогнать, тем с большей силой они ему представлялись; и его ум от этого пошатнулся. Вот как во сне нам являются многие мысли, на вид новые, а по сути лишь воспроизведение давних размышлений, вещей, когда-то усвоенных, след которых так ослабел, что они казались забытыми. Если эти мысли, эти факты вызываются во сне нашим воображением и приписываются сообщению других лиц, они могут показаться нам откровениями.

Вот два случая из моих собственных снов, которые показывают это с полной очевидностью.

Несколько дней подряд мне случалось видеть во сне некоего господина в белом галстуке, в шляпе с широкими полями, с особенной физиономией и чем-то англо-американским в осанке. Этот человек был мне совершенно неизвестен; я долго думал, что он лишь чистое создание моего воображения. Однако через несколько месяцев — каково же было мое удивление, когда я столкнулся на улице лицом к лицу со своим господином! Та же форма шляпы, тот же белый галстук, тот же сюртук, та же чопорная, накрахмаленная осанка. Я переходил в ту минуту бульвары и, естественно, желая узнать, кто бы мог быть этот действующий в моих снах персонаж, вдруг вернувшийся в действительность, последовал за ним до улицы Клиши; но, видя, что он продолжает путь до Батиньоля, и боясь слишком уклониться от своего направления, я перестал за ним следовать и вернулся на бульвар. Через месяц я опять проходил по улице Клиши — и снова его вижу. Надо заметить, что за несколько лет до того постоянные занятия приводили меня три раза в неделю на эту улицу; с этой минуты я уже не сомневался, что встречал его тогда; воспоминание о нем запечатлелось в моем уме без моего ведома и, оживленное причиной, которая поначалу от меня ускользала, ввело этого человека в мои сны.

Чтобы окончательно объяснить себе его появление в созданиях моих ночей, я стал искать причину, которой было обязано это возвращение старых воспоминаний, и без особого труда нашел ее. За несколько дней до того, как мне приснился этот господин, я встретил даму, которая долго беседовала со мной о той поре, когда мои учительские занятия приводили меня три раза в неделю на улицу Клиши. Очевидно, именно этот разговор и

вызвал появление в моих снах незнакомца в белом галстуке, и доказательство тому — то, что к снам, где он фигурировал, примешивались обстоятельства, относившиеся к урокам, которые я давал на этой улице. Эта улица, в свою очередь, вызвала много стершихся воспоминаний, и в их числе — облик моего персонажа.

Эти сны принадлежат к разряду оживлений воспоминаний — явлению, которое может встречаться не только во сне и при душевном расстройстве, но и при сомнамбулизме, естественном или искусственном. Приводили любопытные примеры этого. Самый замечательный — несомненно, тот, о котором рассказывает Дьюар. Это была девушка-сомнамбула, которая наяву, казалось, не имела ни малейшего понятия об астрономии, а во сне довольно верно объяснила причину периодической смены времен года[9].

[9] Робли Данглисон, «Физиология человека», 5-е изд., т. II, с. 552. Этот автор приводит и другие факты того же рода.

Вообще можно сказать, что мы забываем гораздо меньше, чем кажется. Впечатление может настолько ослабеть, что вещь перестанет присутствовать в уме, что ум не сможет по своему желанию вызвать ее в памяти; но раз произведенное впечатление почти всегда оставляет следы, способные самопроизвольно оживать при возбуждении способностей, подобном тому, что проявляется в бреду и при душевном расстройстве. Сон представляет для пробуждения воспоминаний, по видимости угасших, столь же благоприятные условия, как и эти умственные расстройства. Движения мозга и нервных корешков, которых мы прежде не сознавали, воспринимаются тогда нашим «я» в силу явления, подобного тому, которое при некоторых болезнях делает слух или зрение чувствительными к впечатлениям, которые в здоровом состоянии подействовали бы на них недостаточно,

чтобы вызвать ощутимые или сознаваемые ощущения. Словом, память больше слабеет, чем утрачивается, и, слабея, становится капризнее, менее подчиненной воле, больше попадает в зависимость от побуждений, действующих в нас без нашего ведома; тем самым она приближается к тому, чем бывает во сне.

Эти соображения, заметим мимоходом, показывают, что память основана на силе внимания не в такой мере, как полагали некоторые философы; она гораздо больше зависит от силы впечатления и от мощи особой способности припоминания. Есть факты, а особенно слова, которые запечатлеваются в уме как бы без нашего ведома, с быстротой солнечного луча, действующего на фотографическую пластинку. Сначала мы этого не сознаем и лишь позднее, случайно, можем это обнаружить. Отметим в подтверждение этого наблюдения, что внимание у ребенка гораздо слабее, чем у взрослого человека, и, однако, память у первого сильнее, чем у второго. Это, вероятно, зависит от того, что впечатлительность той части мозга, которая ведает этой способностью, в первые наши годы больше, чем в зрелом возрасте. Без сомнения, мы тем лучше помним факт, чем более живое впечатление он на нас произвел; но живость впечатления зависит не столько от природы факта, сколько от склада нашего ума и тонкости чувствующего аппарата. Иной факт, произведший на ребенка столь глубокое впечатление, что тот сохранит память о нем на всю жизнь, не оставил бы в нем никакого следа, будь он взрослым. Итак, в конечном счете от впечатлительности мозга зависят стойкость воспоминания, сила памяти; смотря по нашим вкусам и способностям, те или иные впечатления действуют на нас сильнее и оставляют в нас долгий отзвук. Отсюда — чрезвычайное разнообразие видов памяти, отвечающее самому разнообразию способностей.

Да будет мне позволено привести попутно факт, который делает очевидным это машинальное и в известном смысле пассивное действие памяти. Мне часто приходили на ум, и я не знал почему, три имени собственных, каждое в сопровождении названия французского города. Однажды мне случайно попадается старая газета, которую я перечитываю, не имея занятия получше. На листе объявлений я вижу указание склада минеральных вод с именами аптекарей, продававших их в главных городах Франции. Мои три незнакомых имени значились там, против городов, воспоминание о которых соединилось с ними. Все объяснилось: моя память, превосходная на слова, сохранила воспоминание об этих соединенных именах, на которые, должно быть, упал мой взгляд, когда я искал — а было это за два месяца до того — склад минеральных вод; но само это обстоятельство вылетело у меня из головы, хотя воспоминание от этого вовсе не изгладилось. А ведь я, конечно, не мог уделить особого внимания столь беглому чтению.

Именно эти, так сказать, скрытые воспоминания очень часто доставляют материал для наших снов, как я заметил выше, и они поддерживали веру во вдохновения, в сверхъестественные сообщения.

Г-н П***, помощник библиотекаря Законодательного корпуса, уверял меня, что видел во сне женщину, на которой впоследствии женился, хотя тогда она была ему незнакома, — или по крайней мере он думает, что никогда прежде не видел ее в действительности. Здесь, по всей вероятности, перед нами факт бессознательного воспоминания.

То, что происходит с человеком, видящим сон, может так же случаться и с человеком, лишившимся зрения. Не получая больше никаких зрительных впечатлений, он с чрезвычайной живостью

сохраняет воспоминание об образах, которые когда-то его поразили; множество забытых лиц и картин мало-помалу возвращается в память, порой с такой внезапностью, что это придает им вид откровения. Быть может, в этом и причина, по которой в древности дар пророчества приписывали слепцам, как Амфиараю и Тиресию. Тот, кто поражен слепотой, еще долго видит во сне, что зряч, и в его снах множество образов, заимствованных из прошлых впечатлений, обольщают его воображение. Один красильщик, о котором мне рассказывали и который в двадцать лет потерял зрение от несчастного случая, однажды довольно точно описал черты одного из своих двоюродных братьев, которого видел во сне и с которым, однако, никогда не встречался, пока был зрячим. Пытаясь понять, чему приписать эту мнимую интуицию, он в конце концов вспомнил, что когда-то видел портрет этого брата у другого родственника. Этот портрет и вернулся ему на память. Но здесь оживление воспоминания опять-таки происходит во сне. Вот другой случай, относящийся к бодрствованию: капитан П..., лишившийся зрения в Африке вследствие ранений, рассказывал мне, что после этого несчастья ему с чрезвычайной отчетливостью вспомнились некоторые местности, прежде совершенно им забытые.

Факты такого рода, несомненно, способствовали признанию предвидения, пророческого духа. Люди, должно быть, думали, что во сне человеку порой открывается знание неведомых вещей.

Но вернусь к сходству сна и душевного расстройства. Предмет, на который я хотел обратить внимание, — это мысленное расщепление личности, из которого во сне проистекает приписывание отдельным лицам мыслей, которые между тем являются делом одного и того же ума. Думаю, что приведенные

здесь сопоставления достаточно проясняют сходство того, что происходит во сне и при помешательстве.

Сны — настоящие галлюцинации, и еще больше усиливает сходство то, что ложные ощущения, или, лучше сказать, ложные образы сна, соединяются с ощущениями действительными, зависящими от внешней жизни.

Во сне часто случается, что в свои фантастические построения вводишь ощущение, переданное не вполне уснувшими чувствами. Помню, как в детстве, задремав от сильной жары, я увидел во сне, что мне положили голову на наковальню и бьют по ней молотами удар за ударом. Во сне я очень отчетливо слышал стук тяжелых молотов; но, по странному действию, голова моя, вместо того чтобы разбиться, таяла и превращалась в воду; казалось, она была из мягкого воска. Я просыпаюсь и чувствую, что лицо мое залито потом — испариной, вызванной лишь сильным жаром. Но что было еще замечательнее, я слышу на соседнем дворе, где жил кузнец, вполне настоящий стук молотов. Нет сомнения, что именно этот звук мои уши передали моему оцепеневшему уму. Здесь было действительное ощущение, соединенное с воображаемым фактом — избиением моей бедной головы, которую я тоже вполне реально чувствовал тающей в воду.

Этот случай, бывший тридцать пять лет назад, сильно меня поразил, и я никогда его не забывал.

С тех пор я предпринял ряд наблюдений, чтобы изучить, в каких пределах во сне участвуют действительные впечатления чувств. Когда вечером я начинал засыпать в кресле, я просил человека, сидевшего рядом, вызывать во мне определенные ощущения, о которых он меня не предупреждал, а затем будить меня, когда я уже успевал увидеть сон. Привожу здесь результаты нескольких таких опытов — не все они оказались

показательными; их следует присоединить к тем, что когда-то опубликовал П. Прево из Женевы[10].

[10] «Наблюдения над сном», в «Женевской всемирной библиотеке», т. LV, с. 237, отдел «Литература» (1834).

Первое наблюдение. Меня щекотали пером поочередно по губам и по кончику носа. Мне приснилось, что меня подвергают ужасной пытке: на лицо мне наложили смоляную маску, а потом резко ее сорвали, отчего кожа на губах, носу и лице была содрана.

Второе наблюдение. На некотором расстоянии от моего уха заставляют звенеть каминные щипцы, по которым водят стальными ножницами. Мне снится, что я слышу звон колоколов; этот звон вскоре становится набатом; мне кажется, что я переживаю июньские дни 1848 года.

Третье наблюдение. Мне дают понюхать одеколон. Мне снится, что я в лавке парфюмера, а мысль о благовониях, вероятно, пробуждает затем мысль о Востоке: я в Каире, в лавке Жана Фарины. Следуют причудливые приключения, связь которых от меня ускользает.

Четвертое наблюдение. Мне дают понюхать горящую спичку. Мне снится, что я в море (заметьте, что в окна в это время дул ветер) и что взрывается крюйт-камера.

Пятое наблюдение. Меня слегка щиплют за затылок. Мне снится, что мне ставят нарывной пластырь, и это пробуждает воспоминание о враче, лечившем меня в детстве.

Шестое наблюдение. К моему лицу подносят горячее железо, держа его достаточно далеко, чтобы ощущение тепла было слабым. Мне снятся *поджариватели*, которые проникали в дома и, поднося к жаровне ноги тех, кто там находился, заставляли их сказать, где спрятаны деньги. Мысль об этих поджаривателях вскоре вызывает мысль о герцогине д'Абрантес, которая, как я

воображаю во сне, взяла меня в секретари. Я действительно читал когда-то в «Мемуарах» этой умной женщины кое-какие подробности о поджаривателях.

Седьмое наблюдение. Мне на ухо произносят слово *парафагарамус*. Я ничего не слышу и просыпаюсь, увидев лишь довольно смутный сон. Опыт повторяют, когда я сплю в постели, и произносят слово *мама* несколько раз подряд. Мне снятся разные предметы, но в этом сне я слышал жужжание пчел. Тот же опыт, повторенный несколько дней спустя, когда я едва уснул, оказался убедительнее. Мне на ухо произнесли слова *Азор, Кастор, Леонора*; проснувшись, я помнил, что слышал два последних слова, которые я приписывал одному из собеседников моего сна.

Другой опыт того же рода тоже показал, что было воспринято звучание слова, а не связанная с ним мысль. Мне на ухо произнесли несколько раз подряд слова *chandelle* (свеча), *haridelle* (кляча). Я вдруг сам собой проснулся со словами: *c'est elle* (это она). Мне так и не удалось вспомнить, какую мысль я связывал с этим ответом.

Восьмое наблюдение. Мне капают на лоб каплю воды. Мне снится, что я в Италии, что мне очень жарко и что я пью орвьетское вино.

Девятое наблюдение. Перед моими глазами несколько раз подряд проносят свечу, обернутую красной бумагой. Мне снятся гроза, молнии, и весь мой сон заполняет воспоминание о сильной буре, которую я пережил на Ла-Манше, плывя из Морле в Гавр.

Я делал и другие опыты, но они не удались — вероятно, потому, что мои чувства были слишком оцепенелыми, чтобы передать впечатление мозгу. Из тех, что я привожу здесь и которые можно сопоставить с фактами, изложенными в книгах доктора Макарио и К. А. Шернера[11], следует, что внешние

ощущения занимают немалое место в снах, что они часто служат их отправной точкой и что ум всегда преувеличивает силу этих ощущений. Дугалд Стюарт полагает, что образы сна сильнее образов бодрствования, потому что наше внимание не рассеяно, и замечает, что по той же причине, закрывая глаза, мы делаем образы отсутствующих предметов отчетливее и ярче. Этого наблюдения, без сомнения, достаточно, чтобы объяснить правдивость и силу видений сна, но оно не может объяснить преувеличения ощущений. Нужно допустить к тому же, что порой происходит перевозбуждение внутренних чувств, как это явно бывает при галлюцинации, и в частности при гипнагогической галлюцинации, так тесно связанной со сном. Доказательство в том, что видящий сон или больной часто испытывает тогда настоящую боль, хотя мнимое ощущение, которое ее вызывает, не такого рода, чтобы повредить организму и причинить ему страдание. В этом случае, несомненно, есть повышенная чувствительность к боли; но чаще всего причина, которая мешает нам оценить ощущение по достоинству, — отсутствие средств для сравнения, чувственной шкалы, поскольку упразднены ощущения, которые можно было бы сопоставить с испытываемыми. С нами происходит тогда то же, что со зрением в море: мы не судим о расстояниях, потому что на горизонте нам не дано никакой точки опоры.

[11] Эти факты принадлежат к разряду снов, которые г-н Макарио называет *внечерепными чувственными снами*. Укус блохи заставил Декарта увидеть во сне, что его пронзили шпагой. Один человек, о котором рассказывает Дугалд Стюарт, будучи нездоров, велел приложить к ногам грелку с очень горячей водой и увидел во сне, что совершает путешествие на Этну. Другой, с нарывным пластырем на голове, уснул и увидел очень длинный, очень последовательный сон, в котором видел себя пленником, которого вот-вот предадут смерти и оскальпируют американские индейцы. Неудобное положение шеи заставило одного священника увидеть во сне, что его душат.

Теперь вернемся к душевному расстройству; мы увидим, что и в нем наблюдается это вмешательство действительных восприятий в галлюцинации.

В 1847 году, возвращаясь из Константинополя на пароходе Австрийского Ллойда, который вез меня в Триест, я встретил среди своих попутчиков мономана и в течение пути сделал его предметом своих наблюдений. Он жаловался, что его преследуют; такова неизменная история этих несчастных больных. Он рассказывал мне о некоем еврее, который его разорил и покушался на его жизнь. В доказательство упорства этого неумолимого недруга мой больной говорил, что слышит, как тот кричит рядом с ним. «Вот, — сказал он мне, — вы его слышите? он говорит со мной». Я ничего не слышал. «Он меня бранит», — и тут он приводит мне обращенные к нему итальянские ругательства, которые повторять здесь нет надобности; но на этот раз я в самом деле услышал: эти ругательства были попросту теми, что как раз произносил один из матросов; они уже смолкли, а бедный больной все еще их слышал, как и другие, еще более страшные. Итак, мой мономан смешивал ощущения действительного слуха с воображаемыми, совершенно как во сне. В нем происходило совершенно сходное явление.

Фодере, который в своем «Трактате о бреде» отмечает это соединение во сне фантастических ощущений с неполными действительными, заметил, что свойство сна — преувеличивать само ощущение: булавка, которая вас колет, становится ударом шпаги, одеяло, которое на вас давит, — грузом в пятьсот фунтов, онемение конечности — утратой этой конечности или полным ее параличом и т. д. Это, как видим, и вытекает из наблюдений, которые я только что привел. И что же! несомненно, так же обстоит дело и при помешательстве. Многие мономаны

превращают в пытку, в нестерпимую боль, в чудовищное ощущение действительные ощущения, местом которых служат их внутренности или конечности, и заставляют их играть роль в своих галлюцинациях и вымыслах. Одна знакомая мне англичанка, перенесшая несколько приступов душевного расстройства, страдала гастритом, который беспокоил ее во всякое время, и в пору лучшего душевного состояния. В приступах бреда она уверяла, что чувствует змею, пожирающую ее желудок, а урчание в животе, которому была подвержена, превращала в непристойные слова, будто бы обращенные к ней этой змеей. Другой душевнобольной, о котором мне рассказывали в Англии, соединял со своими галлюцинациями вид действительных, находящихся перед ним предметов, так что, например, ему виделась голова друга, действительно стоявшего перед ним, приставленная к какому-то фантастическому телу.

Предоставляю врачам-психиатрам дополнить эти сопоставления. Приведенных достаточно для моего положения: они дают понять, что при душевном расстройстве и в сновидении происходит смешение, сочетание действительного и воображаемого, того, что ум в самом деле воспринимает извне, и того, что он извлекает из собственных созданий.

Выше я говорил о невероятной быстроте, с какой протекает мысль у некоторых душевнобольных, особенно в приступах острой мании. Одна особа, некогда утратившая рассудок и затем вполне вернувшаяся к здравому смыслу, рассказывала мне, что помнит: во время болезни она видела множество вещей сразу и никогда еще не думала так много, так быстро и о столь разных предметах. Мне кажется бесспорным, что и в сновидении игра мысли почти всегда совершается с такой же быстротой[1]. Та чрезвычайная скороговорка некоторых душевнобольных, которая

выдает стремительность их мысли, наблюдалась бы и в сновидении, если бы мы могли вслух, по ходу дела, высказывать то, что нам снится. Помню, как однажды, ночуя в одной комнате с одним из моих братьев, я слышал, как он произносит во сне нечленораздельные слова, или, вернее, слова начатые и не досказанные, — и все это с необыкновенной живостью. В этом случае он, как мне кажется, поступал подобно тем душевнобольным, которые думают и говорят так быстро, что не дают себе времени договорить фразу. К сожалению, эти, если можно так выразиться, говорящие сны крайне мимолетны: проснувшись, их не удается припомнить, а значит, нельзя и сравнить их со словами, которые были произнесены и которые мог слышать посторонний, чтобы проверить, отвечают ли эти слова по порядку образам сновидения. Так и случилось с моим братом: проснувшись, он все забыл.

[1] Исключаю, впрочем, липеманию и ступорозное помешательство, при которых мысль, напротив, обычно очень медлительна.

Лет двадцать пять тому назад у меня была привычка читать вслух матери, и часто случалось, что сон одолевал меня при каждой паузе, на каждом абзаце; однако я просыпался так быстро, что мать ничего не замечала, разве только то, что я читаю порой медленнее. И что же! За эти секунды начавшегося и тотчас прогнанного необходимостью продолжать чтение сна я видел весьма пространные сновидения, которые путали мои мысли и обыкновенно мешали мне понимать книгу.

Но вот факт, еще более убедительный в пользу быстроты сновидения, факт, который, на мой взгляд, доказывает, что для пространного сна довольно одного мгновения. Я был немного нездоров и лежал у себя в комнате; у изголовья сидела мать. Мне снится Террор; я присутствую при сценах резни, предстаю перед

революционным трибуналом, вижу Робеспьера, Марата, Фукье-Тенвиля, все самые мрачные лица той страшной эпохи; я спорю с ними; наконец, после множества событий, которые помню лишь смутно, меня судят, приговаривают к смерти, везут в телеге среди огромного стечения народа на площадь Революции; я всхожу на эшафот; палач привязывает меня к роковой доске, опрокидывает ее, нож падает; я чувствую, как моя голова отделяется от туловища, — и просыпаюсь в жесточайшей тревоге, и чувствую у себя на шее перекладину полога моей кровати, которая внезапно отвалилась и упала мне на шейные позвонки, точно нож гильотины. Это случилось в тот же миг, что и подтвердила мне мать, и, однако, именно это внешнее ощущение я, как и в приведенном выше случае, взял исходной точкой сновидения, в котором сменилось столько событий. В миг удара воспоминание о грозной машине, действие которой так верно изобразила перекладина моей кровати, пробудило все образы эпохи, символом которой стала гильотина.

Я мог бы привести и другие примеры, но ограничусь теми, что кажутся мне самыми решающими. Итак, ускорение мысли свойственно сновидению так же, как душевному расстройству, как всем минутам глубокого волнения, крайнего смятения. Многие люди перед лицом неминуемой опасности видели, как мысли толпой теснятся в их испуганном воображении. Ибо мозг подобен сердцу: волнение учащает его биение.

Именно быстротой ассоциации идей страсть, в самом деле, и сближается с помешательством[2]; и хотя в ней больше порядка, в ней находишь ряд обстоятельств, присущих тому расстройству ума, которое составляет сновидение.

[2] См. по этому поводу здравые замечания г-на Лелю в его превосходном мемуаре *Исследование сходства помешательства и разума*, приложенном к сочинению

того же автора *О демоне Сократа*, новое изд., с. 344.

Дугалд Стюарт прекрасно показал, насколько эта быстрота мысли во время сна способствует тому, что в нас стирается понятие о времени[3]. Однако, как мне еще придется напомнить ниже, это понятие иногда сохраняется и во сне; зависит оно, по всей вероятности, от особой способности ума, которая у разных людей развита в большей или меньшей степени.

[3] *Начала философии человеческого духа*, пер. Пейсса, т. I, с. 257.

Суждению, чтобы действовать нормально, нужна цельность работы всех способностей, а значит, и свободная игра органов, непосредственно подчиненных мозгу; понятно поэтому, что оно страдает всякий раз, когда эти органы повреждены или хотя бы просто оцепенели или перевозбуждены. Вот почему при помешательстве, как и в сновидении, нам не удается исправить ложные представления, которые внушают нам неполные впечатления и разнородные ощущения. Конечно, и во сне мы еще судим, сравниваем, рассуждаем, более или менее несовершенно; но эти суждения подобны суждениям душевнобольного: в них всегда есть что-то ошибочное и несообразное. Происходит это оттого, что во сне, как и при душевных болезнях, всегда есть волокна головного мозга, действие которых приостановлено или прервано. Суждения, которые мы составляем во сне, больше, чем суждения бодрствования, подчинены влиянию наших страстей и инстинктов, которые и доставляют им материал. Ибо, как я уже говорил, в сновидении мы остаемся при том же характере, что и в действительной жизни; мы подвержены там тем же увлечениям и тем же склонностям. Более того, вследствие преувеличения, которое порождает сосредоточенное влияние внутренних органов на ум во время сна, эти страсти часто достигают во сне такой силы

и неистовства, каких не имеют наяву. Я уже отмечал это выше. Например, тщеславие и гордость разгораются так же, как гнев и страх. Мы принимаем тогда за важные открытия, дивные творения, шедевры такие замыслы, которые, оставаясь еще в уме при пробуждении, вскоре оказываются несообразностями или банальностями. Нам кажется, что мы сочинили великолепные стихи, блестящие речи, а эти сочинения сна оказываются хромыми стихами или сплетением неполных и путаных фраз. Однажды мне приснилось, будто я написал превосходное стихотворение на латыни; несколько стихов осталось у меня в памяти после пробуждения, и я увидел, что это всего лишь жестоко искалеченные стихи Горация[4].

[4] См. по этому поводу И. Мюллер, *Руководство по физиологии*, пер. Журдана, т. II, с. 554, и Г. Валентин, *Учебник физиологии человека*, т. II, ч. 2, с. 586, № 4595.

Подобные обманы бывают и у душевнобольного, ибо в его бреду, как и в сновидении здорового человека, страсти разгораются. Он принимает за замечательные сочинения бессвязные страницы, которые набрасывает, за гениальные замыслы — случайные мысли, мелькающие у него в голове. Можно допустить, что во сне, как и при помешательстве, некоторая совокупность мозговых волокон сохраняет правильную работу: в первом состоянии — потому что их не охватило оцепенение, во втором — потому что их не коснулось расстройство, поразившее остальные. Ум способен тогда рассуждать верно в пределах тех понятий и суждений, в создании которых участвуют эти волокна[5]. Но как только эти понятия или суждения приводят в движение другие волокна, ум охватывает ошибка или бред. Мономания и ясное сновидение дают нам примеры этих двух видов частичной работы разума.

[5] См. по этому поводу Робли Данглисон, *Физиология человека*, 5-е изд., т. II, с. 547.

Вот два наблюдения, которые сделают отмеченное здесь сходство нагляднее.

Одна пожилая дама из моего родного города, у которой начиналось старческое слабоумие, вообразила, что умерла, и, однако, прекрасно понимала, что каждое утро пьет свой шоколад. Что можно есть, будучи мертвой, — это ее удивляло. Суждение сохранилось у нее достаточно, чтобы оценить странность такого факта, но не настолько осталось цельным, чтобы она могла понять, что обманута бредовой идеей; она ограничивалась тем, что называла это странным, и просто прибавляла, что в последнее время сделано столько открытий, что, быть может, нашли и способ кормить мертвых завтраком.

Года два назад, через неделю после кончины г-на Л…, с которым мы были коллегами и на похоронах которого я присутствовал, я очень отчетливо увидел его во сне. Он сидел за своим рабочим столом в библиотеке Института. Его присутствие меня очень удивило, и я с живым любопытством спросил его, как он, будучи похоронен, смог вернуться в этот мир. Г-н Л… дал мне объяснение, которое, как нетрудно догадаться, было лишено всякого смысла и в котором перемешались виталистические теории, недавно мною изученные. Все, что он говорил, показалось мне чрезвычайно интересным. Как и у только что упомянутой пожилой дамы, разум сохранял у меня еще достаточно влияния, чтобы я понимал странность идеи, игрушкой которой стал, но этого остатка здравого смысла не хватало, чтобы я понял несообразность объяснения, подсказанного мне воображением. Этот пример, к которому легко было бы прибавить множество других, показывает, что обманы одного рода могут представляться уму душевнобольного и видящего сон и что

суждение в обоих состояниях порой страдает одинаково. Галлюцинация сновидения, как и галлюцинация помешательства, увлекает ум к представлениям, которые разум недостаточно силен отвергнуть[6].

[6] Мне часто снились сны, в которых люди, о которых я знал, что они умерли, действовали и говорили как живые. Это всегда вызывало в моем уме большое удивление, порой довольно явное сомнение, но никогда ни это удивление, ни это сомнение не могли породить в моем спящем уме рассуждения, которое привело бы меня к мысли, что эти явления — чистая иллюзия. Примечательно, что во сне я всегда ищу объяснения и никогда не нахожу истинного.

Закончу сопоставления, которые дают мне сновидение и душевное расстройство, указанием на последнее сходство. Сновидение, как я говорил выше, чаще всего лишь вызов уже воспринятых образов, уже сложившихся в уме идей, которые воображение сочетает в новом порядке. Воспоминание играет в нем еще большую роль, чем вымысел. Точно так же и при помешательстве тот или иной факт, тот или иной образ, внезапно предстающий глазам больного ума, то или иное слово, поражающее слух, — не что иное, как образ, некогда произведший на нас глубокое впечатление, как удержанное слово, которое возвращается в память, как это бывает у нас с множеством слов.

Совсем недавно гипнагогическая галлюцинация, которую я испытал и сопоставил с некоторыми случаями душевного расстройства, окончательно утвердила меня в этом мнении. Засыпая, я, по обыкновению, с закрытыми глазами, в темноте своей комнаты видел множество гримасничающих голов и фантастических фигур, из которых иные произвели на меня такое впечатление, что я и теперь верно себе их представляю. И вот сперва я увидел черты одного человека, навестившего меня двумя днями раньше, чье своеобразное и несколько забавное лицо меня поразило. Затем я увидел — и в этом-то любопытная сторона дела

— свое собственное лицо, очень отчетливо; потом оно исчезло, уступив место новому, на манер того, что называют фантаскопом, а по-английски *dissolving views*. На другой день, размышляя об этой странной галлюцинации, я вспомнил, что накануне долго смотрелся в зеркало, чтобы найти в своих глазах какие-нибудь видимые признаки недуга, которым они поражены.

Вот теперь второй факт, который для слуха в точности соответствует предыдущему и тоже случился со мной самим. Однажды вечером, находясь в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном, я слышу, как сам очень отчетливо говорю, словно произношу речь в каком-то гулком зале. Особенно поражают мой слух некоторые слова, некоторые фразы. Вдруг ко мне в комнату входят со светом, и меня разом возвращают на сцену действительной жизни. Я размышляю о том, что со мной произошло, и узнаю в фразах, мысленно мною произнесенных, обрывки фраз из одного моего сочинения, которое я незадолго до того несколько раз читал друзьям.

Так подтверждалось то, что я показал в предыдущих главах: по таинственной игре нашего ума происходят внезапные возвраты прежнего впечатления, давнего восприятия, если ум был им сильно затронут. В силу особого предрасположения мозг может сам собой, без участия воли, воспроизводить действия умственной жизни и чувственные впечатления. Это не способность, свойственная лишь некоторым людям, а скорее следствие физического состояния, временного и случайного состояния нервной системы. Похоже, что некоторые части нашего мозга подвержены, как я уже говорил выше, судорожным движениям, совершенно подобным тем, что сотрясают члены и мышцы страдающего эпилепсией или лицо человека с тиком: они

возвращаются время от времени, независимо от воли, и подчинены изменениям, законов которых мы оценить не можем.

При галлюцинации, как и в сновидении, идеи являются уму сами, без зова, в силу особого внутреннего движения, автоматической игры рассудка, который уже не оценивает внешних обстоятельств, способных показать нам их пустоту и несообразность.

Итак, чем глубже проникаешь в действия ума — спящего или пораженного расстройством, — тем больше убеждаешься, что эти действия совершаются сходным образом, тем яснее видишь, что механизм мысли работает одинаково неполно; потому-то сравнительное изучение этих двух рядов явлений и позволит их прояснить, лучше уловить их особенности и, быть может, открыть некоторые из законов, которые управляют одновременно самым странным и самым печальным из явлений человеческого ума.

ГЛАВА VII. О ДУШЕВНОМ РАССТРОЙСТВЕ И БРЕДЕ. ТЕОРИЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ

✦

Выявляя сходство сновидения и душевного расстройства, я не притязал отождествить эти два состояния и представить сон всего лишь помешательством, чередующимся с разумом, периодическим душевным расстройством. К тому же помешательство, если понимать его только в психологическом отношении, — термин несколько расплывчатый: он не составляет четко очерченного, ясно определенного вида. Сближение сновидения с помешательством не проясняет природы сновидения, если предварительно не условиться, что такое помешательство. Болезни ума так же разнообразны и изменчивы по формам, как сами умственные представления. Вот почему, когда пытаются классифицировать различные душевные расстройства, руководствуясь различными видами бреда, наталкиваются на непреодолимые затруднения. Задача не менее трудна, чем если бы попытаться классифицировать различные умы по природе и направлению присущих им идей.

В душевном расстройстве следует хорошо различать то, что можно назвать бредом, и собственно болезнь. Бред — это расстройство ума, из-за которого наши идеи блуждают, становятся смутными или неразумными и могут повлечь за собой безрассудные поступки и сочетаться с галлюцинациями. Однако он не составляет признака, присущего одной лишь мании, то есть помешательству по преимуществу; он часто сопровождает и разные другие болезни: менингит, брюшной тиф, оспу, острый

гастрит, эпилепсию, воспаление легких, ипохондрию, истерию, размягчение мозга, паралич и т. д.[7] Во всех формах, которые он принимает, всегда находишь неправильную ассоциацию идей и чаще всего — галлюцинации и непреодолимые влечения. Сновидение, будучи бредом преходящим, сближается с манией лишь потому, что у нее самым явным признаком служит частичный или общий бред. Но с медицинской точки зрения душевное расстройство — это определенная болезнь, связанная с особым патологическим состоянием головного мозга, к сожалению, до сих пор неизвестным, тогда как сон — лишь простое расслабление с пассивным приливом крови к цереброспинальной системе. Зависит ли помешательство от размягчения, разложения серого вещества мозга, от воспаления мозговых оболочек с пропитыванием тканей, чрезмерного прилива крови к сосудам головного мозга, разрушения корковых слоев, излияния серозной жидкости в желудочки, слишком длительного перевозбуждения нервной деятельности? Или же оно — следствие этих различных повреждений, каждое из которых порождает особую душевную болезнь? Мы этого не знаем; и пока анатомия и физиология не прольют света на эту задачу, классификации душевных болезней останутся искусственными и неполными; придется брать за отличительные признаки различные формы бреда, а это, как я только что заметил, может дать лишь недостаточные данные, ибо бред — еще не помешательство. Лихорадящий больной может быть игрушкой того же химерического представления, что и больной манией, а между тем болезненное состояние того и другого, без сомнения, весьма различно. Я говорил выше, что, переболев корью в семнадцать лет, я заболел жгучей лихорадкой с бредом; в этом бреду я воображал себя канцлером Франции.

Душевнобольной мог бы иметь ту же мысль, хотя его болезнь ничем не походила бы на мою. Можно, конечно, показать, что простой бред есть лишь одна из форм того умственного расстройства, которое проявляется при душевном расстройстве, как это и сделал г-н Ж. Моро; но это не доказывает тождества патологических причин, иначе говоря — болезней, приводящих к этим двум состояниям. Этот ученый врач прекрасно установил, что бред принадлежит к тому же порядку расстройства ума, что и расстройство, возникающее у больного манией[8]; но он, полагаю, не утверждает, что лихорадка, порождающая одно, тождественна или весьма сходна с разложением мозга, с нервным возбуждением, приводящим к другому. Конечно, раз наблюдается умственное расстройство одного порядка, то мозг, то есть орган мысли, и чувства, то есть посредники, передающие мозгу ощущения, которые тотчас воспринимает ум, поражены сходным образом. Но две причины, вызывающие это смятение способностей, отождествлять нельзя. В одном случае болезнь лишь симпатическая, в другом — идиопатическая. Прибавим, что для верности этого различения необходимо отделить помешательство от разных умственных расстройств, которые с ним смешивают и которые происходят от воздействия на мозг болезней других органов, — различение, которое психиатры не всегда проводили достаточно. Само собой разумеется далее, что если симпатическое расстройство мозга затягивается, мозг может в свою очередь измениться, стать местом настоящей болезни, отличной от первой, и тогда породить настоящее помешательство. Такое порождение болезней путем воздействия и симпатии не мешает тому, что их следует различать и классифицировать.

[7] См. по этому поводу работу доктора Тора *О галлюцинациях при оспе*, *Медико-психологические анналы*, 3-я серия, т. II, с. 162.

[8] См. *Медико-психологические анналы*, 3-я серия, т. I, с. 20 и след. (январь 1855).

Оставив здесь в стороне эту сторону дела — происхождение болезни — и сведя изучение душевного расстройства к изучению одних только психических и психосенсорных явлений, надо признать вместе с г-ном Ж. Моро, что резкой границы между бредом и помешательством не существует.

Бред зависит одновременно и от природы болезни, которая его порождает, и от склада ума того, кто им охвачен. Вот почему он так же многолик в своих проявлениях, как сам человеческий ум. Посетите лечебницу для душевнобольных — вы увидите, как разнообразен бред. Но в этом разнообразии царит довольно большое единообразие, зависящее от влияния недуга, по существу всегда одного и того же. Мозг и нервы поражены определенным образом, отсюда и рождаются сходные виды бреда, хотя у каждого свое особое лицо. Бывает бред величия, любви, страха, подавленности и т. д. Врачи заключают из этого, что в помешательстве надо установить столько подразделений, сколько существует общих разрядов бреда. Но заметим, что тот же бред величия, любви, страха, подавленности и т. д. вновь появляется в сновидениях. Все химеры, которые могут обольщать воображение душевнобольного, предстают нам во сне, — доказательство того, что формы бреда не могут служить основой для классификации душевных болезней. Страсти естественно вмешиваются в бред, как и в представления бодрствующего и разумного человека: они смешиваются с нашими идеями, влияют на наши решения и поступки. И в сновидении нетрудно распознать влияние тех же страстей. Один мой друг, очень вспыльчивый, признавался мне, что часто гневается в снах;

другой, неравнодушный к женщинам, говорил, что ему часто снятся любовные сны; наконец, третий, соглашавшийся, что склонен приукрашивать рассказы и привирать, прибавлял: «Это сильнее меня, такова моя природа; и вот доказательство: во сне мне очень часто случается лгать сознательно».

Итак, страсти составляют одну из стихий бреда, и, поскольку они гораздо менее разнообразны, чем наши идеи, они придают ему то общее единообразие, которое разные врачи принимали за доказательство совпадения определенных видов бреда с тем или иным родом душевного расстройства.

Эти виды бреда, несмотря на сходство, могут происходить от весьма различных причин. Как заметили со времен Бэкона многие философы, не различие явлений, а их взаимная независимость заставляет приписывать их разным причинам[9]; и обратно, сходные психические явления можно относить к одной причине лишь постольку, поскольку порождающие их болезни зависят одна от другой. Значит, классифицировать помешательства следует не по природе бреда, а по природе болезней, которые его порождают.

---

[9] См. Ад. Гарнье, *Трактат о способностях души*, т. I, с. 33.

Нет сомнения, что в зависимости от того, какая часть мозга или нервной системы поражена, от рода повреждения органов умственной жизни, та или иная страсть может быть более или менее перевозбуждена или ослаблена; и в этом смысле форма бреда может навести на след того вида мозговой болезни, которой страдает больной. Паралитическое помешательство, например, обычно связано с химерами богатства, могущества, с идеями величия, истерия — с мистическими или любовными помыслами. Но эти формы бреда — лишь простое указание, а не

существенный признак. Истинный признак могут открыть нам только патологическая анатомия и физиология.

Во сне нервная сила ослабевает вследствие продолжительного напряжения деятельности; бред сновидения рождается просто из оцепенения органов и неполной работы мозга. При душевном же расстройстве, напротив, бред — следствие преходящего или постоянного расстройства в организме, вызванного изменением органов. Это изменение может возникнуть вследствие развития наследственного болезнетворного зародыша или чрезмерного возбуждения нервной системы, которое отражается на головном мозге настолько, что вызывает в нем начало расстройства его строения. Как только болезнь водворила расстройство в мозгу, поступки, как и идеи, становятся неразумными; мы уже не воспринимаем нормально; наше внимание ослаблено, суждение искажено; галлюцинации поддерживают наш бред, который принимает тогда хронический характер.

При мании потрясены, можно сказать, все умственные способности; наши слова и поступки обнаруживают непрерывный бред; поэтому маниакальный бред ближе всего к сновидению. Та же бессвязность, те же галлюцинации, то же неправдоподобие, те же несообразности в представлениях. Помешательство же с ограниченным бредом, касающимся лишь одного особого круга фактов, иначе говоря — мономания, или помешательство при ясном сознании, напротив, весьма резко отличается от состояния видящего сон. Ни одна способность не кажется измененной, мозг работает почти нормально, воля сильна; внимание ничуть не утратило энергии; память ни ослаблена, ни перевозбуждена; только ложные и химерические идеи, непреодолимые влечения время от времени овладевают больным. Здесь, очевидно, весьма частичные изменения или весьма местные перевозбуждения

искажают некоторые действия ума. Больной мономанией может видеть сны и при этом не станет смешивать, как это часто делает больной манией, сон с действительностью, ибо в его бреду нет ничего от бессвязности и несообразности сновидения: он просто во власти одного химерического представления из числа тех, что приходят порой и самому здравому уму, но тогда быстро рассеиваются размышлением.

В самом деле, в нашем уме часто возникают поистине безумные идеи, которые ничто не вызывает в умственной работе и которые, без сомнения, порождаются внутренними нервными реакциями. Эти безумные идеи появляются у нас в голове так же, как некоторые слова, некоторые имена вдруг приходят на ум, неизвестно как. Я говорил выше об этих словах, которые вместе со зримыми образами составляют основу сновидений. Когда мы бодрствуем и воля и внимание направляют нашу мысль, такие появления слов и образов почти не бывают, а если и бывают, работа ассоциации идей, которой мы заняты, тотчас их прогоняет. Но когда мы как бы отпускаем поводья ума, позволяем воображению скакать наудачу, что бывает особенно в мечтательной дремоте, образы и слова в большом числе являются нашему воображению, которое становится настоящим автоматом. В сновидении мы присутствуем зрителем, а не действующим лицом, при этой смене образов и идей, вызванных внутренними и самопроизвольными движениями мозга, порожденных чувствами, в которых отзываются некогда испытанные ими впечатления.

Когда человек здоров и бодрствует, он сохраняет власть рассеивать эти образы, эти идеи, что пробиваются в нем сами собой. Но когда возбуждение, вызванное некоторыми из них, чрезмерно — и это, без сомнения, из-за слабости или возбуждения нервной системы, — эти идеи или образы возвращаются с

назойливостью; сколько ни отгоняй их, они становятся лишь настойчивее, и ум в конце концов подпадает под их тиранию. Тогда-то и объявляется мономания; человек утратил свободу: им овладевает своего рода галлюцинация.

Идеи, как замечает г-н Байярже[10], тогда навязываются; их приходится терпеть. Увлекаемый ежеминутно этими самопроизвольными и невольными идеями, больной теряет способность сосредоточить внимание, и всякий последовательный труд становится для него невозможен. Тщетно поборовшись с этой властвующей над ним силой, он чаще всего приходит к ошибочным объяснениям: приписывает, например, преследующие его идеи постороннему существу.

[10] См. Байярже, *Теория автоматизма, изученная по рукописи больного мономанией*, в *Медико-психологических анналах*, 3-я серия, т. II, с. 54.

В этом автоматизме страсти, заботы, пробивающиеся идеи обычно резко расходятся с тем нравом, какой знали за больным до начала болезни; иногда же они лишь его преувеличение. Своей неодолимостью они отличаются, впрочем, от тех побуждений, которыми мы отчасти управляем по своему усмотрению, как это бывает при собственно вдохновении, где на автоматическую основу человек как бы прививает свою волю. Отсюда вдохновения, увлечения вполне деятельного рода, которые Лере верно отличил от тех, что он называет *пассивными* и при которых человек уже не сознает деятельности своего разумного и нормального существа[11].

[11] См. *Психологические фрагменты о помешательстве*, с. 269.

Промежуточная пора между поколебленным разумом и явным помешательством — та, в которой проявляется борьба суждения, сложившегося из прежде воспринятых истинных ощущений, с

ложными ощущениями, осаждающими ум. Доктор Реноден в весьма замечательном сочинении, озаглавленном *Медико-психологические этюды о душевном расстройстве*[12], превосходно описал, что происходит в это время. Предоставлю ему слово:

[12] Страница 406 (Париж, 1854).

«Промежуток, отделяющий галлюцинаторное впечатление от вызванного им душевного увлечения, составляет, с точки зрения бреда, своего рода период инкубации, в течение которого человек охвачен сильной тревогой. Когда впоследствии удается хорошо узнать больного — путем ли прямого наблюдения или по проявлениям его бредовых мыслей, — обнаруживается, что поначалу между его разумом и ощущениями, игрушкой которых он в конце концов стал, завязалась долгая и тяжелая борьба, и порой именно разным обстоятельствам этой борьбы можно приписать типическую форму душевного расстройства. Душевнобольной под первым влиянием своей озабоченности поначалу скрывает свое состояние, потому что, с одной стороны, он убежден лишь наполовину, а с другой — не хочет вызывать смех тех, кто его не понимает. Он еще сомневается, а уже неодолимо увлечен инстинктивным побуждением, которое сильнее его разума. Это пробуждается новая потребность, которая не замедлит им овладеть. Но стоит перейти этот предел, как действие причин все больше осложняет положение, тяжесть которого признают слишком поздно. Думают, что болезнь нагрянула внезапно, тогда как, напротив, галлюцинация, давно уже сложившаяся, стала, так сказать, новой функцией со своими физиологическими связями и симпатиями».

Итак, очень часто исходной точкой помешательства служит повторяющаяся, воспроизводимая в разных формах

галлюцинация; она вносит первый элемент беспорядка, который влечет за собой другие; и если в одних случаях галлюцинация — следствие случайного расстройства организма, внезапного вторжения болезни, то в других она сама есть последний итог длительного возбуждения, вызванного страстью, всегда деятельной, все более и более властной, — страстью, которая сама происходит из идиопатического состояния организма, усиленного, быть может, воспитанием и образом жизни.

Пусть, например, человек от природы боязлив и озабочен мыслью ни в коем случае не иметь дела с полицией; если ему встретится некто, имеющий вид полицейского агента, и пристально на него посмотрит, он испытает сильный испуг. Некоторые нервные волокна будут у него тогда сильно затронуты, и это глубокое впечатление повлечет впоследствии повторные отголоски того нервного действия, которое он испытал; он будет мысленно вновь видеть мнимого полицейского агента, чье лицо, чей облик станут внезапно являться его воображению, даже когда он будет занят другими мыслями; и вскоре эти явления станут так живы и так часты, что ему будет все труднее их рассеивать. В конце концов он почувствует себя совершенно бессильным; лицо полицейского агента почти постоянно поселится в его мозгу, то есть мозговое движение, вызывающее воспоминание об этом лице, будет совершаться судорожно, так же как мы видим, что та или иная мышца бьется или подергивается у нас вследствие ревматической болезни и мы не можем ее удержать. С этой минуты человек окончательно станет душевнобольным; он будет считать, что его беспрестанно преследует полицейский агент, и, как бывает во сне, его ум будет строить на этой первой идее новые химерические представления;

а сама она для него все больше объективируется и в конце концов станет настоящей галлюцинацией.

Таков характер бреда у больного мономанией, и отсюда видно, чем он отличается от сновидения, с которым, однако, у него немало точек соприкосновения. Но не следует забывать, что бреду при душевном расстройстве обычно предшествуют глубокие изменения характера, а сопровождается он извращением склонностей, примеров которого сновидение дать не может. Дело в том, что у душевнобольного умственное расстройство обширно и постоянно, что оно связано с коренным изменением нервной системы или головного мозга, а не проистекает просто из частичной остановки, из оцепенения.

Я говорил выше, что сновидения воспроизводят страсти и мысли бодрствования; лишь способности действуют неполно. У душевнобольного же, напротив, все извращено; человек во время приступов или с начала болезни уже не тот, кем был прежде; изменение организма повлекло за собой преображение характера и идей; этим-то прежде всего бред душевнобольного и отличается от простого сновидения.

Но когда к оцепенению, вызванному усталостью, присоединяется известная степень возбуждения, которая сохраняется вопреки стремлению к покою, когда сон беспокоен и сопровождается частичной экзальтацией чувствительности, состояние спящего ближе подходит к состоянию душевнобольного. Чувства уже не дают верной меры впечатлений.

Не только недостает суждения, позволяющего оценить силу ощущения, но и явна гиперестезия. Мы испытываем тогда сильные страхи, как это бывает при кошмаре; нас охватывают глубокие отвращения или сильный гнев. Расстройство организма

отражается на образах и идеях сновидения, и оно ближе подходит к бреду душевнобольного.

Эти наблюдения приложимы и к опьянению, которое порождает преходящий бред, подобный бреду сна, но более беспокойный, более буйный. Спиртные напитки мешают работе умственных способностей, притупляют или возбуждают чувства, вызывают галлюцинации, поражают члены неполным параличом. Может случиться тогда, что наш характер на время преобразится. Мы предаемся шумному веселью, впадаем в приступы ярости, испытываем любовные чувства. Эти изменения характера связаны, как у душевнобольного, с умственными расстройствами и доказывают, что способности чувства затронуты не меньше, чем способности рассуждения. Воображение в собственном смысле, то есть способность самопроизвольно порождать в себе образы и идеи без продолжительной работы размышления, приобретает больше силы и энергии, если доза выпитого не привела к оцепенению: новая черта, сближающая опьянение одновременно со сновидением и с душевным расстройством. Ибо у душевнобольного, так же как у видящего сон, самопроизвольные образы и идеи возникают в гораздо большем числе, чем в состоянии разума и бодрствования. Отсюда говорливость пьяного и больного манией; отсюда быстрота и обилие видений, из которых складывается сон. Но чтобы это возбуждение воображения произошло, нужно, чтобы угнетение мозга, вызванное оцепенением сна, приливом крови от злоупотребления спиртным, нервной и мозговой болезнью, не было настолько сильным, чтобы остановить работу самой этой способности; ибо тогда, повторяю, ум впадает в оцепенение и бездействие, становится как бы оглушенным; это и наблюдается при самом полном опьянении, при слабоумии и, без сомнения, в тех глубоких

снах, когда ум уже не видит сновидений или имеет лишь смутные, мимолетные и совершенно бессвязные представления.

Чтобы дополнить представление, которое, по-моему, следует составить о душевном расстройстве в его отношениях к сновидению, важно хорошо уяснить, как возникает галлюцинация — одно из явлений, порождающих бред, как мы только что видели; с этой целью считаю уместным воспроизвести то, что я говорил в Медико-психологическом обществе на заседании 31 марта 1856 года. Читатель, конечно, найдет в этом изложении повторение некоторых взглядов, развитых выше; но это повторение необходимо для понимания галлюцинации самой по себе.

В исходной точке ошибок чувств, игрушкой которых бывает ум, мы находим прежде всего иллюзию. Иллюзия — явление чисто чувственное. Органы чувств — потому ли, что они притуплены, ослаблены, или потому, что их аппарат поражен болезнью, — передают мозгу неполные или воображаемые ощущения, которые наш ум истолковывает и из которых выводит ложные заключения. Так, близорукий смутно видит предмет вдали и под влиянием какой-то озабоченности приписывает ему иную форму, нежели настоящая. Человек, страдающий воспалением сетчатки, вдруг видит пламя и заключает о существовании света или о вспышке молнии. Когда ум предупрежден, он не обманывается этими иллюзиями и исправляет их размышлением. Но в первую минуту, под действием озабоченности, которую вызывает страсть, особенно страх, мы спешим вывести заключения из своих смутных или болезненных ощущений. Белая стена ночью кажется нам издали призраком; звон в ушах превращается для нас в набат или в пушечную пальбу.

Итак, как видим, иллюзия чувств — не следствие размышления, не сосредоточения обдуманной мысли на ощущении: это действие мгновенного суждения, которое ум выносит о неполном или болезненном ощущении. Необходимое условие для того, чтобы иллюзия, порожденная чувствами, стала ошибкой ума, — чтобы ум находился во власти чувства, отнимающего у него свободное и полное действие.

Когда чувствующий аппарат глубоко изменен, когда расстройство простирается, так сказать, до самых его корней в головном мозге, иллюзия бывает прочнее и увлекает сильнее. Человек не ограничивается тем, что принимает плохо увиденные предметы, плохо расслышанные звуки, плохо обследованные на ощупь тела за воображаемые существа и явления: он видит, обоняет, слышит, осязает то, чего нет, и тогда ему нужно гораздо более продолжительное размышление, более внимательное сравнение, чтобы признать, что он обманут отклонением чувств. Такие иллюзии, которые я охотно назвал бы *энцефалическими* в противоположность первым, лишь сенсорным, возникают при некоторых болезнях нервной системы и мозга; производя тягостное впечатление на ум, они могут, если ум уже взволнован, возбужден, стать исходной точкой мании или мономании. И здесь опять-таки иллюзию порождает не сосредоточение мысли на предмете, на факте; тут явление чувственное и болезненное, которое может даже, как показал доктор Мишеа на любопытных примерах, возникать лишь в одном глазу, в одном ухе и, наверное, также лишь в одной осязательной части тела. Иллюзии слуха у глухого и зрения у слепого принадлежат к этому разряду энцефалических иллюзий, которые, вероятно, гнездятся в самих корнях чувствующих нервов. Душевнобольные больше других подвержены обоим родам иллюзий. Это зависит от того, что они

во власти постоянной озабоченности и что их суждения всегда неполны.

Но рядом с этими иллюзиями, берущими начало в чувствах, есть и такие, что идут от ума. Наш ум может быть охвачен болезненным волнением; им могут владеть чувства, которые его преследуют и являются ему даже тогда, когда он их избегает или меньше всего о них думает. Если эти чувства достаточно сильно затрагивают мозг, чтобы корни чувствующих нервов получили от них толчок, мы испытываем ложные ощущения; но они уже зависят не от болезни или влияния органов чувств: они суть в головном мозге как бы отзвук умственного расстройства или возбуждения; тогда возникает галлюцинация; нам кажется, что мы видим, слышим, ощущаем то, что находится в нашем воображении. Происходит отраженное явление, как в сновидении, и мы присутствуем при зрелище собственных мыслей, превращенных, как говорит г-н Лелю, в ощущения; иначе говоря, наша мысль отражается в наших энцефалических чувствах, как в зеркале. Но и здесь галлюцинации порождает не сосредоточение мысли на предмете; они являются вдруг, самопроизвольно, когда воля отступила, так же как в сновидении, когда ум отдается созерцанию своих идей и химер. Это, конечно, явление памяти, ибо эти ставшие чувственными идеи — лишь воспроизведение прежде воспринятых предметов, лишь соединение и сочетание того, что хранится в воспоминании, в средоточии воображения; но это вовсе не явление припоминания. Ум не ищет, не трудится, не размышляет; он не поступает как живописец, который силится вызвать перед очами своей мысли лицо, какое хочет изобразить, или как композитор, мысленно напевающий звуки, которые войдут в ариетту или мотет; он во власти предмета, который память автоматически вызывает перед ним; и впечатление,

произведенное на ум этим внезапным явлением, которое называют галлюцинацией, есть следствие воздействия, которое прежде, без нашего ведома, оказал ум на энцефалическую часть чувствующих нервов. Всякой галлюцинации предшествует период инкубации, в течение которого сильно взволнованный ум мощно воздействует на чувствующие нервы, а затем, позднее, эти нервы оказываются затронуты вдруг, без внешней причины; их охватывает как бы судорожное движение, и возникает галлюцинация.

Эти соображения показывают, что г-н Байярже был прав, не считая галлюцинацию последней ступенью, *summum* раздумья, размышления над особым кругом идей. Но, с другой стороны, установлено, что если ум уже болен или возбужден, продолжительное раздумье над предметом предрасполагает к галлюцинациям. То, о чем часто и долго думали, само является ставшему пассивным уму. Сновидение, конечно, не *summum* размышления; однако то, что сильно занимало нас днем, само является нам во сне. Итак, есть, как говорит г-н Байярже, два периода — один напряжения, другой ослабления. Ко второму и принадлежит галлюцинация.

Мы видим здесь то же условие, что и для возникновения иллюзии. Нужно, чтобы ум был озабочен; но озабоченность — не раздумье; озабоченность — нечто невольное, причастное чувству. Поясню свою мысль примером.

Человека преследует страх быть осужденным на вечные муки. Эта мысль его заботит, то есть сама собой встает поперек его умственных занятий. Частое возвращение этого страха, коренящегося в чувстве, естественно развитом воспитанием, постоянно действует на ум, а через него — на чувствующие нервы. Наш человек боится увидеть, услышать, почуять дьявола.

Его опасения без его ведома действуют на энцефалическую часть чувствующих нервов, и вдруг в один прекрасный день наш человек видит дьявола собственной персоной и слышит его смех; а ведь он вовсе не раздумывал о дьяволе — напротив, эта мысль его пугала, он ее избегал; но тем не менее он был во власти озабоченности, связанной с этой мыслью.

Вот характер истинной галлюцинации, галлюцинации патологической. По способу возникновения она существенно отличается от иллюзии, ибо это явление обратное. Она исходит от представления, связанного с сильным чувством, тогда как иллюзия проистекает из неполного или воображаемого впечатления органов.

Галлюцинация, будучи явлением памяти, некоторыми сторонами связана с нормальным действием этой способности. В самом деле, память о предметах может выступать в двух формах: то мы вдруг вспоминаем слово, человека, факт, который предстает мысли с внезапностью галлюцинации; то трудом ума мы отыскиваем слово, мотив, представляем себе предмет, лицо. В последнем случае есть усилие и размышление — обстоятельство, которое сильнее отделяет память от галлюцинации. Такой труд и составляет припоминание. Но как только, самопроизвольно или после поисков, я вспомнил вещь, несомненно, что я мысленно слышу, вижу или ощущаю. Чувствующие нервы головного мозга слегка затронуты, и если память у меня очень живая, очень сильная, у меня бывает как бы внутреннее зрение, внутренний слух. Этот, так сказать, изобразительный характер памяти сближает ее с воображением, ибо эта последняя способность позволяет нам собирать, группировать, располагать в новом, задуманном нашим умом порядке идеи и факты, которые доставляет воспоминание. Это своего рода калейдоскоп,

проводящий перед нашими глазами ряд фигур, элементы которых содержались в памяти. Следовательно, если память очень жива и всегда наготове, иначе говоря, если прежние ощущения способны отзываться с силой, то и воображение в свою очередь создаст образы тем более яркие. А при галлюцинации тоже действует сила воображения, только действует она автоматически, без вмешательства воли, а следовательно, своенравно и неразумно. Так как прежние впечатления оставили в уме глубокий след, то галлюцинация, порождаемая сочетанием нескольких таких впечатлений, естественно, даст гораздо более сильное оживление идеи — такое, что оно сольется с самим ощущением. Воспоминание, которое есть лишь ослабленный образ ощущения, можно рассматривать как поднимающееся по ступеням вплоть до воспроизведения ощущения во всей его яркости. Таким образом, по форме явления между ярким представлением, которое ум создает себе об ощущении, и действительным внешним ощущением, между образом, который воображение задумывает и вызывает во всей своей силе и плодовитости, и образом, составляющим собственно галлюцинацию, есть в действительности лишь различие в силе. Отсюда понятно, что следует различать весьма разные степени галлюцинаций — по их упорству, по степени веры, которую они внушают уму, смотря по тому, отвечают ли они более или менее действительным предметам. Итак, если расположить образы, которые видит наш ум, по порядку ясности и силы, галлюцинации займут место между действительными образами, обязанными чувственным восприятиям, и образами, которые доставляет воспоминание. Все они, однако, связаны с поражением, с возбуждением энцефалических чувствующих нервов, как и представления, доставляемые памятью. И по степени возбуждения этих нервов

получится такая классификация: представления памяти, психические галлюцинации, психосенсорные галлюцинации. Но если, вместо того чтобы учитывать степень возбуждения чувствующих нервов, заняться лишь условиями, в которых эти различные явления возникают, их придется расположить совсем иначе. Сначала будет действие произвольной памяти, когда ум хочет, ищет и размышляет; затем действие непроизвольной памяти, когда факты вдруг являются уму без вмешательства размышления и воли; и наконец галлюцинации, когда эти факты памяти являются с такой силой, что чувствующие нервы затронуты воспоминанием так, как были бы затронуты внешними предметами. Это последнее обстоятельство, отличительное для галлюцинации, повторится, думает ли ум о вещи иной, чем та, что составляет предмет галлюцинации, или же, как в экстазе, сразу после этой мысли, когда утомленный ум предоставлен самому себе. То же происходит и в сновидении. Если мы засыпаем, сильно поразмыслив о чем-то, мы автоматически видим это вновь, точно так же, как можем вновь увидеть то, что занимало нас не непосредственно перед сном, а лишь за несколько дней до него. Посредством подобного же явления мы иногда находим во сне имя, воспоминание, которое ускользнуло от нас наяву и которое мы тщетно призывали. Сделанное усилие в конце концов порождает движение мозгового волокна, соответствующее этому воспоминанию, но это движение, вместо того чтобы проявиться сразу после усилия, требует периода подготовки. Рафаэль и немецкий скульптор Даннекер увидели во сне тот облик мадонны, который их рука долго силилась нарисовать[13]. Когда мы стараемся вспомнить имя, а потом слово вдруг приходит нам на ум, когда мы уже его не ищем, здесь точно

так же происходит автоматическое колебание мозга, вызванное прежним, уже прекратившимся возбуждением.

[13] См. подробности, которые сообщает об этом И. А. Шиллинг, *Психиатрические письма*, с. 26 (Аугсбург, 1863).

Итак, вкратце: галлюцинация — это самопроизвольное явление памяти, которое так сильно действует на чувства, что затрагивает их, как затрагивали бы внешние восприятия; явление, которое предполагает предшествующую озабоченность и автоматическую игру ума и имеет свои степени, два больших разряда которых можно назвать психическим и психосенсорным.

ГЛАВА VIII. О НЕКОТОРЫХ НЕСОВЕРШЕНСТВАХ УМА И ЧУВСТВ, БЛИЗКИХ КО СНУ И СНОВИДЕНИЮ

✦

Один ученый врач, которому мы обязаны превосходными трудами о помешательстве, Марк, сказал, что слабоумие — смерть ума, а глухонемота — его сон[14]. Это сравнение не вполне точно, ибо из него следовало бы, вместе с Жуффруа, что сон состоит лишь в закрытии чувств. Глухонемой, как и слепорожденный, не лишен способности воспринимать и хотеть; только он мыслит иными приемами, чем мы: он видит предметы непосредственно, не связывая с ними, как это делаем мы, идею знака, который так полно заменяет собой сам предмет, что мы в конце концов лишь слабо представляем себе природу, форму предмета. Его знак заменяет нам его в обычной работе ассоциации идей. Слепорожденный же, наоборот, никогда не видевший предметов, знает лишь их слуховые знаки и представляет их себе только с помощью этих знаков. Но как ни несовершенны эти два приема для действий мысли, следует признать, что их хватает почти на все умственные действия и на проявление воли.

---

[14] См. *О помешательстве, рассматриваемом в его отношении к судебно-медицинским вопросам*, т. I, с. 443.

Мы видели, что во сне усыплены, притуплены не одни только чувства — ум тоже разделяет это оцепенение. Ничего подобного нет у глухонемого и слепого; их поступки не более автоматичны, чем наши; они могут быть столь же сознательными и столь же

обдуманными. Разница лишь в том, что чувства хуже служат их уму и множество восприятий от них ускользает[15].

[15] Аббат Картон отметил, как скуден запас знаний и понятий у глухонемых, пока особое обучение не свяжет их с обществом. См. его мемуар *Глухонемой* в *Записках Бельгийской академии* (премированные сочинения), т. XIX, с. 4.

Но если сравнение Марка и неточно, это не мешает существовать известному сходству между умственным состоянием глухонемого и состоянием видящего сон.

Я говорил, и это факт общеизвестный, что глухонемой мыслит лишь посредством ассоциации внутренних образов, оставленных в его уме предметами, до той поры, пока обучение не научит его мыслить с помощью осязательных знаков или зрительного воспоминания о написанных словах, звучание которых ему неизвестно. Отсюда следует, что у него идея гораздо ближе к образу, чем у нас, поскольку она есть лишь его внутреннее воспроизведение. Употребление знака, как я замечал, углубляет различие между представлением и восприятием. Тогда как последнее тесно связано с впечатлениями чувств, первое чаще всего опирается лишь на сочетание знаков, слабо напоминающих восприятие. Напротив, как только мы мыслим одними образами, мы начинаем представлять себе вещи гораздо живее. Действительно, замечено, что глухонемые наделены богатым воображением, но ум их мало склонен к размышлению[16], тогда как у слепорожденного бывает обратное.

[16] См., что говорит об их характере г-н Пюибонье, *Немота и глухота, или Влияние врожденной глухоты на физические, умственные и нравственные способности*, с. 109 (Париж, 1846).

Следовательно, мысли должны являться уму глухонемого примерно так же, как образы сновидения, ибо во сне наши мысли развертываются перед нашими глазами как образы и мы мыслим

тогда гораздо больше зрением, чем слуховыми знаками. Но есть та разница, что глухонемой, бодрствуя и не подвергаясь в отношении нервной деятельности тем местным возбуждениям, что так часты во сне, не смешивает идеи-образы с самими предметами; он не принимает своих внутренних видений за действительность. Яркость идей-образов у глухонемого усиливается еще одним обстоятельством: лишенный двух чувств, он получает не так много восприятий и, следовательно, меньше отвлекается от созерцания идеи-образа. Явление и здесь тождественно тому, что происходит в сновидении: оцепенение чувств способствует яркости внутренних образов почти так же, как это бывает со светом. Ибо чем больше предметов мы видим разом, тем менее ярко мы их видим. Со дна погреба мы различаем свет звезд, который, напротив, становится для нас невидим, едва мы окружены световыми впечатлениями, едва оказываемся при свете дня.

Зримый характер, который принимают идеи и который составляет силу воображения — ее не следует смешивать с его богатством, обилием, — мало благоприятствует образованию отвлеченных идей, сочетание которых едва ли может совершаться без употребления знаков, так же как большие вычисления невозможно выполнить без употребления цифр. И действительно, надо заметить, что в сновидениях у нас мало отвлеченных идей; большая часть наших снов основана на видениях действий, предметов; и если иной спящий часто предается во сне отвлеченным рассуждениям, то потому, что наяву это обычный склад его мыслей. Примечательно, что у глухонемого проявляется та же малая способность к отвлечению. Он, без сомнения, схватывает понятие причины и следствия, самое простое из отвлеченных понятий, поскольку оно у нас общее с животными,

но на этом останавливается; и очень редко, пишет г-н Пюибонье[17], он занимается существенными свойствами вещей, недоступными его зрению, отдаленными следствиями факта.

[17] *Немота и глухота*, с. 161.

Что же касается сравнения слабоумия и идиотии со смертью ума, фраза Марка точнее. Я уже сопоставлял старческое слабоумие со смутным и бессвязным сновидением. У больного идиотией вследствие врожденного порока строения умственные действия совершаются лишь неполно. Есть притупленность, растерянность, но не бред. Не ошибки чувств выбивают ум из колеи; это несовершенство организма мешает совершаться действиям ума.

Следовательно, идиотию можно сблизить со сном со смутным бредом, с тем состоянием, которое вызывает порой употребление некоторых наркотических средств и которое не дает мысли сложиться; она остается тогда в смутном состоянии, в том, что можно было бы назвать состоянием зарождения.

Вследствие утомления ума совершенно сходное явление происходит иногда даже наяву. Мы тщетно пытаемся начать мысль — и не можем; не можем уловить ни предмета, которого она коснется, ни сцепления идей, из которых она сложится; наш ум находится тогда в том же положении, что и память, когда она, прибегая к припоминанию, безуспешно пытается вызвать забытое имя.

Умственное действие в обоих случаях не может совершиться; мозг делает усилие, у нас есть как бы смутное сознание образа или знака, который мы хотим вызвать перед умом, но нам не удается облечь мысль в форму.

Это умственное бессилие человек со здоровым умом сознает, потому что оно вызвано лишь временной усталостью, временным

ослаблением ограниченной части мозга. Но больной идиотией, но видящий сон, которые образуют лишь смутные представления, которым не удается представить себе определенные образы, у которых ослабление или несовершенство захватывает большую часть мозга, никакого сознания своего состояния не имеют; они мыслят смутно, даже не зная, что мыслят.

ГЛАВА IX. О ПРИРОДНОМ СОМНАМБУЛИЗМЕ

✦

Действие ума в этом состоянии. Отсутствие воспоминания

Мы только что видели в предыдущих главах, что во время сна умственные способности ослабевают и их работа расстраивается. Природный сомнамбулизм, называемый также первичным, или ноктамбулизмом, дает нам, напротив, пример наибольшего развития некоторых способностей во время сна, правда в ущерб равновесию общих отправлений организма. Мы уже отмечали в сновидении, как и при душевном расстройстве, возбуждение памяти; но этим у спящего обычно и ограничивается усиление мозговой деятельности; все прочие его движения, его умственные или физические действия совершаются обыкновенно менее совершенно. Это частичное возбуждение мозга и нервной системы заставило считать природный сомнамбулизм особым явлением, проистекающим из особого состояния души. Признавая, что при этом происходят факты, по природе довольно отличные от тех, что бывают в сновидении, я тем не менее думаю, что природный сомнамбулизм — лишь одна из форм сновидения. Установим прежде всего, что у сомнамбулы нет изменения в распределении отправлений, присущих различным нервам. Сомнамбула не видит подложечной областью, не слышит лбом или затылком, как показал доктор Мишеа[18]; у него проявляется лишь гиперестезия чувств, особенно осязания и зрения: зрачок сильно расширен; глаз, как это наблюдали у некоторых ночных

животных и у людей, страдающих никталопией, может видеть в том, что мы называем темнотой и что на деле есть лишь очень слабый свет[19]. Доказательство тому — что сомнамбула порой пользуется искусственным светом, призывает на помощь осязание и что заслон из совсем непрозрачного тела мешает ему читать и видеть. Сомнамбула Кастелли, которого застали в то время, как он переводил с итальянского на французский при свете стоявшей рядом свечи, несомненно видел ее лучи, ибо, когда наблюдавшие за ним унесли свет, Кастелли тотчас оказался словно погружен в темноту, ощупью стал искать на столе свою свечу и пошел зажечь ее снова на кухню. Многие сомнамбулы, приступы которых нам описаны[20], держали глаза широко открытыми.

[18] См. *Медико-психологические анналы*, 3-я серия, т. VI, с. 300 и след.

[19] Соваж де Лакруа уже установил, что любопытная сомнамбула, о которой он в прошлом веке сообщил Академии наук, имела открытые глаза. См. *Записки Академии наук* за 1743 год, с. 409 и след. Правда, говорили, что знаменитый сомнамбула Негретти держал глаза плотно закрытыми (см. Алекс. Бертран, *Трактат о сомнамбулизме и о различных его видоизменениях*, с. 21); но если глаза и бывают порой закрыты полностью, в чем я сомневаюсь, можно допустить, что гиперестезия тогда достаточно сильна, чтобы зрение совершалось сквозь веки.

[20] *Медико-психологические анналы*, 3-я серия, т. VI, с. 303 (1860).

Любопытная сомнамбула, о которой сообщили доктора Мене и Аршамбо, хотя и прекрасно различала предметы в темноте, переставала писать, как только перед ее бумагой помещали предмет, преграждавший путь световым лучам[21].

[21] Там же, с. 467. См. Э. Мене, *Исследование о сомнамбулизме с патологической точки зрения*, во *Всеобщем архиве медицины*, февраль 1860.

Впрочем, зрение у сомнамбулы действует лишь на предметы, относящиеся к занимающему его делу, и его сетчатка, подобно

сетчатке некоторых эпилептиков, становится нечувствительной к самому яркому свету, если тот освещает предмет, чуждый его заботе[22].

[22] См. Мажанди, *Лекции о функциях и болезнях нервной системы*, т. II, с. 313.

Слух также сильно возбужден; малейший звук, самый легкий шорох им улавливается. Один сомнамбула, г-н М***, слышал слова, сказанные шепотом, в которых упоминалось его имя; но гораздо более громкие шумы до него не доходили. То же наблюдается и в неглубоком сне, совместимом с известной степенью внимания. Однажды вечером мы с одним из моих братьев разговаривали возле матери, которая задремала в кресле; она ответила на одну из моих фраз, но ответ ее относился к сну, который ей тогда снился. Между тем она ничего не слышала из шума, который производила вокруг нее служанка.

Очевидно, внимание остается еще отчасти бодрствующим; ум находится в том же состоянии, что и у спящего, которого не будят привычные шумы, но часто будит шум непривычный и незнакомый. Сомнамбула видит и слышит лишь то, что входит в круг забот его сновидения; ибо он видит сон на ходу, и его действия, по большей части повторяющие действия бодрствования, — как и столь многие сны, лишь оживление воспоминаний. Только у него мозговая деятельность гораздо менее оцепенела, чем у большинства видящих сны. Отсюда больше последовательности и точности в действиях. Тогда как ум и чувства закрыты для большинства впечатлений извне, умственные действия совершаются правильно и живее в той точке, которой занят сомнамбула. Он размышляет, соображает, ищет, как мы часто делаем в своих снах; он говорит, действует, — и точно так же в некоторых снах мы говорим и совершаем

движения[23]. Так, однажды, когда меня в постели давил жестокий кошмар и мне чудилось, будто мне хотят пронзить сердце кинжалом, я проснулся и обнаружил, что прижал руку к сердцу. Не следует поэтому удивляться, что сомнамбулы, в некоторых отношениях спящие менее глубоко, чем простой спящий, ходят по крышам, пишут, рисуют во время приступов; что один из них, как сообщает Адриан Алеман, несколько раз переплывал Сену. Возбуждение, которое так часто сохраняется во время обычного сна и даже тогда усиливается, держит в бодрствовании все наши чувства, и ум, оцепеневший для большинства восприятий, еще получает те, что соответствуют вызываемым им образам.

[23] См., что говорит об этом г-н Ог. Тебальди, справедливо замечающий, что сомнамбулизм воспроизводит явления сна и сновидения, но в преувеличенной форме. *О сновидении*, с. 89 и след.

Гиперестезия, которая проявляется в органах чувств, возникает, если можно так сказать, и в уме; то же самое бывает и в некоторых случаях искусственного сомнамбулизма. Поэтому сомнамбулы способны совершить во время приступа то, чего не смогли бы сделать наяву. Профессор Венер из Геттингена рассказывает, что, не умея в обычном состоянии слагать греческие стихи и тщетно пытаясь несколько дней подряд написать стихотворение по-гречески, он превосходно справился с этим в состоянии сомнамбулизма[1]. Александр Бертран[2] сообщил случай с племянником доктора Пецци, который в сомнамбулическом состоянии вспомнил то, чего, казалось, никак не мог запечатлеть в памяти наяву.

[1] *Журнал Морица*, т. III, ч. 1, с. 88.

[2] *Трактат о сомнамбулизме*, с. 74.

Итак, природный сомнамбулизм — один из тех ясных снов в действии, которые подобны снам, где внимание продолжает работать над некоторыми операциями. Без сомнения, как замечает Месне, такой сон резко отличается от простого сновидения, где ум остается совершенно пассивным; но и сны, в которых мы сопоставляем, мысленно говорим, спорим, тоже предполагают работу внимания над определенным предметом; следовательно, по существу они не отличаются от состояния сомнамбулы.

Поскольку сомнамбулизм в конечном счете не что иное, как сон в действии, — это отмечали большинство психологов и врачей, — приходится признать, что в сомнамбулических поступках свободы не больше, чем в сновидениях. Человек действует в них непроизвольно, машинально. Хотя он знает, что делает, и сознает свои поступки, подлинной свободы у него нет, как очень верно заметил Мен де Биран[3]. Поэтому преступления, которые сомнамбула может совершить во время приступа, признавали не вменяемыми ему в вину[4].

[3] См. предисловие В. Кузена к *Новым соображениям об отношениях физического и нравственного в человеке*, с. 14. См. также примечания в конце этой книги.

[4] См. Марк, *О помешательстве в его отношении к вопросам судебной медицины*, т. II, с. 668.

Мышечная деятельность, которая сохраняется и даже усиливается при некоторых действиях сомнамбулы, явно вызвана сильным нервным перевозбуждением, полуболезненным состоянием. Люди, подверженные сомнамбулизму, не вполне здоровы: чаще всего это страдающие истерией, ипохондрией, нервными или мозговыми недугами или по меньшей мере преходящим расстройством цереброспинальной системы. Замечательная сомнамбула, описанная докторами Месне и Аршамбо, переносила

до сорока восьми истерических припадков за сутки. Вскоре на смену истерическим припадкам пришли приступы каталепсии. В апреле прошлого, 1864 года одна газета департамента Сона и Луара сообщила любопытный случай: в городе Ле-Крезо беременную женщину охватил приступ сомнамбулизма. Усталость и беременность привели ее в совершенно болезненное состояние. Через час после того, как она бросилась на постель, она встала, вышла из дома и с совершенно испуганным видом побежала к большому каштану, росшему в нескольких сотнях метров. Затем без малейшего колебания и с удивительной ловкостью она взобралась на дерево, улеглась во весь рост на толстом горизонтальном суку и тут, судя по отчетливому храпу, погрузилась в глубокий сон. Чтобы снять женщину из опасного положения, пришлось прибегнуть к веревкам, которыми ее обвязали. Когда ее спустили с каштана, сомнамбула, просыпаясь, пронзительно вскрикнула, забилась, словно в беспамятстве, и залилась слезами.

Очевидно, эта женщина переживала истерический или нервный кризис, который на время наделил ее члены ловкостью, какой у нее не было бы наяву; и необычайное умение, с каким она взобралась на дерево, — того же рода, что и способность, отмеченная у страдающих истерией и у тех, кого считали одержимыми: они совершают невероятные прыжки и взбираются по почти отвесным поверхностям.

Это родство сомнамбулического, истерического и каталептического состояний видно не только по сопровождающим их телесным расстройствам, но и по сходству некоторых видов умственного возбуждения. При природном сомнамбулизме, как у каталептика и у экстатика, одни способности, или, вернее, одни действия головного мозга и

органов чувств, обостряются в ущерб другим. Анестезия, то есть потеря чувствительности, которая часто сопровождает истерию, — одна из самых показательных черт природного и искусственного сомнамбулизма[5]. У сомнамбулы Месне анестезия охватывала всю поверхность тела; общая чувствительность исчезла во всех органах. Страдающие истерией, как и сомнамбулы, совершают во время приступов действия и умственные операции, на которые до болезни были неспособны. Подобно душевнобольным, благодаря перевозбуждению памяти и речевой способности они начинают говорить на языках, с которыми были знакомы лишь поверхностно, — отчего и думали, будто им дан дар языков; они читают наизусть стихи, слышанные лишь однажды[6]. Поэтому Ж. Моро в превосходной записке *О помешательстве с патологической и патолого-анатомической точки зрения*, где он устанавливает подлинную связь между умственными состояниями видящего сон, душевнобольного и экстатика, справедливо отнес сомнамбулизм к третьей из тех форм, или ступеней, мозгового расстройства, исходной точкой которых служит простой сон.

---

[5] См., в частности, случай истерии с анестезией, описанный в *Медико-психологических анналах*, 3-я серия, т. I, с. 294.

---

[6] См. об этом мою книгу *Магия и астрология в древности и в Средние века*, 3-е изд., с. 454 и след. Ср. то, что доктор Паршапп сообщает о развитии памяти и некоторых способностей в случаях помешательства: *Медико-психологические анналы*, январь 1850, с. 46, 47.

«В состоянии сомнамбулизма, — пишет он, — кругозор расширяется; умственная деятельность направлена гораздо больше на воспоминания, то есть на впечатления от реальных вещей, чем на вымышленные создания воображения. Еще не вполне освободившись от уз сна, мысль уже не чужда предметам

бодрствования; более того, она уже располагает, как наяву, некоторыми органами, связывающими нас с внешним миром[7]».

[7] *Медико-психологические анналы*, 3-я серия, т. I, с. 15 (январь 1855).

При этих твердо установленных чертах я не могу согласиться с учением, будто тщетно пытаться объяснить явления природного сомнамбулизма остатком или усилением деятельности внешних чувств; будто эти чувства ничуть не участвуют в том, что называют чудесным в сомнамбулизме, и будто в нем ощущает и воспринимает одна душа, независимо от всякого участия органов[8]. Это умозрения крайне спиритуалистической психологии, которая забывает, что в нашем земном существовании душа так же не может воспринимать без тела, как тело не может переваривать пищу без желудка и чувствовать без нервов. Факты показывают, что душа здесь не действует прямо и независимо от организма, — напротив, изменяется деятельность самого организма.

[8] См. то, что говорит Лелю в своем отчете о конкурсе, объявленном Академией моральных и политических наук по вопросу о сне. *Медико-психологические анналы*, 3-я серия, т. I, с. 82.

При природном сомнамбулизме, как это бывает в экстазе и особенно в состоянии, вызванном вдыханием обезболивающих средств, частные способности ощущать и мыслить, входящие в область общей чувствительности и ума, разъединяются, так что одни ощущения, одни действия ума могут совершаться, а другие — оставаться угасшими.

Итак, деятельность сомнамбулы возбуждена лишь в некоторых точках, лишь в определенном кругу фактов и действий, связанных именно со сном, которым он занят, с бредом, во власти которого он находится; ведь этот сон, как было у больной Месне, бывает

порой настоящим бредом. Вот почему предметы, мешающие исполнению его действия, предстают ему лишь как вещественные препятствия, которые он может отстранить, но которые больше ничем не привлекают его внимания. Сомнамбула не узнает никого из окружающих, если только с ним не вступают в прямое общение, воздействуя на возбужденную часть его ума. Да и такое сочувственное общение встречается реже при сомнамбулизме в собственном смысле, чем в экстазе и при искусственном сомнамбулизме, о котором речь пойдет ниже. Доктор Джеймс Грегори привел пример английского офицера, участвовавшего в Луисбургской кампании 1758 года, у которого приступы сомнамбулизма сопровождались таким же явлением. Этот офицер слышал слова, которые ему шептали на ухо, особенно когда их произносил друг, чей голос был ему привычен, и, подчиняясь этим словам — в силу одного из тех случаев *внушения*, о которых я скажу ниже, — разыгрывал свой сон в действиях, согласно внушенным таким образом мыслям[9]. Доктор Сериз сообщил сходный факт. В римской лечебнице для душевнобольных он видел каталептика, погруженного в состояние, причастное и бодрствованию, и сну, — своего рода *somniatio*; закрытый для всех прочих впечатлений, тот слышал слова, с которыми к нему обращался санитар, если только санитар говорил громко[10]. С этими фактами можно сопоставить то, что наблюдается у некоторых спящих, чей слух усыплен лишь отчасти: они откликаются на голос знакомого человека быстрее, чем на голос чужого. Мне рассказывали, например, о женщине, которая имела обыкновение засыпать вечером у камина; если с ней заговаривали сын или муж, она отвечала, правда, не очень вразумительно; но если голос был ей менее привычен, она, казалось, ничего не слышала и не выходила из сна. И в том и в другом случае,

проснувшись, она обычно забывала заданные ей вопросы. В моей книге *Магия и астрология в древности и в Средние века*, говоря о женщинах со стигматами, я отметил подобные факты, наблюдавшиеся во время кризисов у экстатиков.

[9] См. статью доктора У. Б. Карпентера «Сон» в *Энциклопедии анатомии и физиологии* Роберта Тодда, т. IV, ч. 2, с. 692.

[10] См. *Медико-психологические анналы*, 3-я серия, т. IV, с. 222.

Самое примечательное у сомнамбулы — это, несомненно, забвение при пробуждении. Лелю настаивал на том, что это явление непостоянное; однако нужно признать, что так бывает чаще всего[11]; можно даже спросить, сохранил ли бы сомнамбула, вспоминающий по пробуждении свои действия, память о сделанном без тех сведений о его ночных прогулках, которые ему тогда сообщают и которые помогают его уму отыскать стершиеся воспоминания. Как бы то ни было, бесспорно, что после множества приступов сомнамбулизма по пробуждении не остается никакой памяти о сомнамбулических действиях; совсем недавно доктор Месне тщательно отметил это явление у своей любопытной сомнамбулы.

[11] См. об этом: Тандель, *Новое исследование одного психологического явления сомнамбулизма*, с. 9, в *Записках Бельгийской академии* (премированные сочинения), т. XV.

Чтобы разобраться в этой странности, заметим прежде всего, что сны, в которых спящий говорит и двигается, — как раз те, что оставляют в его уме меньше всего следов. Я не раз внезапно будил людей, которые только что произнесли во сне какие-то слова; ни разу они их не вспомнили. Сказанное совершенно выпало у них из памяти, а сны, которые они мне иногда пересказывали, не имели никакой связи с произнесенными словами. Вот пример: однажды

в Германии молодой спутник, спавший в моей комнате, вдруг сел на постели, резко подняв руки; я заметил, что он спит, и разбудил его. На мои расспросы он так и не смог припомнить, почему так сделал[12].

[12] Люди, которых оперируют под эфиром, иногда кричат, но, выйдя из этого состояния, ничего об этом не помнят, хотя обычно помнят сны, промелькнувшие тогда в уме. Этот факт можно было бы сблизить с явлением, о котором я здесь говорю. Однако доктор Буиссон не без некоторого правдоподобия объясняет эти крики рефлекторными движениями, иначе говоря, чисто жизненным ощущением, которое вызывает операция и которое выражается в инстинктивных, непреднамеренных движениях; сознание в этом случае не участвует. См. *Теоретический и практический трактат об обезболивающем методе*, с. 281.

Моро (де ла Сарт) в статье «Сновидения» в *Словаре медицинских наук* одним из первых заметил, что сны с мышечными движениями и разговорчивостью почти всегда забываются при пробуждении.

Таким образом, то, что происходит при сомнамбулизме, происходит и со снами, более всего похожими на его приступы.

Сначала трудно понять, как сон, произведший на ум столь сильное впечатление, как сомнамбулический, — сон, который поглотил все наши способности и, так сказать, присвоил себе весь ум, — оказывается именно тем, о котором меньше всего остается воспоминаний. И с этим явлением как будто расходится долгая память о некоторых снах без сомнамбулизма, сильно нас поразивших.

Посмотрим, однако, не даст ли нам ключ к этой загадке внимательное изучение той умственной операции, которая составляет память. Прежде всего должен предупредить читателя, что излагаемые здесь взгляды отчасти совпадают с теми, что изложил Тандель в записке, удостоенной премии Бельгийской

академии и изданной в 1843 году; но я познакомился с ней лишь после того, как сам пришел к предлагаемому объяснению.

Как только мы впервые воспринимаем ощущение — например, наше ухо слышит три ноты *до*, *ми*, *соль*, — наш ум одновременно узнает название и природу этого ощущения; в нашем примере он узнает название трех нот. Если впечатление было достаточно сильным, достаточно отчетливо воспринятым, то всякий раз, слыша те же три ноты подряд, мы узнаем совершенный аккорд, называемый *до*, *ми*, *соль*; и наоборот, всякий раз, когда при нас произнесут три слова *до*, *ми*, *соль*, наш ум внутренне, как бы приглушенным звуком, услышит три созвучные ноты. Вот два впечатления, полученные нами одновременно и связавшиеся друг с другом: слуховое впечатление трех нот и впечатление трех слов. Одно из этих впечатлений, сообщенное уму или вызванное прежней работой ассоциации идей, пробудит другое.

Когда мы вспоминаем предмет, поступок или слово, это значит, что прежнее ощущение пробуждает впечатление, соответствующее этому предмету, поступку, слову, или впечатление, с ним связанное, потому что оно было когда-то воспринято одновременно с этим словом, поступком или предметом.

Итак, воспоминание вызывает либо случайное впечатление, либо обдуманный и произвольный призыв идей. Например, когда-то я вдыхал запах растения; этот запах или очень похожий вдруг касается моего обоняния, и я тотчас вспоминаю растение, с которым тогда познакомился, которое видел, название которого слышал, когда вдыхал его запах. Это случайное пробуждение памяти.

Напротив, я размышляю о свойствах растений; размышление приводит меня к мысли об их запахах, и последовательной

ассоциацией идей я прихожу к воспоминанию об аромате того самого цветка. Здесь воспоминание возникает через произвольную ассоциацию идей.

Идеи вызывают одна другую благодаря своей связи, а связь эта объясняется тем, что ум воспринял их в некий момент одновременно или, если угодно, мыслил их в одном и том же отношении — времени, места, формы, действия и т. д.

Ум никогда не приходит в действие сам собой, без толчка со стороны внутреннего или внешнего впечатления, не зависящего от его воли; это впечатление в свою очередь становится исходной точкой для множества идей, сцепленных в уме благодаря общности происхождения и сходству присущих им впечатлений; смотря по тому, различает ли ум причину, породившую идею, или нет, идея кажется ему самопроизвольной или сообщенной извне.

Следовательно, чтобы человек наяву мог вспомнить давний сон, нужно, чтобы с этим сном были связаны впечатления различного рода; именно они вызывают в памяти впечатления, из которых сон состоял. Поскольку таких впечатлений немного и сами они связаны с другими, которые вызывают так же и притом привычнее, сон чаще всего забывается, как множество будничных поступков, не связанных с особыми, четко определенными идеями.

Многие сны, которые можно было бы пересказать в минуту пробуждения, через несколько дней совершенно выходят из памяти. Идеи, служащие как бы метками и знаками, с помощью которых мы вспоминаем другие, тем меньше обладают этим свойством, чем с большим числом различных идей они связаны. Место, например, где мы проходим каждый день, не напомнит уму ни одного из наших повседневных поступков в отдельности; зато поступок, совершенный там, где мы были лишь однажды, мы

прекрасно вспомним, стоит лишь снова побывать в этом месте. На этом наблюдении основана мнемоника, к которой прибегают, чтобы помочь памяти. Ум выбирает себе метки, с которыми связывает идеи и которые позволяют ему их вспомнить.

Эту работу памяти и следует, собственно, называть *припоминанием*: это пробуждение давних впечатлений с помощью других, связанных с ними разного рода сходством, временем, когда мы впервые их испытали, знаками, которые мы им приписываем, их формами, свойствами, виновниками и т. д.

Но рядом с этим припоминанием стоит тот род воспоминания, который можно было бы назвать стойким впечатлением и который составляет память по преимуществу.

Воспринимаемые нами впечатления действуют на наш чувствующий аппарат в течение некоторого времени; они не мгновенны и продолжаются после того, как вызвавшая их внешняя причина перестала действовать.

Если катать шарик, нажимая на него двумя пальцами, скрещенными один поверх другого, мы ощущаем как бы два шарика; это потому, что впечатление, воспринятое поочередно каждым пальцем, еще держится в одном, когда с шариком соприкасается уже другой; промежуток между ощущениями так короток, что они кажутся одновременными. Точно так же раскаленная точка, вращаясь, кажется нам огненным кругом, потому что зрительные впечатления следуют одно за другим очень быстро.

Чем живее впечатление, тем сильнее, а следовательно, и долговечнее вызванное им сотрясение нерва и мозга[13]; оглушительный грохот надолго оставляет звон в ушах; яркий свет часто вызывает на сетчатке явление остаточного зрения.

[13] Быть может, удивятся, что такое колебание может длиться годами; но вспомним, что потоки расплавленной лавы могут сохранять тепло веками, а теплота есть колебательное движение.

Так, когда нас поражает предмет, слово, мысль, в головном мозге возникает сотрясение, которое, продолжаясь, надолго сохраняет впечатление живым и ярким; так бывает при волнующем зрелище, красноречивой речи, странном слове, уродливом лице. Мозговое и нервное колебание продолжается тогда, подобно тому колебанию, которое звуковая волна сообщает телу, способному звучать.

Однако сотрясение, или, если угодно, стойкое ощущение, отличается для воспринимающего его ума от первоначального ощущения, потому что последнее затрагивает весь путь нервного волокна, тогда как сотрясение, которому мы обязаны воспоминанием, касается лишь самой внутренней его части, лишь того, что можно было бы назвать стволом, от которого отходит волокно[14]. Известно ведь, что чувствительность может полностью исчезнуть во внешних частях и конечных разветвлениях нервного ствола и все еще ярко сохраняться в самом стволе[15]. Начало чувства, угасая на пути от конечных чувствительных веточек к головному мозгу, слабеет или гаснет и в самом мозге в том же направлении, от периферии к центру, так что самые глубокие и центральные части мозга последними сохраняют сотрясение, переданное сначала самыми внешними частями. Это сотрясение, это внутреннее, глубинное колебание и порождает воспоминание. Но в том, что можно было бы назвать стволом мозговых волокон, все колеблющиеся волокна необычайно сближаются, и движения, иначе говоря возбуждения, легко передаются от одного к другому. Отсюда ассоциация идей, которая играет столь большую роль в памяти. То, что раздражение очень ограниченных участков

вызывает боль, распространяющуюся на обширные области, доказывает, что первичные волокна мозга склонны передавать друг другу свое перевозбуждение и, так сказать, связаны между собой круговой порукой[16]. Итак, если колеблется одно волокно мозгового ствола, оно легко передаст свое движение соседним. Если два впечатления были связаны, то есть восприняты одновременно, колебания соответствующих им мозговых волокон сблизили эти волокна, потому что оба вышли тогда из состояния покоя — или очень ослабленного колебания, если еще продолжалось прежнее; и из этого сближения возникло своего рода сочувствие, так что если от нового впечатления одно из этих волокон снова придет в колебание, придет в движение и другое. Так по крайней мере можно физиологически объяснить ассоциацию идей. Вернемся теперь к явлению воспоминания.

[14] Я говорю здесь о здоровом, нормальном состоянии; если же возбуждение мозга чрезмерно, колебание самого внутреннего конца передается другому концу, и тогда ум испытывает такое впечатление, как если бы тело получало действительное ощущение, — возникает галлюцинация. Смотря по тому, остается ли это сотрясение в пределах мозга или распространяется на весь чувствующий аппарат, проявляется психическая или психосенсорная галлюцинация. См. выше, главу VII.

[15] См. Лонже, *Трактат по физиологии*, т. II, ч. 2, с. 54.

[16] Лонже, *Трактат по физиологии*, т. II, ч. 2, с. 55.

По мере того как впечатление слабеет, размах колебания уменьшается, иначе говоря, возбуждение идет на убыль и снова усиливается, лишь если, как я только что показал, его пробудит другое впечатление, связанная с ним идея; тогда колебанию может вернуться часть первоначального размаха. Здесь как бы две нервные волны, которые складываются. И в самом деле, пока впечатление о каком-либо событии остается запечатленным в

нашей памяти, в мозге продолжается более или менее слабое колебание; новое колебание, родственное первому, усиливает его. Так, по-моему, работа припоминания объясняется тем, что сообщенные впечатления, то есть колебания, вызванные в мозге движением идей или действием внешних причин, ощущениями, оживляют другие, связанные с ними способом возникновения и природой, которые еще сохранялись, ослабленные, угасающие.

Эта сила ощущения, восприятия идеи-образа порождает в мозге утомление, соразмерное размаху и силе колебаний. Значит, если колебание, вызванное впечатлением и умственной операцией, чрезмерно, оно повлечет внезапное утомление; головной мозг на мгновение перестанет колебаться или действовать в том направлении, тем способом, какого требовали это впечатление, эта умственная операция. За крайним перевозбуждением последует упадок сил, временный паралич. И вместо того чтобы продолжаться некоторое время, порождая воспоминание, которое, как я только что сказал, есть лишь стойкое впечатление, движение от чрезмерного напряжения мозга разом остановится; оно исчезнет, не оставив за собой ни малейшего отзвука, ни малейшего отголоска.

А именно это, мне кажется, и происходит при сомнамбулизме. Сосредоточение было так сильно, поглощенность мыслью так глубока, что части мозга, действовавшие в этом акте созерцания и мысли, истощены, и, когда приступ прошел, они не продолжают свою работу, а остаются словно обессиленными. Это явление того же рода, что и каталепсия, так часто, как известно, связанная с экстазом и сомнамбулизмом: чрезмерное возбуждение, волнение вызывает мгновение застоя, остановки в чувствующих аппаратах. Точно так же в экстазе избыток созерцания, сосредоточенности мысли приводит к полному прекращению движения.

Воспоминание, которое рождается из продолжения движения, поэтому возникнуть не может. Сомнамбула забывает свое действие именно потому, что напряжение умственной деятельности дошло до последних пределов: ум истощил себя в этом общении с самим собой. Однажды, находясь рядом с Ф***, человеком очень рассеянным и весьма склонным к размышлению, я заметил, что он стал совершенно безучастен к моим словам и перестал мне отвечать. Он казался погруженным в глубокое раздумье. Неподвижность его была такова, что мне подумалось, не теряет ли он сознание. Я сильно потряс его за руку. — Что вам угодно? — сказал он. — Вам дурно? — спросил я. — Нет. — Так что же вы делали? — Думал. — О чем? — Право, странно: я уже ничего не помню, а между тем чувствую себя как будто утомленным своей мыслью. Этот последний ответ показался мне лучом света, и он подсказал мне то объяснение забвения при пробуждении у сомнамбулы, которое я здесь предлагаю.

Тандель уже уловил сходство между такой рассеянностью с немедленным забвением и исчезновением воспоминаний о сомнамбулических действиях. Вот что он пишет[17]: «Лишь большим усилием воли нам удается порой во время занятий сосредоточить внимание на одном предмете, с трудом закрыв, так сказать, свои чувства для всякого рода и часто весьма сильных призывов, осаждавших их извне. Наши умственные способности кажутся тогда возвышенными, мысль развертывается с легкостью, которая нас удивляет, мы скорее *видим*, чем рассуждаем. В то же время внешние впечатления, которые при любых других обстоятельствах поразили бы нас, остаются незамеченными. Но пусть одно из этих впечатлений окажется настолько сильным, чтобы резко отвлечь наше внимание на вызвавший его предмет, — и мы проклянем эту докучную помеху,

потому что отныне тщетно будем пытаться вновь найти идеи, которые лишь мгновение назад видели такими ясными и верными и которые давали нам решения, искомые давно».

---

[17] *Новое исследование одного психологического явления сомнамбулизма*, с. 11.

Люди, пережившие экстаз, часто говорили, что утратили память о поразительных видениях, которые им были, и о словах, обращенных к ним в этом состоянии Богом. Они полагали, что это были вещи неизреченные, доступные их уму лишь в тесном общении с небом, и в этом, по их вере, заключалась причина, по которой, вернувшись на землю, они не могли их вспомнить. На это и намекает Данте в прекрасных стихах своего *Рая*:

Da quinci innanzi il mio veder fu maggio
Che 'l parlar nostro, ch'a tal vista cede,
E cede la memoria a tanto oltraggio.
Quale è colui che sognando vede,
E dopo 'l sogno la passione impressa
Rimane, e l'altro a la mente non riede.
(Песнь XXXIII.)

Я сказал, что чрезмерное напряжение мозга и органов мысли временно лишает их силы, делает неспособными воспроизвести истощившие их умственные действия и что этим объясняется забвение при пробуждении. Такое бессилие мозга мешает операциям, следующим за приступом, связаться с теми, что совершились во время него, потому что уже нет той одновременности, той быстрой смены, того чередования, того смешения умственных действий и впечатлений, из которых рождается ассоциация идей, — а с ее помощью и пробуждается воспоминание. Ведь впечатление, воспринятое мозгом и осмысленное умом одновременно с другим или вслед за другим,

обладает, повторяю, свойством пробуждать это другое или пробуждаться им, если между ними установилась ассоциация, то есть если ум их связал. Впечатления обособленные или сближенные лишь с такими, которые одновременно связаны с множеством идей и потому не имеют особого характера, — это, как я только что заметил, те, что меньше всего запечатлеваются в уме. А сомнамбулические движения как раз отделены глубоким провалом от впечатлений бодрствования, наступивших после них, и воспроизведение последних не может вызвать воспоминание о первых. «Никакой общий элемент не связывает эти два последовательных состояния, — пишет Тандель, — они разделены словно пропастью». Но, прибавляя: «Ведь именно чувственные впечатления, получаемые непрерывно и непроизвольно, сочетаясь со всем, что мы думаем, что испытываем, что делаем, устанавливают между различными состояниями души обычную связь, определяющую воспоминание», — льежский профессор, по-моему, слишком обобщает. Эти ассоциации идей, без сомнения, помогают воспоминанию, питают его, но не создают его; как я говорил, воспоминание зависит по существу от отзвука мозговых движений, колебаний, вызванных достаточно сильным впечатлением и зависящих от степени впечатлительности мозга; ведь бывают воспоминания, которые всплывают внезапно, единственно от нервного возбуждения, без всякого вызова со стороны других идей, как это наблюдается при некоторых видах бреда[18]. Тем не менее нужно признать, что обычно впечатления, воспринятые одновременно и потому связанные с сопутствующими сотрясениями, вызывают одно другое, пока следы их сохраняются в мозге.

[18] Тандель (*цит. соч.*, с. 28, примечание) сам признает, что это возражение можно выдвинуть против его теории, и тщетно пытается свести такие самопроизвольные пробуждения воспоминаний к ассоциации идей. Нас поражает факт, свидетелями которого мы были; например, я впервые слышу четыре ноты *до*, *ми*, *соль*, *до* и узнаю, что это называется совершенным аккордом. Всякий раз, когда мне будут говорить о совершенном аккорде, я буду думать о четырех нотах *до*, *ми*, *соль*, *до*, и всякий раз, слыша эти четыре ноты, буду говорить себе: вот совершенный аккорд. Здесь перед нами ассоциация идей. Но если вдруг у меня в голове зазвучат, как своего рода гипнагогическая галлюцинация, те же четыре ноты, хотя я не думал ни об аккорде, ни о музыке, это будет самопроизвольное воспоминание, и причину его следует искать в движении, сообщенном моему мозгу, в особом состоянии головного мозга: волокна, затронутые, когда я услышал четыре ноты, колеблются сами собой. Это восприятие, без сомнения, было следствием другого, родственного мозгового движения, но ассоциации идей все же не было. Истинная причина в том, что толчок, вызванный нотами, был изначально настолько силен, что колебание продолжалось еще долго после того, как эта причина исчезла. Если же теперь идея того же аккорда была связана с другими, то эти другие, будучи вызваны, смогут оживить воспоминание о нотах, но не они его породили. Первопричина воспоминания — стойкость впечатления в головном мозге, а эта стойкость зависит от состояния органа памяти. Чтобы воспоминание оживилось, нужно прежде всего, чтобы оно существовало; создали же его не родственные идеи — они лишь усиливают его; но в обычном случае, когда очень сильного впечатления не было, мы вспоминаем лишь благодаря ассоциации впечатлений. Воспоминания, которые не удается прогнать, которые вторгаются наперекор всем мыслям, — не из тех, что отзываются через ассоциацию; они зависят от силы сотрясения, сопровождавшего первоначальное впечатление, из которого родилась идея.

Объяснение Танделя, целиком выведенное из отсутствия ассоциации идей, не может, следовательно, удовлетворить, поскольку очевидно, что во время приступов такие ассоциации возникают; и если бы они были единственным источником воспоминания, они должны были бы пробуждать его, когда ум получает впечатление от каких-либо его составных частей. Сомнамбула Месне, видя письмо, которое написала, не могла вспомнить, что незадолго перед тем продиктовала или написала его. А между тем ясно, что в ту минуту мысль об этом письме была

самым прочным образом связана с ее намерением покончить с собой. Живописец Л***, видя рисунки, законченные им в состоянии сомнамбулизма, тоже не признавал себя их автором. Чувства ни у нее, ни у него, разумеется, не были закрыты для впечатления от бумаги, от рисунка, поскольку они должны были видеть и рассматривать их, когда писали и рисовали, и притом с таким напряжением внимания, которое доходило до полной поглощенности; следовательно, ассоциация идей была; и все же вызов одного из предметов этих идей не мог пробудить другой. Очевидно, надо предположить нечто большее, и это нечто — то, что мозговое колебание было полностью остановлено чрезмерным умственным напряжением, так что после кризиса от него не осталось и следа; по той же причине мы со временем забываем множество вещей, которые прекрасно помнили через несколько дней после того, как были их участниками или свидетелями. С течением времени мозговое движение, мозговой отзвук, оставленный впечатлением, ослабел и наконец исчез. Если бы ассоциация идей была единственной причиной памяти, впечатление от одной из составных частей действия всегда должно было бы возрождать воспоминание о нем, а этого не бывает.

Тем не менее нужно признать, что ассоциация идей помогает памяти и укрепляет ее, то есть продлевает или усиливает мозговые отзвуки воспринятых впечатлений; а так как в сомнамбулическом состоянии поглощенность одной идеей делает безразличным к множеству впечатлений, то эти впечатления, хоть и сопутствуют ей, уже не связываются с главной идеей и не могут служить для ее припоминания. Обособленность, в которой находится сомнамбула, таким образом, способствует ослаблению памяти о том, что он сделал.

Но вот явление еще более странное, чем то, которым мы заняты: забвение, явное у сомнамбулы при пробуждении, нередко прекращается в следующем приступе; сомнамбула подхватывает тогда цепь своих мыслей, прерванную бодрствованием. Больная доктора Месне так продолжала в одном приступе замыслы самоубийства, задуманные во время предыдущего и забытые в светлом промежутке; тогда она вспоминала все обстоятельства прежнего приступа[19]. Макарио привел весьма показательный пример молодой женщины-сомнамбулы, над которой надругался мужчина; проснувшись, она не сохранила ни воспоминания, ни малейшего представления об этом посягательстве. Лишь в новом приступе она открыла матери совершенное над ней насилие. Выше я отмечал совершенно сходные случаи, когда воспоминание переходит из одного сна в другой[20].

[19] Сходное явление наблюдалось у сомнамбулы, состояние которой описал доктор У. Б. Карпентер: статья «Сон» в *Энциклопедии* Тодда, с. 692.

[20] См. выше. Недавно мне приснилось любопытное возвращение воспоминания, которое доказывает, что забвение может объясняться тем, что впечатление прежнего сна было недостаточно сильным, чтобы оставить в мозге стойкий след, сознательное воспоминание. Мне снилось, что я нахожусь в церкви и вижу Христа в человеческом облике, еще живущего на земле. Я узнал Его, потому что видел в предыдущем сне, о котором не сохранил никакой памяти; но во втором сне я вспоминал об этом как о действительном, бесспорном факте. Тогда я спросил одного друга, как поживает Иисус Христос, не болен ли Он. Тот ответил, что Он постарел и что ждут Его смерти; это выведет из заблуждения многих, кто был уверен, что Он бессмертен. Тогда я поднял глаза на Иисуса, и мне показалось, что лицо Его и правда выглядит старше, чем когда я созерцал Его прежде. Все это произвело на меня такое впечатление, что я проснулся, и с тех пор этот сон остался у меня в памяти.

Отмечу еще, что наяву мне иногда приходят на ум, и притом очень живо, сны явно давние и совсем мною забытые. Эти возвращения воспоминаний так сильны, что поначалу я склонен принимать их за воспоминания о том, что действительно со мной случилось.

Здесь приходится допустить, что действие, совершенное в первом приступе, оставило впечатление, но слишком слабое, чтобы стать воспоминанием. Лишь новым и притом сильнейшим возбуждением, каким является второй пароксизм, впечатление смогло оживиться настолько, чтобы стать воспоминанием в собственном смысле, то есть вызвать сотрясение того же рода, что и первоначальное впечатление. Мы видим точно так же, как человек, охваченный помешательством, бредом, вспоминает вещи, совершенно забытые им в здоровом состоянии. Мозговая гиперестезия, проявляющаяся при сомнамбулизме, на время делает доступными уму движения, которых он иначе не сознавал бы. Это явление сходно с тем, что мы видим при некоторых нервных болезнях. Движения, которые мы обычно совершаем, не чувствуя работы мышц и органов, не сознавая ее, становятся тогда ощутимыми и даже болезненными; через обострение чувствительности мы воспринимаем то, что в здоровом состоянии совершается без нашего ведома.

Чтобы объяснить эти странности, прибегали к раздвоению, к утрате части личности; доходили до того, что видели в человеке бодрствующем и человеке в сомнамбулическом состоянии два разных существа. Альбер Лемуан в книге, где, к сожалению, общие соображения занимают больше места, чем наблюдения и факты[21], прекрасно доказал невозможность этой гипотезы:

[21] *О сне с физиологической и психологической точки зрения* (Париж, 1855), с. 355.

«Никогда, — пишет он, — даже в самом бессвязном бреду, даже в самом глубоком экстазе, эта утрата сознания, памяти о прошлом, личности не бывает подлинной и полной».

Прибавим, что если на основании такого забвения допускать возможность раздвоения личности, то пришлось бы

предположить, что оно происходит и при некоторых болезнях, после некоторых сотрясений мозга, которые лишают нас всякого воспоминания о непосредственно предшествовавших им событиях[22]. Ведь хотя воспоминание больше не пробуждается и хотя оно жило в нас тогда очень недолго, понятно, что какое-либо возбуждение могло бы его оживить, и, конечно, в этом случае и событие, и воспоминание принадлежали бы не другой личности, отличной от нашей, не особому образу жизни, отличному от того, что присущ нам в обычном состоянии.

[22] Бывают весьма примечательные случаи полного забвения. Приведу пример. Мой друг Р..., почувствовав на Востоке первые признаки злокачественной лихорадки, которой в то же время заболела его сестра, написал врачу и принял некоторые меры. Вскоре он потерял сознание и испытал все муки болезни. Выздоровев, он не помнил ничего из того, что сделал в начале приступа лихорадки, и, чтобы убедить его, что все это сделал он сам, пришлось показать ему его письмо, а нескольким свидетелям — подтвердить, что сопровождавшие его хлопоты действительно были.

Мы только что видели, что мозговая гиперестезия сомнамбулы ограничена, так сказать, определенными участками. Сомнамбула приобретает для некоторых действий чрезвычайную тонкость, чрезвычайную способность. Так вот, и в тех нервных состояниях, которые доктор Бушю объединяет под общим названием *нервозизма*, гиперестезия может быть лишь относительной и касаться только определенного рода предметов. Так, многие очень нервные люди не могут дотронуться до бархата или шелка, до бумаги, до кисеи без настоящего недомогания[23].

[23] Э. Бушю, *Об остром и хроническом нервном состоянии, или нервозизме*, с. 174 и след.

Вообще сила памяти, по-видимому, зависит от способности мозгового волокна более или менее долго сохранять сотрясение, сообщенное ему впечатлением. Она не вытекает, как я уже

заметил выше, из силы, напряженности внимания: ведь она часто тем развитее, чем менее ум способен к вниманию; в самом деле, с возрастом она ослабевает, а наибольшей силы достигает в детстве. Ее оживляет то, что увеличивает колебательную способность мозга, — различные возбуждающие средства, и ослабляет, напротив, все, что эту способность понижает, например некоторые наркотические средства. Мозг в старости теряет свою возбудимость, которую на время может вернуть ему болезненная причина[24].

[24] См. примечание E в конце книги.

Это помогает нам понять внезапные утраты и оживления памяти, связанные с резкими изменениями свойств мозгового волокна, его способности воспринимать впечатления. Но чтобы получить полное объяснение, физиологическое явление нельзя отделять от психологического, к которому я вскоре вернусь.

Полная поглощенность внимания сомнамбулы, чьи чувства и мозг бодрствуют лишь для ощущений, относящихся к занимающей его идее, объясняет нечувствительность, часто наблюдаемую в состоянии сомнамбулизма. Нервная сила меньше, чем во время бодрствования, ведь, как мы видели, именно это уменьшение силы и составляет сон; но оставшийся запас силы, который, хоть и медленно, пополняется восстанавливающим действием покоя — сон здесь очень несовершенен, — скапливается исключительно в некоторых волокнах цереброспинальной системы; он целиком расходуется на сомнамбулические действия, или, вернее, целиком употребляется на ту операцию, то действие, которое совершает сомнамбула. Прочие способности или части цереброспинальной системы от этого становятся только слабее или притупленнее. Ведь свойство

болезней, с которыми связан природный сомнамбулизм, — обострять одни функции нервной системы за счет других. Поэтому вполне естественно, что у сомнамбулы порой бывает потеря чувствительности в одних местах, раз в других есть гиперестезия.

Нужно, впрочем, различать разные степени природного сомнамбулизма. В одних случаях сомнамбула только ходит или совершает очень простые действия; все прочие умственные операции, которые наяву сопровождали бы эти действия, приостановлены или совершаются несовершенно. В других случаях сомнамбула выполняет целый ряд действий, предполагающих довольно стройную цепь мыслей; только выполняются эти действия как бы машинально, совсем как тогда, когда, по народному выражению, *действует в нас животное*. Ум тогда не спит; скорее он впал в своего рода дремотную задумчивость, которая делает его безразличным почти ко всему окружающему. Это состояние, которое знаменитый венский врач И.-П. Франк назвал *somniatio*, ближе, как замечает Ж. Моро, к бодрствованию, чем ко сну. Это своего рода невроз, который держит больного в состоянии непрерывной дремотной задумчивости.

Сон, которому мы предаемся на ходу, совершая некоторые очень простые действия, тоже составляет промежуточное состояние между сном со сновидениями и ноктамбулизмом, точно так же как ноктамбулизм — лишь первая ступень того полного и поистине каталептического сомнамбулизма, который наблюдался у больной доктора Месне.

«Встречаются люди, — пишет Кабанис, — которые довольно легко приобретают привычку спать верхом и у которых, следовательно, воля и тогда еще держит в действии многие

мышцы спины. Другие спят стоя. Похоже даже, что путешественники, не будучи сомнамбулами, могли проходить пешком довольно большие расстояния в состоянии несомненного сна. Гален говорит, что, долгое время отвергая все подобные рассказы, он убедился на себе, что они могут быть основательны. Во время ночного перехода он заснул на ходу, прошел около стадия, погруженный в глубокий сон, и проснулся, лишь ударившись о камень[25]».

[25] *Отношения физического и нравственного в человеке*, раздел о сне в частности.

Мне рассказывали о старой женщине, которая спала и видела сны за прялкой; надо заметить, что большинство сомнамбул просто повторяют действия, которыми обычно заняты днем. Один канатчик во сне вил свою веревку; учитель рисования, страдавший сомнамбулизмом, ночью заканчивал образцы для учеников, начатые днем[26].

[26] См. то, что я говорю в книге *Магия и астрология в древности и в Средние века*, 3-е изд., с. 417.

В этих случаях чувства, стало быть, бодрствовали настолько, чтобы ночные действия были возможны; во всем же остальном они оставались усыпленными. Именно это и происходит при сомнамбулизме в собственном смысле: чувства спят для всякого действия, кроме совершаемого. Следует, впрочем, заметить, что человек, который ходит во сне, совсем не сознает пути, который проходит, и обычно не сохраняет о нем воспоминания. Здесь тоже наступает забвение при пробуждении.

В высшей, самой полной форме сомнамбулизма совершается уже не просто машинальное действие — здесь явное обострение умственных способностей в том круге идей, которым поглощен сомнамбула. Так было, в частности, с больной доктора Месне.

Письма, которые она писала во сне, доказывают, что она сознавала свои действия и владела своей волей, хотя закрытость ее чувств и ума для всего, что выходило за пределы ее бредового сна, не давала ее рассудку действовать в полную силу. Поэтому из всех форм сомнамбулизма эта ближе всего к болезненному состоянию. Это настоящий невроз.

Можно, следовательно, установить четыре степени сомнамбулизма: 1) простое действие при оцепенении мысли или со сновидением; 2) *сомниация*, при которой человек совершает действия, вошедшие у него в привычку, хотя и довольно сложные; 3) ноктамбулизм, при котором действие, хоть и сложное, еще остается машинальным; 4) сомнамбулизм с обострением способностей — настоящий бред, соединенный с сознательными движениями.

Во всех этих состояниях наступает забвение при пробуждении; но в последней форме, к которой обычно относится искусственный сомнамбулизм, или магнетическое состояние, о котором речь пойдет ниже, одновременность некоторого числа умственных действий делает возможным и воспоминание — ведь она создает ассоциации идей, которые, возникнув снова, пробудят память о действиях, совершенных в приступе, — и частичное пробуждение ума для некоторых действий, не входивших поначалу в круг мыслей, которыми был занят сомнамбула. Оцепенение чувств для того или иного действия зависит тогда не столько от ослабления работы чувствующего аппарата, сколько от обострения этих чувств и их поглощенности некоторыми действиями, внушенными сном.

Генерал Нуазе проделал любопытные опыты, из которых следует, что у искусственных сомнамбул чувства могут воспринимать исключительно те предметы, на которых

сосредоточивают их ум. Одна женщина из приюта Сальпетриер, которой открыли глаза и которую подвели к окну, отчетливо различала и описывала здания, если на них обращали ее внимание. Тех же, что находились в стороне от этого направления, она вовсе не замечала. Генерал Нуазе уверяет даже, что смог несколько дней подряд погружать одну женщину в настоящее состояние *somniatio*, при котором наблюдалось то же явление: сомнамбула шла прямо, негнущейся походкой, к предмету, которого хотела достичь, словно не различая других предметов рядом; она могла беседовать с подругой, но ничего не слышала из того, что говорилось возле нее помимо их беседы[27]. Эти факты, заметим, окончательно доказывают, что в сомнамбулическом состоянии ум теряет способность воспринимать несколько вещей одновременно, что он с необычайной силой сосредоточивается на одном предмете, тогда как для всего остального сон глубок. То же самое, как мы увидим ниже, происходит и в экстазе.

---

[27] *Записка о сомнамбулизме и животном магнетизме*, с. 315, примечание М.

Очевидно, что у тех сомнамбул, чья поглощенность своей идеей не настолько глубока, чтобы их невозможно было из нее вывести, чье внимание еще можно обратить на какой-либо предмет, к которому оно вскоре привязывается с той же силой, что и к прежнему, напряжение мозговых волокон не бывает, так сказать, столбнячным, и потому воспоминание о совершенном может по пробуждении стереться не полностью. Известны некоторые сомнамбулы, которые помнили, что говорили и делали в приступе. Так, сомнамбула, описанный Гассенди, проснувшись, помнил места, которые посетил во время ночных прогулок[28]. Но такая память всегда затруднена, потому что ум был сильно потрясен, и это потрясение, если и не вызвало полной остановки

мозговых колебаний, то по крайней мере временно ослабило способность сохранять следы сотрясения от первоначального впечатления. Сомнамбула находится в положении человека, у которого после нервной или мозговой болезни память очень ослабла и который с трудом вспоминает, что было с ним во время болезни. Чтобы воспоминание могло сохраниться, сомнамбуле нужно прибегнуть к тем же средствам, какими пользуются люди с плохой памятью или все мы, когда что-то с трудом удерживается в уме. Ему нужно призвать на помощь ассоциацию идей. Когда кто-нибудь боится что-то забыть, он мысленно привязывает эту вещь к слову, к знакомому предмету. Он говорит себе: я об этом подумаю, я хочу об этом подумать; он делает знак, метку на платке, на одежде, чтобы, в силу объясненного выше явления, воспоминание об этом предмете, об этом слове, об этом твердом решении пришло на помощь другому, которое могло бы ускользнуть. Это, как я сказал, и есть прием мнемоники. Так вот, опыты установили, что если удается заставить сомнамбулу воспользоваться подобным приемом, он сохраняет тогда воспоминание о том, что делал в приступе. Александр Бертран уже заметил, что при искусственном сомнамбулизме можно таким образом по желанию помнить или не помнить свои действия после пробуждения[29]. Кизер сделал то же наблюдение[30]. Тандель приводит случай сомнамбулы, которая помнила то, что ей хотелось, прибегая к таким мнемоническим *памяткам*[31], и его опыты подтвердили возможность этого факта.

[28] См. А. Бертран, *Трактат о сомнамбулизме*, с. 80.

[29] *Трактат о сомнамбулизме*, с. 81.

[30] *Система теллуризма*, § 271.

[31] Цит. соч., с. 10.

Этот ученый делает отсюда вывод, что память действует только через ассоциацию идей. Сомнамбула, говорит он, как только актом воли свяжет идеи, занимающие его в приступе, с теми, что неизбежно поразят его наяву, вновь обретает память о сказанном и сделанном. И здесь бельгийский профессор принимает то, что облегчает работу памяти, за само явление. Доказательство того, что ассоциация идей — еще не вся память, в том, что мы прибегаем к этим мнемоническим уловкам, к этим твердым намерениям вспомнить именно тогда, когда чувствуем, что наша память ненадежна, что она *не удерживает* впечатлений. Во многих случаях, особенно у людей с хорошей памятью, вспоминают, вовсе не позаботившись связать какую-либо другую идею с фактом, который запечатлевается в голове. Например, выучив иностранный язык, мы помним, как называются на нем разные предметы, а между тем с этими словами чаще всего не связалась никакая другая идея, кроме самого предмета; когда мы хотим их вспомнить, мы обычно вызываем их в уме самопроизвольно. Ассоциация идей нужна лишь для того, чтобы вызвать предметы, не вполне присутствующие в мысли, потому что воспоминание о них слабее, то есть потому что колебания, оставленные первоначальным впечатлением, отзываются в мозге уже очень слабо; тогда нам приходится оживлять это сотрясение другими, ему сопутствующими, которые способны его усилить, как в акустике ноты усиливают друг друга, когда они созвучны. Известный опыт Совера показывает, что открытая струна, приведенная в колебание, колеблется не только по всей длине, но что каждая ее половина, каждая треть, каждая четверть, пятая и шестая части и т. д. колеблются отдельно[32]. Сходное явление может происходить в колебаниях мозговых волокон, и тогда они находились бы в таком же отношении, в каком находятся

гармонические звуки. Колебание, вызванное идеей, сопровождалось бы — если факт верен — колебаниями, соответствующими родственным идеям, а родство это вытекало бы либо из естественного соседства затрагиваемых волокон, либо из притяжения, вызванного токами между волокнами, одновременно приведенными в действие явлением того же рода, что электродинамическая индукция. Тогда вторичное колебание, подобное, например, колебанию дуодецимы, когда берут основной тон, присоединялось бы к колебанию, которым уже охвачено волокно, получающее его, и увеличивало бы его силу.

[32] Пуйе, *Начала опытной физики*, 7-е изд., т. II, с. 63.

Еще в прошлом веке ученый английский врач Дэвид Гартли в своей *Теории человеческого ума* показал, с такой же основательностью, как и проницательностью, что все факты, касающиеся возникновения и ассоциации идей, можно объяснить колебаниями мозга и берущей в нем начало нервной системы[33].

[33] См. примечание H в конце книги.

При таком понимании явление ассоциации идей соответствует в области мозговых движений явлению звуковых волн в звучащих телах. Отсюда лучше понятно, почему чем больше мы занимаемся какой-либо вещью, идеей, тем лучше ее помним: возбуждение соответствующего волокна повторяется, продолжается; сотрясение сохраняется дольше при прочих равных условиях, то есть когда колебательное свойство мозгового вещества, от которого зависит память, остается в целости. Следовательно, пробуждать воспоминания нам удавалось бы наложением возбуждений[34]. Когда с возрастом память вообще, и особенно память на слова, слабеет, нам приходится часто прибегать к ассоциациям идей. Порой мы долго ищем слово, имя; в этом

случае мы тщетно стараемся сделать ощутимыми для мозга колебания, ставшие слишком легкими, чтобы их воспринимать[35]. И часто чем больше ломаем голову, тем меньше находим. А потом вдруг, когда мы уже об этом не думаем, долго искомое слово возвращается. Дело в том, что мозговое волокно, колебания которого вызывают это внутримозговое ощущение — отражение первоначального впечатления, — после долгих понуждений внезапно приходит в действие, его движение оживляется внутренним изменением, подобным тому, что вызывает самопроизвольные мысли, галлюцинации, сны; ведь, как я отметил в одной из предыдущих глав, галлюцинация возникает не вслед за размышлением о предмете, который ее порождает, а внезапно, когда о нем меньше всего думают, когда мысль, кажется, меньше всего его зовет. Это явление ясно показывает, что ассоциация идей отлична от памяти, что она лишь приходит ей на помощь; она — основа припоминания, а не самопроизвольного воспоминания.

---

[34] Можно было бы допустить, что внезапные, невызванные воспоминания объясняются сложением колебательных сил, которое происходит вследствие движений мозгового вещества под действием молекулярных процессов. В таком случае даже невызванные воспоминания происходили бы, в сущности, от той же причины, что и воспоминания, приведенные работой припоминания, но действие было бы физическим, а не зависящим от воли; это в известной мере оправдало бы теорию Танделя.

---

[35] Существуют пределы, в которых ухо воспринимает колебания, создающие звук, и ниже или выше которых звук уже не может действовать на орган слуха. По опытам физиков, эти пределы — 15 и 48 000 колебаний в секунду. То же должно быть и с мозговыми колебаниями, продолжающимися после полученного впечатления: скорость или размах колебания постепенно слабеет, и есть некий предел, за которым оно уже неощутимо; тогда-то и наступает забвение, мы теряем воспоминание; чтобы забытое вернулось в память, нужно, чтобы прежде, чем колебание совсем прекратилось, какая-нибудь причина усилила его.

Итак, в итоге забвение при пробуждении объясняется у сомнамбулы крайним утомлением мозговых волокон, которые были сильно перевозбуждены и отраженные движения которых производят память; это утомление ослабляет колебания настолько, что они становятся неощутимы для нашего ума; слабые биения, которые еще происходят, постепенно затухают. Лишь прибегнув к ассоциациям идей, которые усиливают эти биения, связывая их с другими, или вследствие нового перевозбуждения при новом приступе эти воспоминания вновь становятся сознательными, присутствующими в уме. Тогда происходит то же, что бывает при некоторых видах бреда, при некоторых острых болезнях, порой даже в минуту смерти: воспоминания пробуждаются, от этого перевозбуждения волокна, движения которых были неощутимы, снова начинают колебаться, и нам кажется, что мы приобретаем способности, которых у нас не было, мы находим утраченные воспоминания, живо представляем себе вещи, казавшиеся нам совершенно неизвестными[36].

[36] См. об этом факты, приводимые Мен де Бираном в его *Новых соображениях о сне и сомнамбулизме*, *Философские сочинения*, изданные В. Кузеном, т. II, с. 270 и след.

Прежде чем покончить с природным сомнамбулизмом, я должен сделать здесь замечание о двух формах этого состояния, указанных выше, — замечание, к которому естественно подводит установленный факт: источник всех этих явлений — перевозбуждение мозга и нервов.

Между *somniatio* и сомнамбулизмом обычно приходится проводить такое различие: в первом состоянии действие, совершаясь как бы машинально, не обладает той точностью, какую сомнамбула вносит в свое; это потому, что при сомнамбулизме некоторые части возбуждены сильнее, некоторые

функции нервной системы подавляют действие других; эта гиперестезия дает чувствам больше тонкости, мозгу больше силы; тогда как у человека, который спит на ходу и, хоть и в полудреме, продолжает действовать, нет, собственно, перевозбуждения действующих частей, а есть лишь их простое бодрствование, тогда как остальные остаются в оцепенении. Известно, что когда чувствительность действует только в одной точке, она приобретает тем больше силы и верности. «Таковы, — пишет Руссель, — законы и мера чувствительности, что различные функции животной машины совершаются несовершенно, когда они перекрещиваются и выполняются одновременно. Поэтому следовало бы добиваться, чтобы тело возобновляло одну функцию лишь после того, как завершены другие[37]». Этим объясняется, что человек в состоянии *somniatio* еще может совершать действия, требующие большой ловкости и крайней чувствительности, но что развитие чувств у него редко доходит до гиперестезии, до того обострения способностей, которое отличает настоящего сомнамбулу.

[37] См. *Отрывок о чувствительности*, приложенный к *Физической и нравственной системе женщины*, 5-е изд., с. 378 (Париж, 1809).

ГЛАВА X. ОБ ЭКСТАЗЕ И О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ УМ В ЭТОМ СОСТОЯНИИ

✦

Прежде экстазом называли лишь восхищение, которое испытывают некоторые души в созерцании божественного. Для богословов это было своего рода чудо. Но так как с тех пор признали, что экстаз, или мистическое восхищение, — следствие невроза особого рода, состоянием экстаза стали называть и сам этот невроз. Наблюдения к тому же показали, что экстаз в некоторых случаях может и не носить чисто религиозного характера, что он не исключительный удел будущих избранников[38] и не явление, присущее лишь благочестивой жизни католиков. Его находили в разных формах почти у всех народов, чьи верования имеют мистический характер.

[38] См. то, что я сказал об этом в книге *Магия и астрология в древности и в Средние века*, с. 339 и след.

Так, экстаз — частое явление у индийских подвижников, у последователей брахманизма. Похвальный подвиг *тапаса* порождает не только каталепсию, но и настоящее состояние экстаза, в котором благочестивый почитатель Брахмы охвачен созерцательной галлюцинацией, внушающей ему, что он обретает сверхъестественные способности[39]. Джайны, достигшие высшей степени святости, входят в особое состояние, причастное и экстазу, и каталепсии. *Бхавана* точно так же ведет к восхищению духа, к остановке деятельности, которую последователи Шакьямуни считают предвкушением *нирваны*. Буддийские

трактаты указывают подвижнику все приемы, которым надо следовать, чтобы созерцание на каждом своем шаге сосредоточивалось на божественных предметах, которыми оно должно заниматься исключительно[40]. Суфии Персии применяют почти те же приемы.

[39] См. Бохингер, *Созерцательная, аскетическая и монашеская жизнь у индийцев и у буддийских народов*, с. 33 и след. (Страсбург, 1831), и особенно Дж. Брейд, *Наблюдения над трансом*, с. 15 и след. (Лондон, 1850).

[40] См. Бартелеми Сент-Илер, *Будда и его религия*, с. 392 (Париж, 1860).

Словом, в какой бы религии ни изучать экстаз, он обычно имеет один и тот же характер. Это состояние, в котором душа, отрешаясь от окружающих ее предметов, словно вступает в прямое общение с невещественным миром; она достигает его могучим устремлением и, достигнув, пребывает в нем в таинственном блаженстве, пока, истощенная этим божественным общением, не возвращается в область чувственного мира и к обыденной жизни. Экстатик сосредоточивает в этом тесном единении с Богом или со сверхъестественными существами все свои способности, все внимание; жизнь словно уходит с поверхности его тела и устремляется исключительно к небу; члены оцепенели и неподвижны, мышцы сильно напряжены; чувства больше не передают ощущений; телесная чувствительность более или менее угасла, тогда как душа раскрывается в небесной мысли, и радость отражается на лице, исполненном тихой ясности, и в глазах, оживленных ярким огнем.

Богословы считали экстаз одной из самых явных милостей, какие Творец когда-либо даровал творению; поэтому Рим причислил к святым большинство тех, кто его испытал. Жития этих экстатиков, написанные с воодушевлением и горячей верой и дополненные множеством чудес, о которых повествовали

составители житий, служили духовной пищей и предметом размышлений для благочестивых душ. Книги, письма, размышления, в которых эти люди описали испытанные ими необычные ощущения и сопровождавшие их поразительные видения, некоторые авторы считали возвышенными толкованиями Писания, где открывались таинственные узы, соединяющие землю с небом.

Так смотрели на явление экстаза в Средние века, в ту эпоху, когда богословие царило одно, без соперников. Тогда не пытались вникнуть в причину явления, отметить и разобрать его подробности и отклонения; ограничивались тем, что восхищались чудом благодати и божественной милости; провозглашали пути Господни неисповедимыми и могущество Его безграничным — и дальше не шли. Монастыри ежедневно наполнялись новыми людьми, приходившими туда, чтобы в покаянии и аскетических подвигах отдать всю силу своего ума и весь жар своих чувств, и юными девушками, чья красота увядала под власяницей и бичом, чьи нежные и страстные порывы превращались в тревожную, созерцательную мистику, чье здоровье расстраивалось от суровости аскетической жизни и от страха вечной погибели, — и они так и не узнавали тихих радостей семьи, трогательных обязанностей материнства. Вера в такое общение Бога с творением была не последней из причин, увлекавших в монашескую жизнь многочисленную молодежь, поскольку монастыри были обычным и почти единственным местом этих чудес небесной благодати.

Однако, несмотря на склонность умов видеть в экстазе действие сверхъестественной силы, от простых людей не ускользнуло наблюдение, способное поколебать эту веру: люди далеко не примерной жизни тоже впадали в это таинственное

состояние; у них бывали видения, общение с ангелами; но их рассказы перемежались богохульством и неправоверными мнениями, и часто эти визионеры переживали приступы ярости и неистовства. Почувствовали, что такие люди не могут быть избранниками божественной благодати; их пришлось считать вдохновленными не Божеством, а сатаной: отсюда различение экстатиков святых и экстатиков одержимых[41]. Это двойственное учение со временем уступило место более научным представлениям, подсказанным наблюдением. Оба рода экстаза, по-видимому, сопровождаются чертами, настолько сходными с признаками различных телесных болезней, что не раз врачей призывали применить средства их искусства, чтобы вернуть здоровье экстатику или одержимому, и часто эти средства помогали. К тому же частые экстазы так изнуряют, так быстро расстраивают органы сильными волнениями, которые от нервной системы отражаются на всем организме, что большинство экстатиков вели томительную, болезненную жизнь и переживали сильнейшие кризисы. Врачи смогли, таким образом, изучить истинную природу этих явлений, оценить их причины, рассудить о подробностях, и при таком рассмотрении в их глазах быстро отпала мысль о действительном воздействии Бога или дьявола на человеческую душу. Истинную причину экстаза и одержимости они нашли в самом организме. Успехи учения о нервных болезнях мало-помалу совершенно выявили болезненный характер экстаза. Но поначалу его смешивали с каталепсией под названиями *catalepsis*, *catoché*, *extasis*, *morbus mirabilis*, *coma vigil*, и его нравственные, или душевные, признаки изучались плохо. Это достаточно показывают различные определения экстаза, которые тогда давались: в них недостаточно отмечено преобладание

умственной деятельности над чисто телесной, отличающее этот недуг от каталепсии.

[41] Об одержимых см. мою книгу *Магия и астрология в древности и в Средние века*, 3-е изд., с. 258 и след.

По определению знаменитого И.-П. Франка, экстаз есть лишение чувств, как на то указывает и само происхождение слова. Это глубокое созерцание, во время которого больной остается неподвижен; его внешние чувства угасают, хотя сна при этом нет. Жорже, писавший в то время, когда учение о душевных болезнях уже сделало большие успехи, определяет экстаз как чувство крайнего, нежданного восторга, живого наслаждения при более или менее полной бездеятельности внешних чувств и произвольных движений.

Берар, поняв, что для верного представления об экстазе непременно нужно принять в расчет работу ума, объяснил это состояние так: это живое возбуждение некоторых мыслей, настолько поглощающих внимание, что внешние ощущения приостанавливаются, произвольные движения прекращаются, а нередко замедляется и сама жизнедеятельность[1].

[1] См. *Словарь практической медицины и хирургии*, статья «Экстаз».

Г-н А. Фавро, которому мы обязаны любопытной диссертацией о каталепсии, различает в экстазе[2] три состояния и называет их экстазом мистическим, экстазом каталептическим и экстазом с даром пророчества.

[2] Париж, 1844 (in-4°).

Определение Берара лучше других передает суть явления; однако его нужно дополнить изучением самой болезни, и это изучение

позволит сблизить экстаз со сном и с душевным расстройством так, что прояснятся их взаимные связи.

Если смотреть только на ту работу ума, которую экстаз в себе заключает, его можно определить как восхищение духа образами, которые он созерцает, и мыслями, которыми он занят. Здесь не просто, как при глубоком размышлении, мощное сосредоточение мысли на предмете, который все еще упражняет ее деятельность и заставляет ее пускаться во множество изысканий и сочетаний, — как бывает, например, у человека, решающего математическую задачу. Экстаз — это своего рода увлечение мысли, при котором ум перестает владеть собой и присутствует при собственных представлениях так, как присутствовал бы при созерцании картины перед глазами или при речах, произносимых другими. Тертуллиан хорошо это понимал, когда определял экстаз: *Vis et excessus sensus, amentiae instar*[3]. Ум человека в экстазе не размышляет, он только созерцает, и чем дольше созерцает, тем глубже погружается в свое созерцание:

[3] *О душе*, гл. XLV.

> *Cosi la mente mia tutta sospesa*
> *Mirava fissa, immobile e attenta*
> *E sempre nel' mirar faceasi accesa.*
> *Данте, Рай, песнь XXXIII.*

Ему кажется, что он видит, слышит, чувствует то, что доставляют ему его собственные воспоминания или собственные мысли. И в этом человек в экстазе находится в том же положении, что и видящий сон. Экстаз, по всей вероятности, есть для мозга то же, что каталептическое состояние для нервной и мышечной системы. При этой последней болезни, лишь одной из форм которой в действительности является экстаз и с которой он чаще

всего связан, мышцы внезапно охватывает такое оцепенение, что руки, ноги, все тело остаются в том положении, какое им придали, даже самом утомительном, и у больного нет ни желания, ни сил его переменить. У человека в экстазе ум впадает в своего рода невольное напряжение; он уже не может переходить от одной мысли к другой; он словно охвачен каталепсией, и волокна мозга сохраняют то движение, которое сообщила им мысль, вызвавшая восторг.

Экстаз возникает чаще всего под властью волнения, рожденного мистическими и религиозными мыслями; но он может появиться и вслед за волнениями иного рода[4]. Во всяком случае, он овладевает почти исключительно людьми тонкого нервного склада.

[4] См., в частности, случай экстатического бреда, вспыхнувшего у беременной женщины после душевного потрясения, описанный г-ном Ж. Дюбризе в *Медико-психологических анналах*, 3-я серия, т. IV, с. 429.

Экстаз — это настоящее сновидение наяву. Видения, обманы слуха, осязания, обоняния и вкуса — в точности те же ложные подобия, которые обманывают видящего сон. Человек в экстазе бодрствует, и малейшее внешнее впечатление вернуло бы его к действительной жизни и открыло бы ему, что он перенесся в мир вымышленный, если бы его чувства были расположены так же, как у бодрствующего; ведь именно сравнивая внутренние впечатления, рожденные нашими мыслями, с впечатлениями извне, мы замечаем, что первые принадлежат одному лишь уму. Всякое представление о предмете или об ощущении, как прекрасно показал г-н Лелю[5], непременно сопровождается сотрясением мозга, подобным тому, какое некогда вызвал сам предмет, сама вещь, о которой мы думаем; но это сотрясение слабее того, что рождается от действительного предмета; оно, как

я уже говорил выше, лишь его отзвук. И именно сопоставляя силу этого сотрясения с силой сотрясений, вызванных действительными предметами, мы отличаем мысль, то есть внутренний образ, от образа, который приносят чувства, затронутые внешним предметом. Без сомнения, чем мощнее мысль, тем ярче внутренний образ и тем ближе он к действительности. И все же при здоровом уме между ощущением воспринятым и ощущением лишь припомненным лежит коренное различие. Поэтому большинство врачей сходятся в том, чтобы считать мысленный образ и галлюцинацию двумя совершенно раздельными явлениями и видеть между ними нечто большее, чем различие в степени[6]. И действительно, первое есть нормальная работа ума, второе связано с болезненным состоянием, с чрезмерным перевозбуждением. Тем не менее умственная операция совершается здесь все так же, как показал г-н Лелю. И в том и в другом случае это внутреннее ощущение, которое отражает ощущение внешнее или складывается из заимствованных у него частей. Чувства всегда, хотя и слабо, связаны своими внутренними корнями, ветвями, сохранившимися в стволах, от которых они расходятся, с мыслью, вызывающей в памяти ощущения. И, как замечает г-н Мишеа, расстройства чувств часто примешиваются к галлюцинациям и порождают их.

[5] См. *Амулет Паскаля*, с. 31 и след. (Париж, 1846).

[6] См. отчет о прениях о галлюцинации, происходивших в Медико-психологическом обществе, в *Медико-психологических анналах*, 3-я серия, т. II, с. 383 и след.

Мысленный образ отличается от галлюцинации прежде всего умственным состоянием того, у кого возникает тот или другая. Здоровый мозг ясно воспринимает разницу, отделяющую обман

чувств от действительного ощущения, и обман чувств — от живой мысли, от чисто умственного представления. Он не смешивает их, потому что сила их действия и то, как они на нас влияют, совершенно различны. Но у человека с больным умом нервная система в таком беспорядке, что впечатления уже не предстают с той разницей в силе, которая не дает их спутать. Мысленные образы возникают с такой силой, сопровождаются таким сотрясением нервов, отвечающих за ощущения, из которых эти мысли были почерпнуты, что кажутся действительностью. К тому же они являются гораздо самопроизвольнее, чем при умственном равновесии, и приходят на ум, когда их меньше всего ждешь, вследствие внутреннего и неосознаваемого движения мозга.

Как бы ярок ни был мысленный образ у здорового человека, он никогда не превратится в ощущение, пока не затронут организм и не повреждена нервная система, потому что ум по-прежнему по-разному воспринимает внутреннее представление о предмете и сам предмет. Но, повторяю, в явлении, порождающем мысль, есть нечто сходное, хотя и менее выраженное, с тем, что происходит при галлюцинации.

Стоит мысленному образу вследствие возбуждения внутренних чувств стать настолько ярким, что он кажется внешним предметом, иначе говоря, стоит отзвукам ощущений, которые его обусловливают, сделаться столь же сильными, как само ощущение, — и уму достаточно некоторое время задержаться на мысли, чтобы она превратилась в ощущение. Это замечают у некоторых душевнобольных: вскоре они начинают действительно видеть то, о чем думают; так они могут вызывать в себе произвольные галлюцинации для всех тех рядов мыслей, которые связаны с возбуждением соответствующих внутренних ощущений[7].

[7] См. любопытные примеры, приведенные г-ном Мишеа, *Медико-психологические анналы*, 3-я серия, т. II, с. 390.

Из сказанного мною выше о гипнагогических галлюцинациях видно, что то же явление может происходить и в них. Недавно мне бросилось в глаза блюдо, полное самых алых вишен, поданное к моему столу. Через несколько мгновений после обеда погода стала грозовой, воздух сделался очень душным, и я почувствовал, что меня одолевает сон; глаза у меня закрывались, а вишни все еще стояли у меня в мыслях; и тогда я увидел в гипнагогической галлюцинации те же алые вишни, и лежали они на той же зеленой фаянсовой тарелке, на которой были поданы мне на десерт. Здесь мысль прямо превратилась в ощущение.

Подобным оживлением мысли объясняется, почему человек, подверженный экстазу, иногда узнает о приближении экстаза по тому, какую силу приобретают его мысли, как сосредоточивается на них внимание. Девица Эппингер, молодая экстатичка из Нидербронна, о которой немало говорили лет пятнадцать назад, рассказывала доктору Куну, что чувствует приближение своих экстазов за два часа. Тогда ее душа с силой возносилась в молитве; ее мысленные молитвы становились гораздо горячее, все ее существо устремлялось к Божеству, к которому она чувствовала неодолимое влечение. Вскоре окружающее переставало ее привлекать; она становилась чужда этому миру; не видела и не слышала ничего из того, что происходило вокруг. Все ее чувства были поглощены видениями. Хотя у этой девушки была ярко выраженная истерия, видения ее приходили без заметных нервных признаков, без судорожных движений. И, боясь, что ее потревожат, смутят, она, подобно человеку, который хочет уснуть, просила оставить ее одну, когда приближались приступы. Тогда, на мгновение остановив взгляд, она закрывала глаза[8]. Молодая

экстатичка из Вора (Верхняя Сона), наблюдение над которой мы обязаны г-ну Эд. Сандре, точно так же объявляла, что *она сейчас уйдет*; на ее языке это означало: впасть в экстаз[9].

[8] См. *Медико-психологические анналы*, т. XII, с. 368 (ноябрь 1848).

[9] Там же, 2-я серия, т. III, с. 318.

Итак, чтобы наш ум уловил разницу между мыслями и внешними ощущениями, он должен иметь возможность сравнить оба рода ощущений и сопоставить действительность с тем, что есть лишь представление.

Если бы, следовательно, как я только что заметил, чувства человека в экстазе находились в том же состоянии, что и у бодрствующего, внешние впечатления тотчас вернули бы его к чувству действительности, и он не мог бы принимать свои видения за события; а этого не происходит. Экстаз — особое состояние, вытекающее из особого нервного расстройства; организм поражает своего рода каталепсия, и чувства тогда отчасти остаются чужды впечатлениям извне. Я говорю «отчасти», потому что, как заметил доктор Паршап на одном из заседаний Медико-психологического общества, состояние многих людей в экстазе и в каталепсии не означает полного разрыва с внешним миром.

Крайнее сосредоточение внимания на одной точке гонит всю нервную силу человека в экстазе к мозгу и привязывает его деятельность исключительно к мыслям, которыми он занят. Здесь, стало быть, происходит нечто сходное с сомнамбулизмом, но с той разницей, что сомнамбула спит, а человек в экстазе бодрствует; иначе говоря, у сомнамбулы оцепенение вследствие сна поражает все органы ума и все чувства, кроме того, что составляет предмет его сна, тогда как у человека в экстазе именно

чрезмерное внимание к одной мысли делает органы глухими ко всему, что ей постороннее.

Г-н Ж.-П. Филипс попытался объяснить это явление остроумной теорией, которая, по-моему, довольно хорошо объясняет факты. Привожу его слова:

> «Общая и достаточно напряженная деятельность мысли необходима для правильного распределения нервной силы по нервам чувствительности. Если эта деятельность прекращается, их иннервация пресекается, и они теряют способность проводить к мозгу впечатления извне. Известно ведь, что слабоумные в большей или меньшей степени нечувствительны и что глубокий сон, то есть оцепенение мысли, есть вместе с тем покой органов ощущения и движения. С другой стороны, столь же несомненно, что ощущение — необходимый возбудитель умственной деятельности.
>
> Эти два физиологических положения, по-видимому, неизбежно влекут за собой два практических следствия, а именно: чтобы вызвать нечувствительность тела, достаточно было бы приостановить работу мысли, а чтобы приостановить работу мысли, нам стоило бы только оградить органы чувств от внешних деятелей, способных на них воздействовать. Но уже в этом последнем пункте возникает трудность: мысль, лишенная ощущений, которые доставляют ей извне чувствительные нервы, найдет достаточную пищу для деятельности в прежних ощущениях, воскрешаемых памятью. Однако неужели искомое действие может наступить лишь при полной остановке движения мысли? Никоим образом; и мы без труда понимаем, что крайнее ослабление умственной деятельности могло бы выполнить ту же задачу, ведь тогда она давала бы лишь очень слабый толчок периферической иннервации, настолько слабый, что он на деле равнялся бы ее полному прекращению.

Свести же деятельность мысли к ее *minimum* мы смогли бы, ограничив работу мысли одним из простейших ее видов; и так как *развитие, которое получает мысль, соразмерно разнообразию возбуждающих ее впечатлений*, мы достигли бы этой первой цели, подчинив мысль исключительному возбуждению одного ощущения — *простого*, *однородного* и *непрерывного*. Действительно, такого чувственного возбуждения было бы довольно, чтобы привлечь, захватить и удержать внимание; но вместе с тем оно было бы слишком узким, чтобы вызвать развитие умственной деятельности на сколько-нибудь широком пространстве.

Как только мысль попалась в эту ловушку, обрекающую ее на общую неподвижность, потому что поле ее действия сведено к одной точке, в соотношении вещественных сил мозгового хозяйства неизбежно должна произойти значительная перемена. Пузырчатое вещество в силу своих основных свойств продолжает вырабатывать нервную силу; но мысль расходует теперь лишь малую ее часть, так что выработка намного превысит расход, и сила эта будет вследствие того накапливаться в мозгу, где наступит нервное переполнение. Когда такое состояние создано, пусть только через еще приоткрытую дверь сенсориума, путем зрения, слуха, мышечного чувства, к мозгу проскользнет какое-нибудь впечатление, — и точка, на которую придется это возбуждение, тотчас выйдет из оцепенения и станет средоточием деятельности, которую напряжение нервной силы усилит всем своим весом. Вот тогда общая остановка иннервации внезапно сменится чрезмерной местной иннервацией, которая, например, мгновенно заменит нечувствительность повышенной чувствительностью, расслабление мышечной системы — каталепсией, столбняком и т. д.[10]»

[10] *Теоретический и практический курс брэдизма*, с. 32 и след.

Чувства, как видим, у человека в экстазе оцепенели, как у спящего, и уже не проводят достаточно впечатлений, чтобы связать его с внешним миром; они почти не дают уму средств отличить собственные представления от внешней действительности. Все, что человеку в экстазе кажется, будто он видит, слышит или делает, представляется ему, как и видящему сон, самой жизнью и действительностью.

Экстаз производит долгое и напряженное созерцание предмета или мысли. Я говорю — созерцание, а не размышление: это вещи совершенно разные. Ум, непрестанно занятый видом одного и того же предмета, заставляет мозг непрестанно совершать одни и те же движения. А известно, каково действие повторения одних и тех же действий, к которому принуждают органы: оно порождает привычку; тогда ум действует, работает почти без сознания своей деятельности; он действует как автомат. «Непрерывность или повторение, — пишет г-н Ф. Равессон[11], — понижает чувствительность; оно повышает подвижность, но повышает одну и понижает другую одинаковым образом, одной и той же причиной: развитием безотчетной самопроизвольности, которая все глубже проникает и укореняется в страдательной стороне организма, вне области воли, личности и сознания, ниже ее».

[11] *О привычке*, с. 28 (Париж, 1838).

Понятно поэтому, что, пока ум вызывает образы, создает картины, сочиняет мистические сцены и беседы, он теряет внешнюю чувствительность; понятно, почему люди в экстазе пребывают в состоянии бодрствующего сна, во время которого они уже не поддерживают никакой связи с внешним миром и погружаются в свои видения. Нечувствительность может быть вызвана и чрезмерностью возбуждения, потому что оно приводит к

бесчувствию; это не раз наблюдали при пытке: истощенный страданиями человек под конец впадал в своего рода кому или оцепенение с потерей чувствительности[12].

[12] См. Бартез, *Новые начала науки о человеке*, 2-е изд., т. II, с. 158, гл. XII.

Так и человека в экстазе можно сколько угодно трясти, толкать, щипать, окликать — он ничего не чувствует, ничего не слышит; он весь поглощен своим созерцанием.

Однако, как и при природном сомнамбулизме, где точно так же проявляется исключительное сосредоточение ума и чувств на одной мысли, на одном событии, органы еще могут действовать, но лишь на службе у мысли, у действия, связанного с видением. Экстатичка из Вора во время приступов пела полным, звучным голосом, без усилия, легче, чем сделала бы это наяву. Эта девушка, как и многие благочестивые женщины, впадавшие в экстаз, принимала позы, отвечавшие ее видениям; ее члены, ее жесты подчинялись впечатлениям ее мысли, и в ней происходило явление, обратное *внушениям*, о которых речь пойдет ниже, при разговоре о магнетизме. Здесь мысль вызывала жест, тогда как при гипнотическом внушении жест рождает мысль[13]!

[13] *Медико-психологические анналы*, 2-я серия, т. III, с. 318, 319.

Сходство состояния экстаза с состоянием видящего сон вытекает не только из сходства способов, какими действует ум в том и другом случае, но и из сходства рождающихся тогда представлений.

Перечитайте видения, о которых рассказывают люди, пережившие экстаз, — вы найдете в них все формы сновидения: и сна ясного и связного, и того, который обычно вызывается воспоминанием о мыслях или образах, воспринятых прежде[14].

[14] См., что говорит об этом К. В. Иделер в сочинении под заглавием *Религиозное помешательство*, Введение, с. 9 (Галле, 1847).

Мы видели выше, что когда нас живо поразило какое-нибудь зрелище или событие, нам часто случается видеть его во сне, присутствовать при нем в сновидении, которое воспроизводит его главные этапы, хотя к ним примешиваются и иные мысли, иные образы, самопроизвольно вызванные внутренними или внешними ощущениями. То же происходит и с человеком в экстазе. Вид священных обрядов, благочестивых картин, чтение мистических книг, долгое размышление о Боге наполнили его ум религиозными мыслями, образами неба, рая, ада, ангелов, демонов; и эти сверхъестественные или благочестивые сцены вдруг оживают в его воображении, когда он предается размышлению и отрешается от всего окружающего. Он поистине видит во сне то, что прочел и видел, говорил и слышал, а так как болезненное расположение нервной системы позволяет его чувствам легче закрываться для впечатлений извне, он оказывается во власти собственных видений.

В отличие от природного сомнамбулы, совершенно чуждого всему, что выходит за пределы его представления, человек в экстазе не вполне нечувствителен к внешнему воздействию; только чувства его притупились, и передаваемые ими впечатления так ослаблены, что он уже не может отличить их от тех, что рождены воспоминанием. Итак, с одной стороны — меньшая восприимчивость к внешним и действительным предметам; с другой — крайняя живость впечатлений, оставленных воспоминанием. Таким образом оба рода впечатлений сливаются, и человек в экстазе смешивает действительное с воображаемым. И в самом деле, в видения часто вмешиваются находящиеся рядом предметы; они, так сказать,

сочетаются с ними. Человек в экстазе созерцает, например, распятие с живым чувством любви; он погружается в это созерцание и, продолжая видеть изображение страждущего Христа, слышит, как оно говорит; ему кажется, что оно приближается к нему или что из него исходит луч света, пронзающий ему сердце. В другой раз человек в экстазе будет беседовать с лицом, которое с ним говорит и ему знакомо, например со своим духовником; он станет описывать ему свои видения и так будет одновременно присутствовать и при своем сне, и видеть того, кто его расспрашивает. Жизнеописания людей, переживавших экстаз, изобилуют подобными фактами; они показывают нам, что, в отличие от того, что бывает во сне, чувства в экстазе не вполне оцепенели и сохраняют восприимчивость к некоторым предметам, связанным с предметом созерцания; все остальное остается человеку в экстазе чуждым.

Возможно даже, что чувствительность угасает меньше, чем кажется, но крайнее оцепенение мешает человеку в экстазе ответить на впечатление, которое он испытывает. Доктор Т. Пюэль показал на ряде примеров, что больные каталепсией часто испытывают ощущения, хотя во время приступа не проявляют этого вовсе или проявляют лишь слабо[15].

[15] Т. Пюэль, *О каталепсии*, с. 66 (Париж, 1856).

Итак, состояние экстаза причастно одновременно и сомнамбулизму, и состоянию человека, который видит сон, погруженный в неполный сон, при котором чувства передают ему впечатления, вплетаемые им в сновидение.

Физиология еще недостаточно продвинулась, чтобы можно было определить, какому изменению, какому расстройству спинномозговой системы обязан экстаз, или, вернее, какого рода

нарушение вносит живое и непрерывное созерцание в действие нервов. Можно лишь сказать, что раз экстаз весьма схож с каталепсией, с которой он чаще всего соединяется и которую тоже часто порождают сильная страсть, ужас, живое чувство любви[16], то он должен происходить от сходного расстройства. Быть может, удивятся, что я говорю здесь только о действиях телесных, только о причинах, вытекающих из состояния организма. Я, однако, не хочу отрицать, что сила души может оказывать на это явление значительное влияние и даже вызывать его, борясь с самим организмом.

[16] См. Бурден, *Трактат о каталепсии*, с. 151, и Т. Пюэль, *О каталепсии*, с. 91.

«Если, как справедливо говорит Мен де Биран[17], опыт не позволяет сомневаться, что тот или иной способ работы мысли облегчается благодаря некоторым чувственным расположениям, зависящим от телесного механизма, то несомненно и то, что сила мыслящего начала часто борется с органическими препятствиями, противными ее цели, и сумеет одолеть их или даже совершенно изменить их расположение, вызвав совсем иной ряд органических движений».

[17] См. *Новые соображения об отношениях физического и нравственного в человеке*, в *Философских сочинениях* Мен де Бирана, изд. В. Кузеном, т. IV, с. 138.

Экстаз — одно из самых ярких тому доказательств. Мистические чтения и упражнения могут при долгом действии дать уму привычки, из которых рождается сильная воля подчиниться умственным операциям, воздействующим на нервную систему, и это воздействие будет иметь те же последствия, как если бы система была поражена прямо, в силу органических влияний.

Когда видишь, что экстазы случаются преимущественно там, где религиозное воспитание сообщило умам мистическое

направление, нельзя оспаривать такого действия нравственного на физическое при появлении рассматриваемого явления. Но и в этом случае организм вносит свою долю влияния: однажды потрясенный и приведенный в состояние, предрасполагающее к экстазу, он помогает уму войти в него. Тогда происходит то же, что и при душевном расстройстве. Эта болезнь может быть вызвана сильным душевным волнением, но лишь потому, что волнение передалось мозгу и нервной системе, расстройство которых в свою очередь действует на ум. Чтобы проявились помешательство или экстаз, всегда было нужно, чтобы организм обладал такой тонкостью, что пережитое им потрясение глубоко его поразило. Признают также, что если душевная причина и может вызвать каталепсию, как и экстаз, то, чтобы обрести эту силу, ей нужна помощь расстройства кровообращения, у женщин — расстройства месячных, или сильного упадка нервных сил.

Поэтому экстаз, какова бы ни была его причина, следует считать болезненным состоянием, без сомнения менее выраженным, чем душевное расстройство или падучая, но способным, однако, принимать все черты болезни. В некоторых случаях он сливается с каталепсией. Доктор Кальмейль рассказывает, что видел людей в экстазе, которые месяцами не вставали с постели: грудь и шея оцепенелые, руки и ноги неподатливо вытянуты; их можно было поднимать, как тела, скованные холодом, а они, даже когда их тормошили, не совершали ни одного произвольного движения, не выказывали ни голода, ни жажды и лишь крайне медленно, понемногу глотали полужидкую пищу, которую им вливали в рот. Полная нечувствительность, в которую факиры умеют погружаться благодаря упражнению, бесспорно, принадлежит к фактам, лучше всего показывающим тесную связь обоих состояний. Дж. Брейд в

своем любопытном небольшом сочинении под заглавием *Наблюдения над трансом, или Человеческая спячка* собрал об этом весьма занимательные подробности. Доктор Чейн видел, как один из таких факиров дошел до того, что не подавал никаких заметных признаков жизни даже для врачей и несколько часов оставался в этом состоянии мнимой смерти[18]. Есть даже факиры, которые велят наглухо зашить себя в мешок, запереть в сундук, после чего их зарывают в землю или сжигают — по крайней мере с виду; это неминуемо стоило бы жизни любому другому человеку в тех же условиях. А индийские подвижники, пройдя такие испытания, все же постепенно возвращаются к жизни[19].

[18] Из «Дабистана» видно, что на Востоке полагают, будто в экстазе душа на время покидает тело, — мысль, которая была и в Европе в Средние века.

[19] См. подробный рассказ о подобном случае, происшедшем в присутствии знаменитого правителя Лахора Ранджит Сингха, у Дж. Брейда, *Наблюдения над трансом*, с. 10 и след.

Жорже считает каталепсию следствием раздражения мозга с постоянным переполнением его сосудов кровью и сдавлением корешков нервов. Такое застойное происхождение объяснило бы, почему сильный холод может вызывать каталепсию. Вероятно, и при экстазе в мозгу происходит прилив крови; этот прилив, притупляя одни органы, уничтожая власть над ними воли, возбуждал бы другие части нервной системы: словом, в обоих состояниях все, по-видимому, происходит почти одинаково. Однако у больного каталепсией умственные способности приостановлены полнее, мышцы неподвижнее и напряженнее, ощущения глуше, а часто и совсем угасают.

В экстазе ум прикован к одной мысли или к ряду мыслей об одном предмете; при каталепсии ум погружен в оцепенение, близкое к коме. Не затронуты и продолжают совершаться лишь

растительные отправления[20]. Выйдя из экстаза, ум чаще всего помнит свои видения, свои ложные ощущения[21]; больной каталепсией, напротив, придя в себя, почти всегда забывает то, что испытывал[22], — обстоятельство, окончательно показывающее, что напряжение, умственное утомление, а следовательно, и душевно-чувственное расстройство во второй болезни гораздо сильнее, чем в первой. Больной каталепсией, как и человек, принявший гашиш, теряет также чувство времени.

[20] Я говорю здесь только о каталепсии в собственном смысле, или простой, а не о той каталепсии, осложненной истерией и сомнамбулизмом, которую наблюдали доктора А. Фавро, Пюэль, Менне. У тех, кто страдает этим последним видом каталепсии, пересекаются явления иного рода и порождают весьма разнообразные нервные действия. Из того, что сообщают о некоторых индийских факирах и о ряде больных, видно, что, как я только что отметил, отправления могут быть и совсем приостановлены; в этом случае человек в экстазе уже не дышит и не ест, он впадает в состояние, которое Дж. Брейд назвал *человеческой спячкой*. См. *Наблюдения над трансом*, с. 55.

[21] См. Мишеа, *О бреде ощущений*, с. 289.

[22] Пюэль, *О каталепсии*, с. 67.

Итак, физиологическое и патологическое состояние больного каталепсией в сопоставлении с состоянием человека в экстазе возвращает нас к ряду явлений, весьма сходных с теми, какие представили нам сомнамбулизм и сон.

ГЛАВА XI. О ГИПНОТИЗМЕ И ДЕЙСТВИИ НАРКОТИЧЕСКИХ, ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ И СПИРТНЫХ СРЕДСТВ НА УМ

✦

Часть явлений, которые самопроизвольно возникают в экстазе и при природном сомнамбулизме вследствие расстройства нервной системы, сосредоточения внимания на одном предмете, на одной мысли, появляется вновь, когда прибегают к веществам или приемам, ослабляющим иннервацию и вызывающим прилив крови к мозгу. Обезболивающие средства и приемы гипнотизма действительно вызывают состояние, очень напоминающее то, в котором находятся сомнамбула и человек в экстазе. Человек, подвергнутый действию обезболивающих паров, испытывает ослабление нервной силы, сходное с тем, что бывает во сне, хотя и гораздо более сильное. Температура его тела понижается, и кровь насыщается кислородом уже не так правильно[1]. То же происходит и при удушье; но там расстройство иннервации возникает лишь как отголосок нарушения в насыщении крови, от недостатка кислорода, который не дает темной крови очиститься, тогда как под действием обезболивающих поражаются чувствительность, двигательная способность спинного мозга и нервных стволов, а кровообращение, подчиненное нервам, испытывает на себе отголосок этого[2]. Человек под эфиром или хлороформом постепенно и в большей или меньшей мере теряет чувствительность; он становится недоступен боли, перестает видеть, что делается вокруг, перестает слышать внешние звуки или воспринимает их лишь очень слабо. Иногда у человека под

эфиром, как бывает у некоторых сомнамбул и людей в экстазе, слух так обостряется, что он чрезвычайно отчетливо слышит самые далекие, самые легкие звуки. Впрочем, такое обострение слуха отмечено не только при вдыхании эфира или альдегида; оно наблюдается и при некоторых нервных болезнях, сопровождающихся сильным приливом крови к мозгу. Один больной, о котором сообщил доктор Шмальц из Дрездена, слышал на расстоянии двух с половиной метров тиканье часов[3]. Этот прилив крови к слуховому нерву был связан с приливом к сетчатке, и больной не выносил яркого света. Обострение слуха отмечали и при некоторых односторонних параличах. Один больной, о котором говорит английский врач Чейн, впавший в душевное расстройство после отравления, слышал голос за полмили. Точно так же при нервных болезнях наблюдали и обострение обоняния.

[1] См. сообщение гг. А. Дюмериля и Демарке Академии наук, *Отчеты Академии наук*, т. XXIV, с. 313.

[2] Известно, впрочем, какая тесная связь соединяет чувствительность и кровообращение. Вот почему боль бывает причиной обморока. Эфир усиливает действие чувствительности на сердце, как показал доктор Вигуру. *Отчеты Академии наук*, 1861, 1-е полугодие, с. 203.

[3] См. *Медико-психологические анналы*, т. XII, с. 409.

Как бывает у сомнамбулы, особенно у сомнамбулы искусственной, чувство осязания глубоко изменяется. Места, от природы самые чувствительные, — подушечки пальцев, ладонь, участки кожи вблизи начала слизистых оболочек — дольше сохраняют свою возбудимость.

Это убывание чувствительности не всегда бывает равномерным; случаются колебания, которых хирург должен остерегаться и которые дают любопытные сближения с

явлениями сомнамбулизма, где возбуждение и ослабление ощущений и мозговых способностей перекрещиваются. Человек под эфиром может быть погружен в такое оцепенение, что слух его не воспримет самых сильных звуков, сетчатка останется безразлична к самому яркому свету, нервные стволы не отзовутся на самые прямые раздражения, а ум между тем остается деятельным, и сновидения, вызванные сначала чисто внутренними ощущениями, которыми отмечено начало действия обезболивающего средства, все еще продолжаются[4]. Эти самопроизвольные ощущения, порожденные изменением телесного состояния, — ощущения полноты, холода и жара, зуда и т. д. — совершенно подобны тем, какие испытывают некоторые сомнамбулы.

[4] Буиссон, *Теоретический и практический трактат об обезболивающем методе*, с. 217 и след.

Сновидения и связанные с ними различные состояния ума исчезают, однако, когда оцепенение овладевает всем. Итак, человек под наркозом видит сны, как спящий, и, подобно ему, вплетает в свои сновидения внешние впечатления, которые еще воспринимает. Так, я знал одного человека, которого предварительно усыпили эфиром и оперировали по поводу свища заднего прохода; он слышал удары скальпеля, не испытывая никакой боли, и видел тогда во сне, будто обедает в Пале-Рояле, а звуки, доходившие до его слуха, принимал за стук своей вилки. С другой стороны, доктор Ж. Моро ясно показал сходство бреда, вызванного отравлением эфиром, и бреда, производимого маниакальным возбуждением[5]. Доктор Мишеа показал, что нечувствительность часто сопровождает душевное расстройство[6]. По мнению доктора Бриера де Буамона[7], сновидения людей под эфиром чаще всего связаны с их заботами, с преобладающими у

них мыслями. Но так как при эфирном наркозе существует действительное болезненное состояние, вызванное применением обезболивающего средства, сновидение не только не всегда бывает приятным или светлым, но часто принимает характер кошмара.

[5] См. *Медицинский союз*, 2 и 4 сентября 1847.

[6] См. *Медико-психологические анналы*, 3-я серия, т. II, с. 249. То же наблюдение сделал и доктор В. Гризингер, *Патология и терапия психических болезней*, с. 67.

[7] См. *Медицинское обозрение*, июнь 1847.

При неполном эфирном наркозе воля часто сохраняет всю свою власть, что бывает иногда и в состоянии искусственного сомнамбулизма. Г-н Буиссон[8] приводит пример молодого солдата, который притворялся больным, чтобы освободиться от службы, и, будучи подвергнут действию обезболивающего средства, настолько владел своей волей, что не сказал ничего, что могло бы его выдать. Однако когда это действие продолжается, состояние ума все больше приближается ко сну, образы сменяют друг друга с невероятной быстротой; затем, смотря по человеку, проявляются весьма различные состояния, напоминающие то опьянение, то помешательство, то меланхолию. Бывают случаи, когда видение относится к операции, которой подвергается человек под эфиром; сновидение даже возникает порой под властью внешнего ощущения. Таким образом, различные степени эфирного наркоза дают нам состояния, соответствующие различным степеням сна, а то, что происходит при очень продолжительном действии обезболивающего средства, доказывает, что ум во сне не только не всегда мыслит и действует, но может впадать и в полное оцепенение.

[8] См. Буиссон, *Теоретический и практический трактат об обезболивающем методе*, с. 230.

«Когда эфирный сон глубок, — пишет доктор Буиссон[9], — не только совершенно угасшая чувствительность не может уже исподволь возбуждаться и служить побудителем сновидений, но и утрата сознания и разума сопровождает утрату чувства. Само воображение не может более воспользоваться своей свободой от внешних чувств, оно в свою очередь сковано. Бессильное отныне окрасить образ, придать ему связный смысл, оно не в состоянии создать даже отдельной мысли. Мысль, то есть умственная форма, представляющая предметы, стирается под глубоким влиянием эфира. Свинцовый сон давит тогда на весь организм».

[9] *Теоретический и практический трактат об обезболивающем методе*, с. 235.

Действие гипнотизма возвращает нас к явлениям того же порядка. Загипнотизированный впадает в более или менее выраженное состояние нечувствительности[10]. При гипнотизировании для того, чтобы вызвать одновременно ослабление и возбуждение мозга и нервной системы, соединяют средства телесные и средства умственные. Блестящее тело действует на зрительный нерв, а сосредоточение внимания действует на ум и усыпляет его. Здесь есть созерцание вещественное и созерцание мысленное. Тот, кто хочет быть загипнотизированным, не должен упускать из виду помещенный перед ним блестящий предмет — зеркало, пробку графина, серебряную вещицу, гвоздь, монету, а то и собственный пупок или нос, как делали монахи горы Афон или суфии Персии, — и вместе с тем ему предписано непрестанно возвращать к этому предмету свою мысль. Так что гипнотизирование есть искусственный

способ вызвать экстаз и нечувствительность, причастный и сосредоточению ума, и вдыханию обезболивающих средств.

[10] См., что я уже говорил о гипнотизме в главе IV второй части моего сочинения *Магия и астрология в древности и в Средние века*.

У загипнотизированного обычно наступает полное или частичное расслабление произвольных мышц; к этому могут присоединяться признаки каталепсии, истерии: тонические или клонические судороги, повышение мышечной силы. Наконец, как бывает и при некоторых приступах душевного расстройства, обычно происходит возбуждение или ослабление некоторых способностей, различных умственных действий[11]. Впрочем, расслабление мышц может наступить и без всякого ущерба для ума.

[11] Ж.-П. Филипс, *Теоретический и практический курс брэдизма*, с. 26. Ср. сообщение доктора Азама Медико-психологическому обществу в *Медико-психологических анналах*, 3-я серия, т. VI, с. 430 и след.

Обострение чувствительности доходит иногда у загипнотизированных до такой степени, что, по словам доктора Азама, один больной слышал разговор, который вели этажом ниже. Этот избыток чувствительности, вызывающий, впрочем, крайнее утомление, проявляется и в обонянии и вкусе.

Я сказал, что у загипнотизированного часто бывают видения и сны. Ослабление его воли и внимания может стать так велико, что он как бы отдает свою мысль под водительство того, кто с ним говорит или к нему прикасается. Тогда в нем легко вызвать любые мысли, любые ощущения, о которых ему напоминают, и они являются его уму, как образы сновидения, а он не способен различить действительность и внутреннюю видимость; вернее сказать, его впечатлительность становится такова, что одна лишь

переданная ему мысль производит в нем впечатление столь же живое, какое произвел бы сам факт, о котором идет речь. Точно так же мнительные люди испытывают боли или признаки болезней, которых заставляют их опасаться страх и воображение. «Мысль создает и ощущения, — пишет г-н Реноден в своих *Медико-психологических этюдах о душевном расстройстве*, — через симпатическое возбуждение, которое она пробуждает в органах, вплоть до того, что рождает желание, а часто и страсть. Это возбуждение влечения мыслью часто превосходит действие телесного впечатления, и так как между мыслями возникает тогда своего рода противоборство, эта преходящая нервная децентрализация, исходная точка раздвоения личности, легко приводит к тому, что побуждение влечения принимают за результат прямого влияния внешних деятелей. Отсюда, без сомнения, и учение о двух началах, влекущих человечество в противоположные стороны. Оно старо как мир, и своего рода фатализм делает тем самым человека страдательным и безучастным посреди борьбы добра и зла. И то и другое в нас самих, смотря по тому, упорядочиваем ли мы влечение или даем ему свободу; и если во многих случаях оно слишком сильно нас побуждает, то потому, что его возбуждающим началом была мысль. Если мысль возбуждает чувства, она же и обрекает их на бессилие, и нам нетрудно понять, как экстаз, подготовленный известными суровыми подвигами, усиливается и завершается размышлениями, которые на время разрывают единство душевно-телесной двойственности».

Эти любопытные действия гипнотизма вытекают прежде всего из опытов, проделанных Дж. Брейдом в 1842 году, опытов, повторенных и расширенных г-ном Ж.-П. Филипсом, который описал их в своем сочинении о *жизненной электродинамике*.

Доктор Азам в своем сообщении Медико-психологическому обществу привел несколько случаев внушения, сходных с теми, что наблюдаются в магнетическом состоянии, о котором пойдет речь в следующей главе. Знаменитый английский физиолог доктор Карпентер сам проводил такие опыты. Вот один из примеров, приведенных ими. Одному человеку подняли руки и сказали, что заставляют его держать груз; он уверился, что руки у него действительно нагружены очень тяжелой ношей, и почувствовал усталость.

Этот странный факт, по-видимому, связан со способностью, которую часто имеет человек, — составлять мысли и испытывать чувства, отвечающие положению, позе, которую он принимает, роли, которую он хочет играть. Напомним, что говорит об этом Дугалд Стюарт[12]: «Как всякое движение души производит заметное действие на тело, так и, когда мы придаем своему лицу сильное выражение, сопровождаемое соответствующими жестами, мы в некоторой степени испытываем чувство, отвечающее искусственному выражению, сообщенному нашим чертам. Г-н Берк уверяет, что часто замечал, как в нем разгорается гнев по мере того, как он изображает внешние признаки этой страсти, и я не сомневаюсь, что у большинства людей тот же опыт даст тот же результат. Говорят (как замечает далее г-н Берк), что когда Кампанелла, знаменитый философ и большой знаток лиц, желал узнать, что происходит в душе другого человека, он как можно лучше подражал его тогдашней позе и выражению лица, сосредоточивая в то же время внимание на собственных чувствах. Вообще, я думаю, окажется, что эти два дарования, дар подражателя и дар знатока лиц, теснейшим образом связаны между собой. Говорят, что в высокой степени они соединяются у коренных племен Северной Америки, и то же наблюдение сделали

некоторые из наших недавних мореплавателей относительно простых островитян Южных морей. Чтобы лучше разъяснить эти начала, я приведу еще как особенно достойный внимания один хорошо известный факт: к этой подражательной способности часто присоединяется дар входить в привычные мысли и чувства человека настолько, чтобы при случае суметь до известной степени сыграть его роль, действовать и говорить так, как действовал и говорил бы он. Замечательный пример этого дает нам один английский актер, живший в первые годы прошлого века. Вот что рассказывает о нем очень точный и проницательный наблюдатель, хорошо его знавший. „Эсткорт (говорит Колли Сиббер) был подражатель столь поразительный и необычайный, что не было ни мужчины, ни женщины, от кокетки до тайного советника, чьих голоса, взгляда, осанки и всех движений он не мог бы тотчас изобразить, увидев, как они действуют, или услышав, как они говорят. Я слышал, как он произносил длинные речи и развивал различные доводы в самой манере одного видного адвоката, с таким совершенством подражая мельчайшим чертам и особенностям его речи, что поистине становился его *alter ipse* и отличить его от подлинника было бы трудно“. Здесь, вероятно, есть некоторое преувеличение; но другие, более или менее сходные факты должны были встречаться всякому, кто бывал в обществе».

[12] *Начала философии человеческого духа*, пер. Пейсса, т. III, с. 141.

С этой совокупностью наблюдений следует связать тот факт, что видениями некоторых религиозных экстатичек во время приступов руководит их духовник или какое-либо лицо, приобретшее над ними заметное влияние. Тогда происходит почти то же, что бывает с человеком, поглощенным сновидением,

подверженным внешним впечатлениям или слышащим обращенные к нему слова, которые его не до конца оцепеневший слух еще может уловить. Эти восприятия заметно влияют на характер сновидения, на направление мыслей видящего сон. Отсюда до известной степени возможность вызывать в нем по желанию тот или иной сон. Загипнотизированный точно так же в своих обманах зависит от того, кто подействовал на его чувства или воображение. Некоторые исследователи утверждают, что в нем можно не только вызвать определенные мысли, но и внушить ему свои собственные и тем самым подчинить себе его волю. Если факт этот будет окончательно установлен, видеть в нем следует не передачу мысли, а лишь влияние, которое слово и действие чувств оказывают на представления. Чувства, как я только что отметил, стали так страдательны или так впечатлительны, ум так лишен силы противодействия, что достаточно сообщить больному мысль или передать ему ощущение, ее рождающее, чтобы он принял ее, не замечая, что она принесена ему извне; он считает ее своей; он верит всему, что ему говорят; он ощущает все, о чем ему напоминают. Как у человека в экстазе, возбуждение внутренних ощущений, тех, что сопровождают простую мысль или воспоминание, и ослабление внешних ощущений, вызванное вялостью нервов, связывающих нас с внешним миром, вместе мешают отличить мысль от ощущения. Вся нервная сила переходит в ту часть мозга, где сходятся последние волокна чувств, тогда как другие их концы на три четверти утратили свое действие.

Итак, загипнотизированный оказывается во власти чужой воли так же, как человек в экстазе и видящий сон оказываются во власти впечатлений, внезапно рождающихся в них то вследствие расстройства нервной системы, то потому, что ослабленные

внимание и воля дают простор самопроизвольным мыслям и образам, возникающим от отзвука в самых глубинных волокнах мозга.

Во сне, в экстазе, под гипнозом мы лишь отчасти связаны с тем, что нас окружает, и всецело отдаемся воображению, которое вводит наш ум в галлюцинацию, пока разум, рождающийся из сравнения действительных впечатлений с вымышленными, не вернет нас к внешнему миру.

Врачи обычно сходятся в том, что видят в гипнотизме следствие прилива крови, сопровождаемого нервным упадком, то есть состояние, сходное с тем, какое мы нашли во сне, но с более резкими чертами.

Долгое внимание, которое больной вынужден поддерживать, глядя на утомляющий зрение блестящий предмет, оцепенение, в которое в конце концов впадает ум, принужденный погружаться в это созерцание, вызывают своего рода каталепсию, сопровождаемую большой слабостью воли и внимания. Этим приемом человек доводит себя до расстройства, почти подобного тому, какое производит применение обезболивающих средств, эфира, альдегида, опия, гашиша, которые тоже сверх меры угнетают одни части нервной системы и возбуждают другие.

Человек, принявший гашиш, иначе говоря, вытяжку конопли, приобретает преувеличенную телесную чувствительность; им овладевают самые странные обманы чувств. «Действие гашиша, — пишет г-н Ж. Моро в любопытном сочинении о действии этого снадобья, — распространяется на все способности сразу; оно проявляется избытком умственной энергии, живостью воспоминаний, более быстрым пониманием и т. д. Незаметно оно производит в воле, во влечениях такое расслабление, что мы оказываемся во власти самых разнообразных впечатлений, так

что от обстоятельств, в которых мы находимся, от предметов, которые попадутся нам на глаза, от слов, которые дойдут до нашего слуха, и т. д. будет всецело зависеть, родятся ли в нас самые живые чувства веселья или печали».

Итак, люди, принимающие гашиш, — это люди, которые постоянно видят сны наяву и у которых, только в более выраженной форме, совершаются явления сновидения. Самые разнообразные, самые невероятные мысли приходят им в голову с невероятной быстротой; вскоре затем появляются самые странные обманы чувств, галлюцинации всякого рода. Как и человек в экстазе, принявший гашиш смешивает восприятия, вызванные действительными предметами, с воображаемыми ощущениями; он вплетает в сны, которые видит наяву, то, что его окружает, и то, что он видит или слышит[13].

[13] См., что сообщает г-н Макарио в *Медико-психологических анналах*, т. VII, с. 30 и след.

Курильщика опиума точно так же осаждают видения, ложные ощущения, которые ему лишь с трудом удается отличить от действительности.

Беседуя с человеком, который рассказывал мне о видениях, бывших у него после курения опиума, я убедился, что вымышленные образы или ощущения, из которых они, так сказать, складывались, сцеплялись друг с другом так же, как это бывает в сновидениях, и, может быть, гораздо быстрее; ибо если употребление обезболивающих и наркотических средств ослабляет нервную систему, то это ослабление сопровождается возбуждением некоторых ее частей, некоторых способностей или кратковременным общим возбуждением нервной системы, за которым следует упадок сил. При обычном сне тоже бывает ослабление той же системы вследствие полной или очень

значительной траты нервной силы, что требует восстановления, приносимого покоем; но почти не наблюдается, как при природном сомнамбулизме и при упадке сил, вызванном обезболивающими и наркотическими средствами, частичного или периодического возбуждения.

У человека, охваченного бредом от гашиша, как и у видящего сон, суждение явно нарушено, хотя никогда не уничтожается полностью. Как часто бывает во сне, в горячечном бреду, при некоторых видах помешательства, человек, принявший вытяжку конопли, сохраняет более или менее смутное сознание состояния, в котором находится[14].

[14] См. Рек, *О действии гашиша на человека, находящегося в здравом уме, и на душевнобольного*, в *Медико-психологических анналах*, т. XIII, с. 36 (июль 1848).

Действие обезболивающих и наркотических средств на ум причастно, таким образом, одновременно действию сна и действию гипнотизма. Это последнее, сперва так сильно поразившее умы, само есть лишь расширение явления, исходной точкой которого служит сон. Нечувствительность, вызванная приемами Дж. Брейда или применением обезболивающих и наркотических средств, оцепенение членов, притупленность чувств у спящего — низшая его степень; галлюцинации, вводящие в заблуждение задремавший ум, принадлежат к тому же порядку, что и сновидения; наконец, вера, доверие загипнотизированного к тому, что ему говорят, что он видит или воображает, будто видит, зависит от той же причины, по которой спящий всегда будет обманут своими снами и примет все, что предстанет очам его ума, за предметную действительность.

Замечания, подобные тем, что я только что изложил здесь о действии опиума, можно сделать и о действии других

наркотических средств, например белены, дурмана (*datura stramonium*).

Спиртные напитки действуют на мозг сходно с наркотическими средствами, но иными путями. Последние вызывают прилив крови к мозгу не прямым ускорением работы сосудов, а параличом нервов, идущих вдоль волосных вен, — параличом, который ведет к их переполнению. Таким образом, переполнение кровью здесь лишь последующее; ослаблены прежде всего нервное действие и действие мозга, что доказывается прямым действием наркотических веществ на отдельные нервы. Спиртные напитки, напротив, усиливают сокращения сердца; сначала они ускоряют волосное кровообращение, а следовательно, и работу мозга; но, принятые в большем количестве, они вызывают переполнение вен, их расширение и сдавление мозга, который в свою очередь действует на иннервацию и нарушает ее работу[15]. Я уже отмечал выше, что пьяный человек приходит в состояние, сходное с состоянием видящего сон. Действие различно смотря по количеству выпитого вина и по особой природе принятого напитка. Пиво, например, причастное свойствам и спиртного, и наркотического средства, вызывает опьянение более тяжелое и отупляющее, чем виноградный сок. Та же причина, по которой стакан вина оживляет воображение и проясняет речь — потому что ускорение тока крови в волосных сосудах мозга возбуждает этот орган, — порождает, когда излишество в возлияниях вызвало переполнение мелких вен, отупение, кому, упадок сил. Другие вещества — чай, кофе, эфир в малой дозе — только оживляют работу иннервации и мозга, не парализуя его, как это делают наркотические средства. Но в зависимости от темперамента каждого действие всех этих напитков, даже принятых в

одинаковом количестве, бывает более или менее заметным, благотворным или пагубным.

[15] См. сравнение действия спиртных и наркотических средств у Рудольфа Вагнера, *Физиологический словарь* (Брауншвейг, 1844), т. II, с. 742, статьи *Психология* и *Психиатрия*. — Из опытов гг. Дюруа, Лаллемана и Перрена следует, однако, по-видимому, что спиртные напитки действуют и прямо на нервную систему и что, всосавшись, они накапливаются, подобно обезболивающим средствам, в нервных центрах. См. *Отчеты Академии наук*, 1859, 2-е полугодие, с. 578; 1860, 1-е полугодие, с. 400.

Общее для всех них действие состоит в том, чтобы сначала пробудить, а затем повергнуть в упадок нервную систему, прямо или опосредованно, через ускорение, а затем остановку движения крови в сосудах мозга. Одни волокна при этом возбуждены, другие ослаблены, как бывает иногда во сне и всегда в сомнамбулизме и экстазе.

Признаки опьянения от спиртных напитков также относятся к тому же порядку явлений.

У страдающих пьянством бред бывает то сильным возбуждением с галлюцинациями и бессонницей, то состоянием буйства, к которому присоединяется, как при белой горячке (*delirium tremens*), дрожь рук и нижней челюсти.

Опьянение может быть настолько сильным, что вызывает настоящую нечувствительность в некоторых частях тела. Так, Бланден однажды ампутировал пьяному человеку конечность, а тот даже не заметил операции. Бред пьяного бывает порой так полон, что возникают так называемые *алкогольные* галлюцинации, совершенно сбивающие ум с пути; это и происходит с человеком, страдающим белой горячкой (*delirium tremens*), — состоянием хронического опьянения, при котором галлюцинации непрестанно тревожат воображение. Природа этих галлюцинаций обычно выдает страдания пьющего: чаще всего

это видения страшных, отвратительных на вид животных, предметов, связанных с печальными мыслями[16]. Алкогольная галлюцинация есть, таким образом, своего рода кошмар наяву.

[16] См., что сообщает доктор Бриер де Буамон в записке под заглавием *О некоторых новых наблюдениях над помешательством пьющих*, в *Медико-психологических анналах*, 2-я серия, т. IV, с. 375 и след.

Отупение, которое вызывает злоупотребление абсентом, также сопровождается устрашающими галлюцинациями, связанными со свитой тех же расстройств, что представляет белая горячка (*delirium tremens*)[17].

[17] См. А. Моте, *Общие соображения об алкоголизме и в особенности о ядовитом действии, производимом на человека абсентом* (Париж, 1859, in-4°).

Опьянение от спиртных напитков, как видим, очень близко к отравлению опием, при котором буйство доходит до предела и вызывает настоящий приступ острой мании[18]. Именно галлюцинации, вызванные употреблением наркотических средств, некоторые народы, живущие по древним обычаям, принимают, как известно, за сверхъестественные видения, в которых читают будущее[19].

[18] Так бывает порой и при эфирном наркозе: больной впадает в приступ гнева. Действие опьянения, как и действие вдыхания обезболивающих средств, меняется в зависимости от нервного склада человека. См. Буиссон, указ. соч., с. 230.

[19] См. об этом Гаэтано Оскулати, *Исследование экваториальной области вдоль Нило*, с. 264 (Милан, 1850). Впрочем, эти видения могут соединяться с мыслями, существовавшими прежде и относящимися к действительным вещам.

Очевидно, у пьяного человека временно нарушены умственные и душевные способности; чувства возбуждены или угнетены; мозг вместе со всей нервной системой впадает в оцепенение, парализующее часть его действий. Но в отличие от того, что

бывает при применении обезболивающих средств, некоторые умственные или чувственные способности не получают от общего возбуждения большей силы. Это волнение, которое раздражает весь организм, но не придает тому или иному чувству большей тонкости или мощи.

Воля у пьяного тоже теряет часть своей власти — сперва над мышцами, совершающими движения, затем и над самими поступками. Деятельность неодолимо подчиняется всем внутренним или внешним возбуждениям.

Итак, если гипнотизм граничит с сомнамбулизмом и каталепсией, а отравление обезболивающими средствами — с истерией, то опьянение ближе к острой мании. Все три состояния сближаются со сном, в котором видишь сны; сон этот представляет первую степень оцепенения, сопровождаемого легким возбуждением, которое проявляется у загипнотизированного, у *человека под наркозом* и у пьяного, хотя и в различных условиях и в различных формах. Напротив, в глубоком сне или во сне с очень мимолетными и неясными сновидениями всякий след возбуждения исчезает.

ГЛАВА XII. ОБ ИСКУССТВЕННОМ СОМНАМБУЛИЗМЕ, ИЛИ МЕСМЕРИЗМЕ

✦

О его сходстве с предыдущими состояниями

Теперь, когда мы установили, каков истинный характер природного сомнамбулизма и от чего зависят явления, составляющие экстаз и гипнотизм, мы можем составить себе более точное представление о том, что называют искусственным сомнамбулизмом, животным магнетизмом, или месмеризмом.

Удивительные факты, которые сообщались об этом состоянии и которые люди, слишком охотно принимавшие их на веру без проверки, сильно преувеличивали, принадлежат к тому порядку явлений, что разобран в предыдущих главах. Но прежде чем приступить к рассмотрению всего, что с ним связано, нужно сперва хорошо условиться об определении.

Месмеризм, или животный магнетизм, — выражение действительно весьма растяжимое: разные теории по очереди прилагали его к различным фактам, и это позволило скрыть перемены, через которые прошли умы, когда, пораженные необычностью состояний, о которых я говорил выше, они пытались объяснить их с помощью физики, построенной на одних догадках. В самом деле, изучая начала месмеризма, легко убедиться, что факты и учения, на которые опирались сначала, совершенно отличались от мыслей, внушенных фактами, замеченными позднее и связанными с первыми, хотя и отличными от них.

Месмер признавал под именем животного магнетизма присутствие во всяком живом существе особого свойства, делающего его способным испытывать влияние небесных тел и взаимное действие окружающих его тел. Это имя должно было напоминать о предполагаемом сходстве между указанным здесь свойством и свойствами магнита. Месмер полагал, что объясняет физико-философской теорией, основанной на умозрениях некоторых физиков, взгляды которых уже в его время считались устаревшими, те необычайные факты, которые наблюдались в опытах, о которых мы скажем ниже. Начала своей теории он излагал в двадцати семи положениях, из которых я выберу самые характерные.

Существует взаимное влияние между небесными телами, землей и одушевленными телами. — Средством этого влияния служит жидкость, повсюду разлитая и простирающаяся так, что не терпит никакой пустоты, тонкость которой не допускает никакого сравнения и которая по своей природе способна принимать, распространять и сообщать все впечатления движения. — Это взаимное действие подчинено механическим законам, до сих пор неизвестным. — Из этого действия происходят попеременные действия, которые можно рассматривать как прилив и отлив, более или менее общий, более или менее частный, более или менее сложный, смотря по природе причин, его определяющих. — Именно этим действием, самым всеобщим из всех действий природы, осуществляются деятельные связи между небесными телами, землей и ее составными частями. — От него зависят свойства материи и организованных тел. — Животное тело испытывает попеременные действия этого деятеля; и, проникая в вещество нервов, он прямо на них воздействует. — В человеческом теле он

проявляется свойствами, сходными со свойствами магнита. — В нем различаются полюсы, также противоположные, которые можно сообщать, изменять, разрушать и усиливать. — В нем наблюдается явление наклонения, как и в магните. — Действие и силу этой магнетической жидкости можно передавать другим телам, одушевленным и неодушевленным. — На опыте наблюдается истечение вещества, тонкость которого проникает все тела, не теряя заметно своей деятельности. — Действие его происходит на расстоянии, без посредства какого-либо промежуточного тела. Оно, как свет, усиливается и отражается зеркалами, гладкими предметами. Оно сообщается, распространяется и усиливается звуком. — Некоторые тела обладают свойством, противоположным животному магнетизму, и уничтожают его действие. — Эта жидкость противоположной природы также может сосредоточиваться и отражаться. — Тем не менее животный магнетизм нельзя смешивать с земным магнетизмом, действие которого он во многом напоминает, и магнит способен принимать его или пропитываться противоположной жидкостью. — С помощью магнетической жидкости можно вызывать немедленные исцеления, и благодаря ей медицина расширит поле своих знаний и получит важные усовершенствования.

Все эти умозрительные построения, с которыми соединялись некоторые мысли, почерпнутые из фактов, только что открытых благодаря изучению электричества и земного магнетизма, по существу повторяют старые учения алхимии и астрологии. Одним из первых на это указал Туре, и это признает даже один из самых восторженных учеников новой теории — честный и искренне веривший в нее Делез.

Если не считать нескольких опытов, в которых уже проявлялись некоторые факты, принадлежащие к тому порядку явлений, который открыло нам нынешнее, более полное знание экстаза, каталепсии и вообще нервных болезней, Месмер не открыл ничего нового; его широкие умозрения, которыми он брался объяснить все явления жизни и мира, если разобрать их и сопоставить с теориями, выдвинутыми до него некоторыми мыслителями, сводятся к повторению учений, от которых ко времени его появления трезвые умы давно уже отказались.

Первые следы магнетического учения обнаруживаются в сочинениях знаменитого Парацельса. Этот теософ, чьи идеи отличались крайней смелостью и который соединял некоторые положительные познания с самыми необычными мнениями, утверждал, что человек обладает по отношению к своему телу двойным магнетизмом: одна его часть притягивает к себе светила и питается ими — отсюда мудрость, чувства, мысль; другая притягивает к себе стихии и ими восполняется — отсюда плоть и кровь; что притягательная и сокрытая сила человека подобна силе янтаря и магнита; что именно этой силой *магнес* здоровых людей притягивает испорченный магнит, или хаос, больных; что магнетическая сила женщин целиком маточная, а мужчины — семенная[1].

[1] См.: Шпренгель, *Histoire de la médecine*, пер. Журдана, т. III, с. 330 и сл.

Сторонники этой системы, которую тогда называли *магнетической симпатией* и которая составила основу учения *розенкрейцеров*, были умами, столь же склонными к умозрению, как Парацельс, но не обладали даже его ученостью. К их числу надо отнести Андреаса Тентцелия, Румелия, Фарамонда, Беттрая. Кавалер Кенелм Дигби, Освальд Кролль, Бартолин, Гауман, умы

более просвещенные, хотя и принимали в основе умозрения этой школы, все же высказывали сомнения в некоторых ее положениях; к тому же они встретили грозных противников в лице искусного химика Либавия и ученого врача Зеннерта.

Большая часть идей, вышедших из теорий Парацельса и его приверженцев, нашла ревностных распространителей в лице Луазеля, Доле и Гаффареля; их успешно оспорили де Лиль и Г. Ноде; но они пустили глубокие корни в Германии, где склонность к мистицизму и иллюминатству во все времена была очень сильна. Еще в 1608 году Гоклен, или Гоклениус, профессор медицины Марбургского университета, выпустил объемистый трактат о магнетическом лечении ран[2], который наделал много шума, несколько раз переиздавался и вызвал между автором и иезуитом Роберти спор, получивший широкую огласку и окончившийся полностью в пользу последнего. Ж.-Б. ван Гельмонт, ученик Парацельса, вновь взялся за положение Гоклена и, заимствовав некоторые идеи у Ж.-Э. Бургграве, большого сторонника магнетической медицины[3], в своем знаменитом «Трактате о магнетическом лечении ран»[4] с большим жаром оспаривал Роберти. На помощь ван Гельмонту пришел Гелимонтий и в особом рассуждении[5] подкрепил его теорию новыми фактами.

---

[2] *Tractatus de magnetica curatione vulnerum*. Marburgi, 1608–1609, и Франкфурт, 1613, in-12.

---

[3] Бургграве — автор сочинения под заглавием *Lampas vitae et mortis omniumque graviorum in homine morborum index*; Lugd. Batav., 1610. Этот трактат был переиздан в 1611 году и во Франкфурте в 1629 году.

---

[4] *De magnetica vulnerum naturali et legitima curatione, contra Joh. Roberti*. Parisiis, 1621.

---

[5] *Disputatio de magnetica vulnerum curatione*.

Пока Германия была свидетельницей этих споров между продолжателями Парацельса и поборниками подлинно научного метода, в Англии выступил новый защитник теории магнетической симпатии — Роберт Фладд, автор «Моисеевой философии»[6]. Столь же приверженный умозрению, как немецкие теософы, Роберт Фладд стремился согласовать *Священное Писание* с притязаниями парацельсовой философии; он выдвинул идею первоначала, из которого выводил все остальные. Душу он считал частью этого *всеобщего*, или *кафолического*, начала и тем, как направлены лучи этого первичного деятеля, объяснял притягательную, или магнетическую, силу тел и их взаимное отталкивание. Он искал причину, от которой зависит магнетическая сила магнита, и полагал, что нашел ее в испускании лучей, которые, исходя от Полярной звезды и проникая потоками через всю землю, будто бы особенно действуют на магнит. По Роберту Фладду, у каждого подлунного тела есть своя звезда, или особое светило, и у магнита это Полярная звезда. Есть такое светило и у человека, который, будучи микрокосмом, или малым миром, наделен магнетической силой, — шотландский мыслитель называет ее *magnetica virtus microcosmica*. Эта сила малого мира подчинена тем же законам, что и сила большого: у человека есть свои полюсы, как у земли есть свои ветры, противные или попутные. Помимо действия полюсов, на малый мир непрерывно действуют два начала, которые взаимно помогают друг другу поддерживать свободу и согласие частей и отправлений, а именно *материя* и *форма*. Если два человека сближаются и испускаемые ими лучи, или истечения, отталкиваются, отражаются от окружности к центру, возникает антипатия, и в этом случае магнетизм отрицательный. Напротив, он положителен, если с обеих сторон происходит притяжение и

испускание от центра к окружности. В последнем случае передаются не только болезни и отдельные недуги, но и душевные расположения; отсюда, по Роберту Фладду, и разделение магнетизма на *магнетизм духовный*, или *нравственный*, и *магнетизм телесный*.

[6] *Philosophia mosaica*. Gouda, 1638. Amsterdam, 1640.

Английский врач утверждает, что магнетизм, как он его понимает, существует не только у животных, но и между ними и растениями и даже минералами. Сверх того он полагает, что раз тела, подобные земле и магниту, которые кажутся мертвыми, неодушевленными веществами, имеют свои полюсы, свои истечения, то тем более должен иметь их человек, или малый мир, который одушевлен.

Отец Кирхер, изложивший учение Фладда в конце своего сочинения о том же предмете[7], считает труд английского автора произведением, вышедшим из школы дьявола. Он исправил некоторые из идей, высказанных о животном магнетизме, как его тогда понимали, но и сам высказал немало ошибочных.

[7] Athan. Kircher, *Magnes, sive de arte magnetica*. Рим, 1641 и 1654; Кельн, 1743.

Во Франции магнетическая медицина имела умеренный успех; число ее приверженцев постепенно убывало. Гаффарель отказался от прежних взглядов и в 1653 году одобрил сочинение Ноде под заглавием «Апология великих людей, обвиненных в магии». Но в Германии было иначе, и это умозрительное учение продолжало находить сторонников. Рейзелий, Сервий, а в Италии Кампанелла были ревностными его защитниками; Себастиан Вирдиг, профессор медицины в Ростоке, своей «Новой медициной духов»[8] сумел вернуть этим теориям некоторую известность.

[8] *Nova medicina spirituum*, Hamburgi, 1673, in-12. Франкфурт, 1707.

В его сочинении снова находим все астрологические умозрения, соединенные, с одной стороны, с недавними открытиями астрономии, а с другой — с теорией животного магнетизма. Наконец, шотландский врач Уильям Максвелл, проникнутый идеями школы Парацельса, свел в стройное учение все умозрения магнетической медицины и полагал, что тем самым извлек из хаоса науку, которой приписывал будущие успехи врачебного искусства[9]. Когда учение было систематически изложено, Фердинанд Сантанелли свел его в афоризмы, и благодаря этим двум писателям идеи магнетической медицины распространились по всей Европе и захватили воображение многих.

[9] *Medicinae magneticae libri tres, in quibus tam theoria quam praxis continentur, auctore Guillelmo Maxwello*. Francofurti, 1679.

Между тем Герман Грабе опроверг положительными фактами теорию пересадки болезней Гелимонтия и оказал благотворное влияние[10].

[10] *De transplantatione morborum analysis nova*. Hamburgi, 1674, in-8°.

Если я дал здесь этот беглый очерк истории животного магнетизма[11], то потому, что счел его необходимым для оценки начал Месмера. Месмер, очевидно, почерпнул во всех только что упомянутых сочинениях идеи, которые выдавал за свои и развивал с пышным красноречием. Когда он вернул к жизни теорию, уже начинавшую забываться, в умах проявлялась склонность к иллюминатству: это было незадолго до Французской революции[12]; потребность в вере, столь заметная у некоторых людей, заставляла с воодушевлением принимать множество несбыточных замыслов и утопий; философия XVIII

века поколебала религиозные убеждения и тем самым оставила в душах пустоту, которую они стремились заполнить устремлениями иного порядка. Издавна присущая роду человеческому склонность к чудесному увлекла тогда немало французов к верованиям, далеким от науки, и к тому, что можно было бы назвать философскими поверьями. Месмер умело воспользовался этим настроением умов и вернул к жизни учения, которые на деле были учениями Парацельса. Парацельс же и сам черпал из книг астрологов и алхимиков, которые пытались заменить поверья о природе, отстаиваемые схоластикой, идеями столь же умозрительными, хотя и более рассудочными по форме[13].

[11] См. об этом К. Шпренгель, *Histoire de la médecine*, пер. Журдана, т. VI, с. 92 и сл.; и особенно Фигье, *Histoire du merveilleux*, т. III, с. 100 и сл., где дано превосходное изложение истории предшественников Месмера.

[12] См. об этом Мунье, *De l'Influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux illuminés sur la révolution française* (Paris, 1822, in-8°).

[13] См. мое сочинение под заглавием *L'Astrologie et la Magie dans l'antiquité et au moyen âge*, 3-е изд., с. 216 и сл.

Доказательство того, что Месмер вовсе не сам пришел к установлению явлений, на которых магнетизеры построили теорию сомнамбулизма, дает, впрочем, жизнь самого Месмера. Его первым опытом на поприще медицинского писателя была диссертация под заглавием «О влиянии планет на человеческое тело»[14] — сочинение, не имевшее никакого успеха, но достаточно ясно указывавшее, какое направление примут его идеи. Затем он занялся опытами с магнитами и, пользуясь пластинками, которые незадолго до того изобрел отец Гелль, профессор астрономии в Вене, утверждал, что получает с их помощью самые благоприятные результаты. Он приложил их во время приступа к

груди и ногам больного, и тот, по его словам, ощутил внутри болезненные токи тонкой материи, которые после нескольких попыток найти себе направление устремились к нижним частям тела и прекратили все признаки болезни. Это исцеление стало поводом к спору между отцом Геллем и Месмером: первый приписывал достигнутое действие форме своих пластинок, второй — магнетическому воздействию. Тогда Месмер продолжал опыты один и, сначала утверждая в своем «Письме к г-ну Унцеру», написанном в 1773 году, что магнетическая материя почти тождественна электрическому флюиду и распространяется, как и он, через промежуточные тела, позднее прямо объявил, что деятель, которым он пользуется, совершенно отличен от минерального магнетического флюида, и, чтобы отличить его, дал ему название *животного магнетизма*. Несмотря на недоверие, которое обычно вызывало притязание Месмера на особую способность воздействовать на человеческое тело, он тем не менее возбуждал изумление своими на вид чудесными исцелениями. О причине, к которой их следует возводить, я уже говорил в другом сочинении[15]. Подобные исцеления не могли не доставить их виновнику множества приверженцев. Однако, обвиненный в обмане и подвергаясь нападкам со всех сторон, Месмер был вынужден покинуть родину и в 1778 году отправился в Париж.

[14] *De planetarum influxu*, 1766.

[15] См. *La Magie et l'Astrologie dans l'antiquité et au moyen âge*, 3-е изд., с. 343 и сл.

Способ, которым он пользовался в этом городе, чтобы вызывать магнетические действия, как он их понимал, и который Делон перенял у него, был следующий. Круглый дубовый ящик, иначе говоря чан, высотою в полтора фута, накрывался крышкой с

несколькими отверстиями, из которых выходили подвижные изогнутые железные прутья. Эти прутья, которые Месмер выдавал за проводники магнетического флюида, держали в руках больные, сидевшие в несколько рядов, или прикладывали их к больному месту; веревка, обведенная вокруг тел, соединяла больных друг с другом; часто им велели держаться за руки, чтобы образовать вторую цепь. В глубине зала стояло фортепиано, на котором исполняли разные пьесы; этот инструмент был соединен с чаном.

Не раз уже рассказывалась история хлопот венского врачевателя о том, чтобы получить одобрение Академии наук и Королевского медицинского общества. Я не стану к ней возвращаться и за изложением этого долгого спора отошлю к сочинениям Александра Бертрана[16] и г-на Фигье[17].

[16] А. Бертран, *Le magnétisme animal en France*. Paris, 1826.

[17] См. Л. Фигье, *Histoire du merveilleux dans les temps modernes*, т. III. Paris, 1860.

Я ограничусь замечанием, что то же расхождение в оценке фактов, которое не прекращалось с тех пор, обнаружилось с самого начала. Достоверно, по-видимому, одно: Месмер избегал подвергать свой метод проверке людей, привыкших вносить в опыты самую строгую критику. В этом он лишь поступал так, как с тех пор поступали почти все, кто делал своим занятием показ магнетических чудес. Он не позволял ученым и врачам обсуждать и проверять приемы, к которым прибегал, а когда они отказывали ему в содействии, ссылаясь на отсутствие ручательств, необходимых для подобных опытов, он обвинял их в недоброжелательстве.

Мне нет нужды излагать здесь все превратности того, что можно было бы назвать магнетическим промыслом, —

превратности, которые так затемнили действительность фактов. Упорство магнетизеров, недостаток у них критики, их увлеченность, их нежелание подвергать свои утверждения обсуждению, естественно, довели недоверие до пределов, за которые ему не следовало бы выходить. Я хотел лишь установить, в каком виде эти явления предстали вначале. В руках г-на де Пюисегюра факты, которые приписывались магнетическому флюиду, вскоре преобразились, и то, что установил новый наблюдатель, служит нам доказательством, что дело шло о явлениях, весьма отличных от действий магнитов, которых искал Месмер. В самом деле, г-н де Пюисегюр уже не прибегал ни к *чану*, ни к проводникам: он действовал на больных движениями руки, и именно ему по праву принадлежит открытие магнетизирования в собственном смысле слова. Явления, которые он вызывал таким образом в своем имении Бюзанси, уже не были простыми действиями воображения, простыми откликами чувствительной или больной нервной системы на волнения, которые вызывало применение месмерова прибора. Он вызывал у некоторых людей явления, подобные явлениям природного сомнамбулизма, истерии и экстаза, — вот почему после выхода в свет его первых сочинений название сомнамбулизма распространили на состояние, которое вызывается магнетизированием руками.

Именно г-н де Пюисегюр выдвинул все те удивительные способности, которые приписывают искусственному сомнамбулизму, и большинство людей, занимавшихся после него животным магнетизмом, лишь повторяли его идеи. Единственное расхождение, возникшее между приверженцами его учения, касалось вопроса о магнетическом флюиде. Тогда как большинство признало существование особого флюида, которому приписывали действия, достигнутые магнетическими приемами,

некоторые, наблюдатели более строгие, видели в явлениях искусственного сомнамбулизма лишь особую форму того нервного возбуждения, которое отличает экстаз. Таков был, в частности, доктор Александр Бертран, один из самых просвещенных и добросовестных людей, отстаивавших действительность магнетических чудес, но скорее сузивший, чем расширивший их область.

Хотя сторонники животного магнетизма в целом сходились в определении существенных свойств сомнамбулического состояния, они не всегда прибегали к одному и тому же способу магнетизирования. Пассы и прикосновения были, без сомнения, обычными приемами; но иногда они довольствовались средствами более простыми, достаточно выдававшими роль воображения в достигнутых действиях. Одни, как аббат Фариа, магнетизировали словом, и одного слова *спите*, произнесенного громким и повелительным голосом, часто бывало довольно, чтобы усыпить пациента или по крайней мере отяжелить ему веки. Другие утверждали, что обладают способностью магнетизировать мысленно. Дальше мы увидим, что эти различные действия зависят от ослабления нервной системы, которое делает ее чрезвычайно впечатлительной и, так сказать, способной испытывать отголосок всех волнений, всех идей, сообщаемых уму, — как я показал, что это происходит у загипнотизированного.

Из предшествующего изложения явствует, насколько расплывчатым, лишенным четко определенных признаков было представление о явлениях, которые объединяли под именем животного магнетизма. Из этих явлений одни — лишь признаки истерии, каталепсии, экстаза и, следовательно, входят в разряд фактов, изученных мною выше; другие принадлежат особому

виду сомнамбулизма и потому должны стать здесь предметом особого рассмотрения.

Чтобы избежать всякого смешения животного магнетизма с явлениями сходного порядка, но возникающими самопроизвольно, без посредства приемов магнетизирования, я приму за признаки искусственного сомнамбулизма следующие факты, которые, как мне кажется, лучше всего дают понятие о том, что разумеют под этим словом, и значение которых я намерен оценить:

1) Сон, более или менее глубокий, вызванный приемом, который называют магнетизированием;

2) Частичная или полная нечувствительность, сопровождающая этот сон;

3) Повышенная чувствительность в некоторых частях тела;

4) Способность магнетизируемого вступать в связь исключительно с определенными лицами, которые к нему прикасаются или с ним говорят, и оставаться чуждым всему остальному;

5) Видения и галлюцинации, самопроизвольные мысли, в которых хотели найти дар прорицания;

6) Влияние, которое оказывает на мысли и воображение магнетизируемого тот, кто находится с ним в связи.

Достаточно простого перечисления этих различных явлений, наблюдаемых в состоянии искусственного сомнамбулизма, чтобы узнать в них те же факты, которые мы встречали в сновидении, природном сомнамбулизме, экстазе, гипнотизме, действии обезболивающих средств и душевном расстройстве. Следовательно, в животном магнетизме нет ничего совершенно нового. Приемы, к которым обычно прибегают, чтобы магнетизировать, весьма сходны с теми, которыми пользуются в

гипнотизме. Пациент должен пристально смотреть на своего магнетизера; ему велят сильно сосредоточить на нем мысль. Обычно он направляет взгляд в глаза магнетизера, то есть на блестящую точку, или же на его руки, непрерывное движение которых вскоре вызывает у него нечто вроде головокружения. Заметьте, что магнетизирующие прибегают и к блестящим предметам, а это совершенно сводит магнетизирование к средству, применяемому в гипнотизме; часто они нарочно надевают на пальцы кольца или предлагают пациенту не сводить глаз с их металлических пуговиц или булавки на рубашке. Я знал женщину, которую магнетизировали, заставляя ее долго смотреть в гладко отполированное металлическое зеркало, пока ее подвергали прикосновениям и пассам.

Действие этих разных приемов состоит в том, что они вызывают гиперемию, или полнокровие мозга, с ослаблением нервной системы, что и приводит ко сну: неподвижность взгляда переполняет кровью сетчатку, а неподвижность внимания — мозг. Доказательство тому — люди, страдающие приливом крови к сетчатке, не могут без опасности долго смотреть на какой-либо предмет. Прилив крови, сдавливая некоторые части головного мозга, вызывает нервные расстройства. Та же причина обычно порождает у девушек с расстройством месячных истерию, каталепсию, эпилепсию — смотря по протяженности и по тем частям мозгово-спинномозговой системы, которые переполнены кровью, а затем этим переполнением возбуждены. Чрезмерное внимание, которое возникает при долгом созерцании, вызывает у экстатика гиперемию мозга, а из нее проистекают расстройства того же порядка. Доктор Бейярже приводил пример молодого человека, у которого случался эпилептический припадок, как только при чтении какое-нибудь слово его затрудняло или

требовало от него больше внимания, чем обычно. То же действие может вызвать слишком сильное впечатление на сетчатку, и доктор Пьорри рассказал, что одна девушка стала страдать эпилепсией, оттого что пристально смотрела на солнце.

К этим наблюдениям я могу присоединить одно собственное. Однажды в 1862 году, будучи в Вене, в Австрии, я ощущал крайнюю тяжесть в голове от сильного приступа ревматизма, перешедшего на лицо. Я начинал впадать в какое-то оцепенение; чтобы взбодриться, я решил почитать, и притом немецкую книгу, чтобы внимание мое было занято деятельнее. Едва я попытался понять первые строки, как ощутил сильную боль в глубине глаз и гнетущую усталость, а затем меня охватило настоящее головокружение. Это длилось несколько минут; я встал; меня шатало; прекратить это недомогание мне удалось, лишь закрыв на четверть часа глаза и оставаясь в полном покое.

Сходящееся косоглазие, которое вызывает поза, предписанная магнетизируемому, довершает, как заметил итальянский физиолог Тигри, гиперемию мозга — истинную причину состояния искусственного сомнамбулизма. Впрочем, еще до него несколько врачей обратили внимание на связь, существующую между сходящимся косоглазием, эпилепсией и некоторыми нервными расстройствами.

У людей крепкого сложения, нервная система которых способна к достаточному противодействию, гипнотический прием не вызывает даже обычного сна. Но если человек уже предрасположен к неправильности кровообращения, если он страдает эпилепсией, истерией или другой болезнью, связанной с расстройством кровообращения, если он подвержен хотя бы одному из тех недугов, при которых деятельность нервной системы и крупных сосудов возбуждена, гипнотический прием

оказывает полное действие. Сосредоточение внимания приводит к тому, что эта деятельность возбуждается еще сильнее и как бы скапливается в той или иной части головного мозга — в зависимости от природы и сродства испытанных впечатлений. Часто в одной области мозга и нервной системы наблюдается гиперестезия, а в другой — анестезия; в то время как одни чувства приобретают необыкновенную тонкость, другие — например осязание и обоняние — могут быть парализованы; замечательное развитие некоторых способностей противостоит атонии соседних. Как видим, возникает совокупность фактов того же порядка, что и те, которые являются в экстазе, природном сомнамбулизме и сновидении. Память обретет чрезмерную силу, суждение, напротив, будет почти совершенно упразднено. Словом, загипнотизированный окажется полностью во власти более или менее заметного нарушения равновесия своих способностей.

Эти соображения, которые я в большой части заимствую из ученого труда доктора Томаса Лейкока[18], объясняют сходство признаков, общих гипнотизму, состоянию, вызываемому обезболивающими средствами и месмерическими приемами, каталепсии и экстазу. Поскольку нервная чувствительность у искусственного сомнамбулы значительно понижена или даже почти исчезла, понятно, как его можно колоть, щипать, как с него можно содрать кожу, а иногда даже подвергать его болезненным операциям, причем он, по-видимому, нисколько не страдает. Мышцы его расслабляются, и он совершенно походит тогда на человека, усыпленного эфиром или хлороформом.

[18] *Mind and Brain or the correlations of consciousness and organism*, т. II, с. 327.

Пока открытие обезболивающих средств и гипнотизма не установило возможность этой преходящей нечувствительности, в

ее действительности сомневались; но теперь скептицизм уже невозможен. Впрочем, анестезия — не исключительная принадлежность сомнамбулического состояния и родственных ему недугов; ее можно получить и средствами, подобными тем, которыми пользуются магнетизеры, и тоже повергающими чувства в оцепенение. Дервиши и факиры Востока непрерывными судорожными движениями, которым они предаются, без конца повторяя одну и ту же формулу, вызывают у себя состояние нервного возбуждения, которое, достигнув высшей степени, порождает нечувствительность. Это испытал на себе один мой знакомый, принявший посвящение в братство Сиди-Мухаммеда-бен-Аисы. Хуаны — так называют членов подобных братств — в разгар своих упражнений, состоящих из пения и мерных движений, сопровождаемых громкими возгласами, в которых непрестанно звучит имя Аллаха, глотают куски стекла, плоды опунции вместе с колючками и даже гвозди[19]; они проводят языком по раскаленному железу или берут его в руки, не обжигаясь; они бьют себя, доходят до того, что рассекают себе тело саблей, — как я видел своими глазами в Скутари у воющих дервишей. Это не простые фокусы, не обманные видимости, придуманные, чтобы поразить простой народ; прикоснувшись к ним, можно убедиться, что аиссауа впали в настоящее состояние анестезии.

[19] См. об этом любопытное сочинение полковника Э. де Нево под заглавием *Les khouan, ordre religieux chez les Musulmans de l'Algérie*, 2-е изд., с. 89 и сл.

Все, что рассказывают об истязаниях, которым подвергают себя благочестивые индусы, о невероятных подвигах покаяния брахманских и буддийских аскетов, также находит объяснение в состоянии анестезии. Нет сомнения, что подобная же нечувствительность у первых христианских мучеников была

действием чрезмерного нервного возбуждения, вызванного силой их религиозной веры. Разве не известно, что в пылу сражения солдат не замечает ран, которые в спокойном состоянии причинили бы ему жестокие страдания? Все это показывает, что нервное возбуждение в некоторых случаях удивительно понижает чувствительность.

Если у искусственного сомнамбулы это свойство наших нервов отчасти упразднено, если внимание ослабевает, воля притупляется, оцепенение охватывает тело, то, как видно из сказанного выше, некоторые нервные волокна, напротив, приобретают большую силу и остаются средоточием чрезмерного возбуждения — факт, который наблюдается также при применении обезболивающих средств. Искусственный сомнамбула слышит на большом расстоянии; он улавливает малейшие шорохи; одним прикосновением он распознает природу и форму множества предметов; он чувствует запахи, которые в обычном состоянии ускользают от нашего обоняния. И эта гиперестезия порождает иногда даже иллюзии, настоящие галлюцинации: сомнамбуле чудится, что он слышит и осязает вещи, которых на самом деле нет.

Зрение в высшей степени участвует в этом возбуждении, и потому-то думали, как и в случае природных сомнамбул, что видение совершается тогда иными частями тела, а не глазом. Эта гиперестезия зрительного нерва — лишь следствие возбуждения зрительного аппарата, которое, как я уже отмечал, сопровождает различные нервные недуги. Экстатики видят иногда пламя, огни, сияющие лучи, которые принимают за небесные истечения. Ямвлих, или кто бы ни был автор «Египетских мистерий» (III, 6), сообщает, что ищущие достигнуть божественного созерцания часто видят нечто вроде пламени. Те же факты наблюдались и у

сомнамбул. Жозефина Дюло, сомнамбула г-на Теста, видела все предметы освещенными, а ученый приверженец магнетизма г-н Шардель принял подобные зрительные иллюзии за видимое проявление магнетического флюида. Поскольку вся нервная система находится в постоянном возбуждении, сочувственные связи между различными нервными сплетениями становятся сильнее, и сомнамбула предполагает тогда, что предметы, которые он видит, действуют на нервы, далекие от зрительного. Работа одного чувства вызывает сочувственные ощущения в нервах желудка, лба, рук и т. д., что содействует иллюзии, которую к тому же поддерживают предубеждения магнетизеров.

Месмеризованный сосредоточивает все свое внимание на определенных предметах, с которыми он непосредственно связан. Ибо, с одной стороны, ослабление нервной системы притупляет ощущения, которые могли бы отвлечь его от того, что его занимает, а с другой — вся нервная сила скапливается в возбужденных нервах. Таким образом, искусственный сомнамбула отчасти оцепенел, а отчасти возбужден. Именно это происходит при природном сомнамбулизме и при экстазе. Однако магнетизированный обычно остается менее чуждым окружающему, чем человек, поглощенный экстатическим созерцанием, или лунатик, и его состояние в некоторых отношениях ближе к *somniatio*.

То, что отец Доменико Пино рассказал об одном сомнамбуле, которого он наблюдал и который впадал в своего рода *somniatio*[20], в самом деле замечательно напоминает то, что наблюдается у искусственных сомнамбул. Это был студент богословия из Милана, двадцати пяти лет. Он переходил от сомнамбулического состояния, в котором вел весьма разумные беседы, к коматозному состоянию с нечувствительностью, длившемуся лишь несколько

минут, а затем снова возвращался к сомнамбулическому приступу. Он слышал не только тех, кто был с ним в связи, но и всех, кто к нему обращался.

[20] См. *Discorso sopra un sonnambolo maraviglioso, del P. Maestro F. Domenico Pino* (Milano, 1770, in-4).

Понятно поэтому, как легко магнетизированные вступают с теми, кто с ними говорит или к ним прикасается, в более тесную связь, в более близкое общение. Обостренное осязание позволяет им к тому же, взяв собеседника за руку, лучше угадывать волнения, которыми он охвачен, чувства, которые им движут. Сомнамбула отца Пино, когда писал, руководствовался, таким образом, гораздо больше осязанием с помощью памяти, чем зрением, что, впрочем, порой приводило его к странным ошибкам: например, если сдвигали его стул, он, вместо того чтобы обмакнуть перо в чернильницу, погружал его в любой другой предмет, стоявший на том расстоянии, где прежде была чернильница[21].

[21] Подробности, отмеченные братом-проповедником о миланском сомнамбуле (с. 30 и сл.), утвердили меня во мнении, которое я высказал в Медико-психологическом обществе еще до того, как прочел его *Discorso*: сомнамбула не всегда различает вещи на самом деле, порой он видит их просто в своей мысли и тогда может держать глаза закрытыми. Две гипнагогические галлюцинации, которые я испытал с небольшим промежутком, провели перед моими глазами строки письма на светлом фоне; иллюзия держалась так долго, что я мог их перечитать. Из этого я заключил, что сомнамбулическое состояние, оживляя память, позволяет внутреннему глазу, умственному глазу, если можно так выразиться, видеть то, что он себе представляет, как внешнее письмо, как вещь вне его. Так иногда читают во сне. Помню, что и у меня бывали такие сны, что я даже прочитывал целые страницы книг, которые прежде читал наяву. Сомнамбула, который пишет письмо и перечитывает его, может, следовательно, не всегда видеть на самом деле то, что начертала его рука, а заново видеть, как я в своих гипнагогических галлюцинациях, собственное сочинение. И действительно, отец Пино сообщает нам, что его сомнамбула не направлял глаз на бумагу, на которой писал, и строки его часто были неровны и спутаны, что он писал с завязанными глазами и видел иногда в своем кабинете то, что, по его

мнению, там находилось, а между тем было оттуда унесено. Картон, поставленный между глазами и бумагой, не мешал ему писать, и в некоторых случаях, не чувствуя, что дошел до конца страницы, он продолжал писать по столу. Память, оживленная до того, что делает предметы присутствующими перед умственным взором, и обостренное осязание явно помогают лунатику в его прогулках в темноте: ведь он ударяется или падает, если наталкивается на предметы, о которых не знает, что они на его пути. Пораженный этими фактами, отец Пино предлагает то же объяснение, к которому я пришел на основании собственного опыта. Заметим еще в подкрепление этого объяснения, которое учитывает то, чего гиперестезия не всегда могла бы объяснить, что природный сомнамбула в своих приступах чаще всего повторяет обычные действия бодрствования, все составные части которых доставляет ему память; так же бывает и в сновидении. Лукреций сказал:

In somnis eadem plerumque videmur obire;
Causidici caussas agere et componere lites,
Induperatores pugnare et praelia obire,
Nautae contractum cum ventis cernere bellum.
. . . . . .
Cetera sic studia atque artes plerumque videntur
In somnis animos hominum frustrata tenere.
Lib. IV.

Перехожу теперь к тому разряду явлений, который больше всего дал пищи вере в чудесное.

Мы видели, что в состоянии, вызванном вдыханием обезболивающих средств, так же как в сновидении и экстазе, человек целиком поглощен созерцанием собственных идей, которые предстают тогда его уму как внешняя действительность. То же происходит и в магнетическом состоянии. Этот искусственно вызванный сон сопровождается оживлением идей, превращением мысли во внешние ощущения, которые сомнамбула обычно принимает за действительность: он видит, обоняет предметы, слышит звуки, соответствующие его собственным представлениям; у него бывают настоящие сны или

галлюцинации; ибо здесь, поскольку сон в том смысле, как мы его определяем, не наступает и месмеризованный остается наполовину бодрствующим, сновидения сливаются с галлюцинациями в собственном смысле. Один из самых убежденных и самых просвещенных защитников сверхъестественных явлений, приписываемых сомнамбулизму, генерал Нуазе, сам признает («Записка о сомнамбулизме», гл. VI), что видения сомнамбулы часто лишь игра его воображения, а факты, приведенные в приложении к его сочинению, чтобы доказать, что магнетизированный может видеть задним числом, что делал человек, вступающий с ним в общение, достаточно показывают, что его наводят на след вопросы, которые ему задают; природная догадливость и воображение довершают остальное. Я сам не раз убеждался, что если спрашивающий вводит сомнамбулу в заблуждение, тот решительно устремляется вслед за ложно подсказанными ему мыслями. Однажды у доктора М... я спросил одного сомнамбулу, что я делал утром; после долгих колебаний он сказал мне, что я был в ратуше, — это было неверно. Я, однако, ответил так, как будто это было правдой. Тогда сомнамбула принялся описывать мне, что я видел, и его описания довольно точно соответствовали расположению мест, куда, по его предположению, я ходил. В другой раз я проделал тот же опыт с известным Алексисом; результат был тот же. Он подробно рассказал мне то, чего я вовсе не делал, потому что я дал ему поверить, будто он угадывает верно. Почти все, кто обращается к сомнамбулам, совершают ошибку, помогая своими указаниями и поправками их ответам, — вот почему им обычно удается наводить их на верный след.

Но если и в бодрствовании такой способ расспросов облегчает природную догадливость, то для сомнамбулы помощь, которую

оказывают эти указания, гораздо важнее. Мы видели, что человек, находящийся возле спящего, может вызвать у него тот или иной ряд снов, подвергая его тем или иным внешним впечатлениям. У сомнамбулы таким образом еще легче направить мысль на определенный ряд фактов и пробудить в уме определенные образы. С ним говорят, приковывают его внимание, окружают всем, что способно породить идею, внутреннее видение которой хотят ему сообщить. Сохраняя способность понимать, что ему говорят, — лишь бы между ним и собеседником была установлена прямая связь, — месмеризованный находит в обращенных к нему словах как бы пищу для своих видений; но они, как и сны, не могут нарисовать ему картину далеких вещей, открыть ему неизвестные ему факты; они лишь развертывают перед очами его ума то представление, которое он о них имеет. Хотят, например, мысленно привести его в какую-нибудь местность — он описывает вам ее такой, какой себе ее воображает, а не такой, какова она есть, если он прежде в ней не бывал или если, сам того не зная, руководствуется неточными описаниями, неверными изображениями, встреченными в книгах, гравюрами, картинами, рисунками. Видно, следовательно, что сомнамбула действует в точности как сновидец и экстатик.

Однажды ночью мне приснилось, что я вижу город Нью-Йорк и хожу по его улицам вместе с другом. Когда я проснулся, воспоминание об этом сне было очень живо в моей памяти; у меня еще стояли как бы перед глазами общий вид города и вид одной из его площадей. Днем я отправился на бульвары, где, как я знал, в витрине торговца гравюрами был выставлен вид большого американского города, поразивший меня за несколько недель перед тем. Там я нашел образ моего сна; но на этой панораме, неизбежно сильно уменьшенной, мне не удалось узнать большую

площадь, по которой, как мне казалось, я гулял с другом. Я долго рылся в памяти и наконец вспомнил, что площадь эта, должно быть, главная площадь Мехико, превосходный рисунок которой я некогда видел в Берлине. Вскоре после того я получил тому положительное доказательство, случайно наткнувшись на гравюру в одном сочинении, где эта площадь была изображена.

Итак, я смешал во сне воспоминание о двух рисунках и, думая, что нахожусь в Нью-Йорке, где никогда не бывал, отчасти представлял себе Мехико. Разумеется, если бы я не позаботился установить это смешение и если бы был склонен приписывать своим снам характер ясновидения, я вообразил бы, что совершил мысленное путешествие в Соединенные Штаты.

Подобные ошибки часто случаются у сомнамбул, только на них не обращают внимания; проверки, подобные тем, что сделал я, очень скоро обнаружили бы чисто воображаемое происхождение их видений. Вот доказательство. Одного человека, которого магнетизировали у моего знакомого, мысленно привели в Париж; сам он находился тогда более чем в пятидесяти лье от столицы. Тем же способом его повели во Французский театр; он описал не только зал, но и пьесу, которая, по его словам, там в ту минуту шла. Когда позднее проверили, оказалось, что как раз в тот день во Французском театре спектакля не было; описание зала к тому же было неточным. Очевидно, магнетизированный, в добросовестности которого нельзя сомневаться, думал, что видит игру актеров, и представлял себе зрительный зал совсем не таким, как во Французском театре. Каликст, сомнамбула, о котором много говорили, на мой вопрос о городе Алжире, который я знаю очень хорошо, дал мне его описание, в котором легко было узнать не отчет о действительных зрительных

впечатлениях, а несколько смутное воспоминание о том, что он мог о нем узнать.

В магнетическом состоянии, как и в сновидении, тему видениям доставляет воспоминание; именно оно, оживленное, служит уму рамкой, в которой он располагает наполняющую его череду вымышленных представлений, — а доверчивые слушатели спешат сблизить их с действительными фактами и кое-как согласовать с вопросами, заданными сомнамбуле.

Пока спрашивающий старается найти в ответах известные ему факты, он не замечает, как я уже говорил выше, что сам удивительно помогает сомнамбуле своими словами; он как бы берет его за руку, чтобы провести сквозь туманы его сна в места, которые хочет заставить его посетить духом, чтобы подвести к предмету, который нужно угадать.

Экстатик так же переносится мысленно в местности, которые рисует ему воображение[22]; он думает, что присутствует при сценах, которые возникают в его воображении и которые подсказаны ему размышлениями или чтением. Так сестра Анна Катарина Эммерих видела себя в Иерусалиме присутствующей при событиях Страстей Господних, святая Гертруда переносилась на небо к Спасителю, а множество других духовидцев верили, что вступают в общение с Богом.

---

[22] См. то, что я говорю об этом в *La Magie et l'Astrologie dans l'antiquité et au moyen âge*, 3-е изд., с. 363.

Все эти видения, впрочем, носят отпечаток характера, идей, забот экстатика или сомнамбулы; поэтому они тем больше похожи на действительность, чем точнее его понятия о вещах, которые он себе представляет.

Г-н А. С. Морен в превосходном сочинении под заглавием «О магнетизме и тайных науках»[23], которое я настойчиво советую

прочесть, очень верно уловил истинный характер того, что называют сомнамбулическим предвидением. Привожу его слова:

[23] Paris, J. Baillière, 1860, in-8°, c. 277.

> «Эта способность предвидения, существующая у всех людей в большей или меньшей степени, может необыкновенно развиваться у некоторых лиц, особенно под действием обстоятельств, производящих возбуждение мозга. У многих сомнамбул умственные способности достигают большой силы, развивается поразительная ясность. Тогда-то способность предвидения намного превосходит обычный уровень и дает результаты, в которые трудно поверить».

Но не будем забывать: природная проницательность не всегда бывает плодом опыта, терпеливого и долгого наблюдения; это врожденный дар ума, как филологическое чутье, позволяющее с первого взгляда уловить смысл темного текста, как математический гений, позволяющий постигать соотношения линий и чисел, которых большинство людей не заметило бы даже после долгих размышлений. Бывает чутье на события, как бывает чутье на характеры и на вещи; оно может развиваться упражнением, но одним упражнением не достигается. Иной с первого раза больше прозревает будущее, чем другой, годами стремящийся проникнуть в его тайну.

Поскольку природное предвидение есть способность, легко понять, что особые состояния мозга могут облегчать и расширять ее действие. Магнетическое воздействие лишь вызывает такие состояния.

Я мог бы опереться еще и на некоторые философские доводы, чтобы отвергнуть возможность подлинно пророческой способности в сомнамбулическом состоянии; но они, вероятно, не

удовлетворили бы тех, кто допускает возможность особых состояний, в которых душа вступает в общение с бесконечным и до известной степени причастна божественному предведению. Впрочем, мне достаточно сослаться здесь на то, что говорит г-н Альбер Лемуан в своем сочинении «О сне»[24].

[24] *Du sommeil au point de vue physiologique et psychologique*, с. 330.

Магнетизированный находится в состоянии полной умственной пассивности; он не обращается на самого себя; ослабление суждения не позволяет ему заметить, что он сам творец своих галлюцинаций. Вот почему ему кажется, что все, что самопроизвольно приходит ему на ум, доставлено извне или есть действие пророческой и сверхъестественной способности. Он придает значение предсказаний мыслям, которые внезапно возникают в его мозгу, подобно тому как у народов на заре их истории прорицатель принимает свои сны за откровения.

Если бы собрать все несбывшиеся пророчества сомнамбул, все ложные вести, которые они сообщали, все ошибочные советы, которые они давали больным, стало бы видно, сколь мало оснований у приверженцев животного магнетизма утверждать, что их приемы открывают будущее нашему любопытству[25]. Здесь нашлось бы столько же разочарований, сколько приносили сны тем, кто искал в них откровения будущего. Я знаю, что собрано множество свидетельств, доказывающих пророческий характер, который в некоторых случаях может принимать сон, и показывающих, что он бывает иногда одной из форм предвидения, предчувствия[26]. Г-н К. А. Шернер привел в своем сочинении[27] несколько таких снов и попытался дать им психологическое объяснение. Но при их рассмотрении следовало бы поступать так же, как поступали со многими другими

мнимыми чудесами: прежде чем придумывать объяснение, нужно было сначала хорошо их удостоверить, — а теперь это уже невозможно. К тому же, если сопоставить небольшое число этих фактов, достоверность которых часто сомнительна и о которых сообщали люди доверчивые и не склонные к проверке, с бесчисленными вымыслами наших повседневных снов, можно убедиться, что здесь лишь случайные совпадения или действие предчувствия, вызванного естественными причинами. Заметим, что теперь, когда вера в сны исчезла, пророческие сны приводят лишь изредка, тогда как древность сообщила нам их великое множество[28]; это доказывает, что во всем этом больше сказывалась вера, чем наблюдение. «Accidunt somnia talia vaticinium habentia, — пишет Альберт Великий[29], — quibuslibet hominibus indifferenter et non accidunt viris prudentissimis et optimis». Не будем забывать к тому же, что обычно нам снится то, что нас занимает. Эта озабоченность может существовать, так сказать, без нашего ведома. Деятельная, очень занятая жизнь часто мешает нашему уму останавливаться на размышлениях или тревогах, которые, однако, приводят в движение некоторые волокна нашего мозга. Воля, направляя наши мысли, изгоняет из ума эти частные заботы; но во сне воля уже не действует или действует лишь слабо, и ум тогда целиком отдается инстинктивным и непроизвольным побуждениям. Заботы в этом случае вновь берут свое, и чувства или мысли, которые волновали наш ум без нашего ведома, проявляются свободно и приобретают тем больше силы, что сон придает им видимость внешней действительности. Во сне видят смерть тех, за чью жизнь давно втайне тревожатся. Встречают друзей, долгое отсутствие которых делало желание увидеть их еще сильнее и которые вскоре, нередко именно по причине этого отсутствия, должны вернуться

к вам; узнают об исполнении своих желаний, об успехе готовившегося предприятия или о крушении надежд, хрупкость которых предвещали разные признаки. Видят людей, которых, как думали, никогда не видели, а между тем встречали, но чьи черты или портрет поразили нас без нашего ведома[30].

[25] См. об этом сочинение г-на Мабрю под заглавием *Les magnétiseurs jugés par eux-mêmes* (Paris, 1858). Скажу, однако, что почтенный автор этого сочинения, по-видимому, зашел в недоверии слишком далеко, в чем можно было упрекнуть уже гг. Дюбуа (Амьенского) и Бюрдена за их *Histoire académique du magnétisme animal*. Последователи Месмера и Пюисегюра своими преувеличениями вызвали поворот во взглядах на магнетизм, и многие врачи поддались тогда систематическому скептицизму, столь же мало философскому, как и доверчивость, с которой они хотели бороться.

[26] См. об этом: Делез, *Mémoire sur la faculté de prévision, suivi de notes et pièces justificatives recueillies par Mialle* (Paris, 1836).

[27] *Das Leben des Traums*, с. 322 и сл.

[28] К снам можно приложить то, что Сольс-Таванн писал в XVI веке о явлениях умерших: «Великие злоупотребления были в том мнении, которое хотели внушить народу, будто возвращаются умершие или демоны являются людям. Многие люди Церкви тут сильно повинны, ибо притворно уверяли, что души порой возвращаются, — для того, чтобы родные, полагавшие, что те мучаются, делали пожертвования ради их избавления. Доказательство этого злоупотребления в том, что пятьдесят лет назад эта вера была так сильна в умах людей, что — то ли от страха, который они испытывали, то ли из-за тех, кто изображал духов, — мало находилось людей, которые не говорили бы, что видели и слышали их, и не однажды, а многократно. Теперь, когда люди стали проницательнее и споры о вере дальше отодвинули злоупотребления, из пятидесяти не найдется ни одного, кто сказал бы, что видел или слышал души упомянутых умерших или духов. И что еще больше обличает злоупотребление — лютеране и гугеноты, которым следовало бы мучиться ими больше всех и которые в них почти не верят, вовсе их не видят; на это можно возразить, что, поскольку они вне Церкви и как бы погибшие, духи им не являются; напротив, именно им добрые духи должны были бы являться, чтобы вернуть их на истинный путь, или, если дружба сохраняется и вне этого мира, видения умерших родных служили бы к их увещанию, если бы те могли возвращаться». (*Mém. de Gaspard de Saulx-Tavannes*, т. I, с. 435–436, изд. Петито.)

[29] *De somno et vigilia*, tract. II, cap. VII, c. 107, ap. *Oper.*, т. V.

[30] Ср. сказанное мною выше. Именно таким обстоятельством, вероятно, можно объяснить, как Жанна-Франсуаза де Шанталь увидела во сне священника, которого ей предстояло избрать своим духовником, когда она вступила на путь благочестивой жизни. Мысль и образ святого Франциска Сальского, который собирался приехать проповедовать в Бургундию, где она жила, уже без ее ведома пребывали в ее воображении, и, впервые увидев благочестивого епископа, она узнала черты, которые уже показало ей какое-то изображение, но которые она забыла.

Все эти причины располагают нас естественным образом предчувствовать то, что должно случиться, и так объясняется пророческий характер некоторых снов, который столь сильно поражал древних. Отсюда же и знаменитое пророчество Казота, переданное Лагарпом, и то, что содержится в песне, называемой «Тюрготиной». Многие прозорливые умы предвидели тогда перевороты и бедствия, к которым приведут теории XVIII века, принятые столь многими людьми скорее с воодушевлением, чем с благоразумием, и соединенные с множеством ложных и опасных идей. Один знакомый мне офицер, воображение которого, как все знали, было занято будущей войной с Россией, увидел во сне в 1852 году, что его послали сражаться с русскими в Турцию и что он погиб на этой войне. Этот сон сбылся несколько лет спустя. Вот пример предвидения, который чрезвычайно поразил бы наших отцов и в котором, однако, нет ничего, кроме естественного. Пусть поищут причины снов, слывущих пророческими, — и убедятся, что у тех, кому они снились, прежде была озабоченность событиями, к которым эти сны относились; признают, что предчувствие основывалось на догадках разумных, хотя и инстинктивных.

К сожалению, авторы, у которых записаны эти пророческие сны, не позаботились собрать сведения, позволяющие нам судить

об их истинном характере, ибо записывать их побуждала любовь к чудесному.

Эти соображения применимы и к предвидению, которое приписывают сомнамбулам, к их предполагаемой способности интуитивно узнавать о том, что происходит вдали от них. Я не говорю, разумеется, обо всех уловках, к которым прибегают мнимые сомнамбулы, люди, извлекающие доход из занятия магнетизмом; я занимаюсь лишь немногими, кто вносит в свои опыты полную добросовестность.

У искусственного сомнамбулы, как и у сновидца, идеи, которые самопроизвольно и с чрезвычайной живостью являются уму, — следствие забот, волновавших его в бодрствовании и оставивших в мозгу остаток возбуждения. Так же бывает иногда и при природном сомнамбулизме.

В магнетическом, сомнамбулическом состоянии и даже в простом сне возникает более или менее смутное чувство времени, длительности. Это чувство, впрочем, имеет тот же характер, что и в бодрствовании, и проявляется тем отчетливее, чем менее глубоким было размышление, чем менее полным погружение в определенные идеи. Если беседа нас пленяет или увлекает, если зрелище нас очаровывает, если наше внимание сильно приковано умственной работой, время течет, так сказать, незаметно для нас. Поскольку ум в такие минуты не обращается на самого себя, что позволило бы ему оценить протекшее время, длительность воспринимается лишь несовершенно. Если же, напротив, мы вполне свободны соотносить каждое свое действие с фактами, которые измеряют его длительность, мы оцениваем время гораздо точнее. Животное, которое, конечно, не предается глубоким размышлениям и внимание которого обычно так же

подвижно, как у ребенка, часто обнаруживает точное чувство времени.

У меня есть кот, который прекрасно знает часы еды и довольно точно определяет, когда вернется с рынка служанка, которая готовит ему пищу. У одного из моих братьев была собака, которая почти с точностью до минуты знала час, когда он отправлялся на службу, куда она обычно за ним следовала, и которая ровно в четыре часа пробуждалась от сна и собиралась вернуться домой с хозяином. Волки, хищные звери отлично знают, в какое время дня на луг выйдут стада, на которые они замышляют напасть. Лошадь, которую каждый день прогуливают в определенный час, начинает знать с точностью до нескольких минут время, когда ее выведут из конюшни. Подобные факты отмечаются ежедневно; они принадлежат к разряду явлений привычки. Час, назначенный для еды, прогулки, работы, вызывает у некоторых органов потребность в отдыхе или в перемене рода деятельности по истечении определенного времени. Голод напоминает нам о часе еды, а усталость говорит, что привычный урок окончен. Также и привычка, как заметил Александр Бертран, приводит к тому, что мы просыпаемся в определенный час и нам не нужно время от времени прерывать сон, чтобы удостовериться, сколько мы проспали. Если же эта привычка еще не приобретена, мы, как я только что говорил, можем сознавать время лишь в ущерб вниманию, уделяемому нашим занятиям; нам придется через определенные промежутки проверять сравнением, сколько времени уже прошло. Человек, еще не привыкший просыпаться в определенный час, спит несовершенным сном и просыпается за ночь несколько раз.

Люди неодинаково способны приобрести эту привычку. Некоторые не приобретают ее никогда. Другие, напротив,

усваивают ее быстро, сильно думая перед сном о том, что надо проснуться в такой-то час. Вероятно, эта забота мешает всем частям мозга одинаково оцепенеть и располагает чувства воспринимать малейшие ощущения, способные дать нам знать, что настал час пробуждения.

Следовательно, чувство времени, наблюдаемое у природных и искусственных сомнамбул, вовсе не доказывает, что они обладают интуитивной способностью[31]. Сомнамбула предсказывает час, когда выйдет из приступа, длительность болезни, которой он страдает и которая осложняет сомнамбулический припадок, — так же как спящий, если он привык просыпаться в один и тот же час, может, ложась отдыхать, сказать вам, когда проснется.

---

[31] Генерал Нуазе (*Mémoire sur le somnambulisme*, с. 161 и сл.) уже справедливо сблизил чувство времени во сне с тем, которое обнаруживают сомнамбулы.

Нервные недуги, часто связанные с разными формами сомнамбулизма, в своих приступах обычно периодичны, — вот что объясняет примеры предвидения продолжительности приступов, о которых сообщали авторы и в которых видели действие пророческой способности. Сомнамбула доктора Месне так же весьма точно предсказывала продолжительность своих истерических припадков[32]. К тому же легко понять, что природные сомнамбулы могут, сами того не сознавая, судить по некоторым признакам о скором наступлении или прекращении приступа, как это бывает у некоторых каталептиков, по наблюдению доктора Фавро[33]. Это факт естественного предвидения, подобный тому, какой являют больные, предсказывающие свой близкий конец. Такое предвидение основано на смутном чувстве разрушения, совершающегося в организме[34]. Следует отметить еще, что, поскольку нервное возбуждение делает организм гораздо чувствительнее к

некоторым впечатлениям, лишь слабо действующим на нас в здоровом состоянии, ощущение внутреннего недуга, того, что можно было бы назвать вызреванием смерти или приступа, должно быть отчетливее[35].

[32] См. о чувстве времени у некоторых больных истерией любопытное наблюдение доктора Латура, приведенное г-ном Геританом в докладе Орлеанскому обществу физических наук. Алекс. Бертран, *Traité du somnambulisme*, с. 128 и сл. Множество врачей со времен Аретея устанавливали возможность предвидения при разных болезнях.

[33] *Thèse sur la catalepsie*, с. 42.

[34] См. об этих предчувствиях *Revue britannique*, 6-я серия, т. XXVII, с. 27, 28. Делез, *Mémoire sur la faculté de prévision*, с. 151.

[35] См., что сообщается об одной душевнобольной, которая предсказывала приближение гроз, *Revue britannique*, 5-я серия, т. V, с. 119.

Но как бы ни объяснять способность оценивать время, достоверно, что она существует у человека в разной степени; следовательно, в некоторых болезненных состояниях она может быть усилена или ослаблена. Доктор Рек и другие врачи установили, что у человека, принявшего гашиш, это чувство в большой мере упразднено. Одному человеку, которому дали этот состав, казалось, например, что он прожил три тысячи лет[36]. Во сне, если чувство времени иногда и сохраняется, обычно оно стирается совершенно. Несколько ночей назад мне снилось, что я путешествую по Португалии, где никогда не бывал, и мне казалось, что это путешествие длилось несколько месяцев.

[36] См. *Annales médico-psychologiques*, т. XII, с. 34.

Впрочем, факты, о которых я только что напомнил, следует принимать лишь с крайней осторожностью, ибо не все записанные случаи одинаково достоверны. Нельзя, однако,

отрицать, что у некоторых сомнамбул бывает предвидение того, сколько продлится приступ или недуг; но сказанное мною показывает, что тут дело в чем-то ином, нежели пророческая способность. Добавим, что воображение, играющее столь большую роль в нервных недугах, удивительно способствует согласию событий с представлениями, которые составляют о них себе больные; эти представления, возникшие у них совершенно самопроизвольно, кажутся им настоящими откровениями и влияют на их дальнейшее состояние гораздо сильнее, чем простые мнения.

Инстинкт лекарств, о котором было столько шума, не может служить доводом в пользу сверхъестественного происхождения сомнамбулического состояния — так же как предвидение времени или существование пророческой способности.

Прежде всего, достоверно, что расчет и корысть превратили во врачей, будто бы наделенных врожденным знанием, сомнамбул без всякой подготовки, которые дают совершенно несообразные советы и ответы которых показывают, что им чужды всякие понятия о физиологии и лечении. Что лекарства, предписанные этими мнимыми целителями людям, заранее к ним расположенным или доверчивым, иногда оказывали хорошее действие, — в этом нет ничего удивительного: известно, какое влияние оказывают вера и воображение на течение болезни.

Большинство тех, кто обращается за советом к сомнамбулам, к тому же страдают нервными недугами, то есть именно тем родом болезней, на который воображение действует сильнее всего.

Если отбросить случаи, запятнанные обманом, — а они встречаются тысячами, — не найдется ничего, что можно было бы привести в доказательство предполагаемого инстинкта болезней, кроме нескольких ответов, соответствующих действительному

болезненному состоянию обратившегося. Но эти ответы в конце концов лишь выражают мнение, которое составляет себе сомнамбула о природе недуга, о котором его спрашивают. Ознакомившись с несколькими их ответами, я мог убедиться, что это не что иное, как рассказ о видениях, относящихся к искомой болезни, которой живо занято воображение сомнамбулы. Эти видения, смотря по медицинским познаниям магнетизированного и по точности его природного распознавания, более или менее согласуются с действительностью.

«Сомнамбулы, — пишет доктор Ростан, которого нельзя упрекнуть в недоверии к животному магнетизму, — уверяют, что видят внутренность тела. Неоднократные исследования, которые я проводил в этом отношении, вполне доказали мне, что они делают усилия, чтобы разглядеть свои органы; эти исследования убедили меня, что они испытывают некоторые внутренние ощущения, но я никогда не получал ничего, кроме совершенно ложных или по меньшей мере весьма ошибочных описаний. Крайне редко бывает, чтобы сомнамбулы, даже очень ясновидящие, хотя бы приблизительно видели свою внутренность. У большинства лишь нелепые представления, похожие на пустые сны, и только».

Итак, в магнетическом состоянии нет ни предвидения лекарств, ни зрения внутрь больного тела, а есть простая галлюцинация, сон, в котором сомнамбула видит то, что воображает. Если он представит себе нечто сходное с недугом, которым страдает обратившийся, — и притом по указаниям, которые ему дают, — он будет иметь вид человека, действительно угадывающего природу болезни. Если же он, сверх того, обладает некоторыми познаниями в лечении, он может иногда назначить действенные средства. Ибо следует заметить, что он всегда

держится проторенных путей известного лекарствоведения, и доказательство того, что у него нет никакой врачебной интуиции, в том, что ни один сомнамбула не открыл новых специфических средств.

Впрочем, в своих ответах магнетизированный почти всегда подчиняется влиянию идей, которые ему внушает магнетизер, и это приводит меня к самому чудесному из явлений, которые приписывались искусственному сомнамбулизму, — к передаче мыслей.

Я уже отмечал выше, что применение приемов гипнотизирования обычно ведет к заметному ослаблению воли и подрывает способность суждения. Загипнотизированный впадает в состояние в некотором роде пассивное[37], весьма сходное с тем, какое мы видим в некоторых случаях душевного расстройства; он уже не противодействует впечатлениям извне или, противодействуя им очень вяло, почти всегда подчиняется их власти. Лишенный произвольного волеизъявления, если позволено так выразиться, или, если угодно, обдуманной воли, пациент почти не имеет иных идей, кроме тех, которые сообщают ему впечатления, которым он подвергается, или прямо слова собеседников; помимо этого, он пребывает в своего рода оцепенении ума — состоянии, которое наблюдается у некоторых душевнобольных и у больных кретинизмом[38]. Тогда наступает своего рода завороженность, которую первым изучил врач Дж. Брейд и любопытные примеры которой дали опыты г-на Филипса. «В состоянии, в котором находится пациент, — пишет первый, — его внимание сосредоточивается на всякой идее, которая ему представляется или которую ему внушают. Кроме того, внушения могут сообщаться либо произносимыми словами, либо чувственными впечатлениями, производимыми на орган

того или иного чувства, ибо ум естественно устремляется к затронутому месту, и тогда пробуждаются связанные с ним идеи, соответствующие отправлению возбужденного органа. Пациент в этом случае в высокой степени откликается на внешние влияния. Всякую идею, которую ему внушают словом или тоном голоса, он мгновенно схватывает и истолковывает так, что кажется, будто он повинуется своего рода интуиции или вдохновению»[39].

[37] См., что говорит г-н Филипс о том, что он называет пассивным состоянием, в своем сочинении под заглавием *Électro-dynamisme vital, ou les relations physiologiques de l'esprit et de la matière* (Paris, 1855, с. XXI и сл. и 299). Впрочем, автор слишком расширил область анализируемых им явлений и сильно преувеличил их значение и действие.

[38] См. об этом мою статью в *Revue des Deux Mondes* от 1 января 1861 года о вырождении человеческого рода и о кретинизме в особенности.

[39] *Magic, witchcraft, animal magnetism, hypnotism and electro-biology*, 3-е изд., с. 60.

Загипнотизированный верит тому, что ему говорят, потому что обращенное к нему слово, сделанный ему знак, или, лучше сказать, выраженная таким образом идея производит на его воображение, на его ослабленный ум такое впечатление, что он уже не может избавиться от его действия. Переданная идея вызывает внутреннее ощущение, неотделимое от самой мысли об этом ощущении; а вследствие атонии нервной системы это вызванное ощущение, которое в обычном состоянии было бы лишь слабым, проявляется с такой же силой, как действительное ощущение, так что действует на ум совершенно так, как если бы тело испытало то, мысль о чем третье лицо лишь внушило уму.

Вы говорите, например, загипнотизированному: «*Ты не сможешь открыть рот*». Вы повторяете эти слова громко и несколько раз, чтобы сильно поразить его воображение, чтобы привести в сотрясение те части его мозга, которые участвуют в

восприятии этой идеи. Мысль о том, что он не может открыть рот, тогда сильно овладевает умом пациента и неизбежно сопровождается воспроизведением, или легким отзвуком, ощущения, которое мы действительно испытали бы, если бы не могли открыть рот[40]. То же явление происходит у ипохондрика: одна мысль о недуге, о страдании заставляет его испытывать их. Он ощущает боли, причина которых не болезнь органа, а воспроизведение, оживление восприятия, которым сопровождается всякая идея. Внимание, сильно обращенное на орган, который хотят поразить недугом, мнимым параличом, еще усиливает это действие, ибо внимание вызывает прилив крови к той части тела, на которой оно сосредоточено. Когда кровь легко приливает к органу, гораздо легче одной мыслью пробудить в нем боль. Так, я много раз замечал, что одна мысль о чтении очень мелкого шрифта вызывает у меня ощущение усталости в глазах. Всякий замечал, что мысль о зевоте вызывает зевоту, а мысль о вкусном блюде заставляет испытывать начало вкусового ощущения. В Средние века, да и теперь еще в наших деревнях, молодой супруг, веривший, что на него навели порчу — *завязали шнурок*, — оставался по действию такого рода холоден и бессилен возле молодой жены. Понятно, впрочем, что вследствие нервной реакции внимание, беспрестанно обращаемое на орган, может внести в него расстройство и породить в нем недуг, который пригрезился воображению[41]. Вследствие ослабления нервной системы нервная сила, предназначенная для деятельности конечностей, охваченных оцепенением в гипнотическом состоянии, сосредоточивается и как бы скапливается в мозгу; поэтому отзвук ощущений совершается с большей силой и очень приближается к действительному ощущению. Если, как пытался доказать г-н Ж. Люис в весьма замечательном сочинении[42],

впечатления органов чувств, расходящиеся от центров зрительного бугра, отчетливо воспринимаются и откладываются в виде воспоминаний среди сетей коркового вещества мозга, если в то же время отсюда же они вновь исходят, чтобы выразиться вовне в ощутимых и видимых проявлениях, то понятно, что возбуждение этой области головного мозга порождает непроизвольные проявления, столь же сильные, как впечатления общего чувства и органов чувств, отражение которых порождает идею. В этом случае сотрясение, сообщенное сетям коркового вещества словом или знаком, выразится в совершенно реальном ощущении, соответствующем идее, которую это слово или этот знак выражает, и человек, впавший в состояние мозговой атонии, сопровождаемое чрезмерной впечатлительностью оцепеневшей части головного мозга, действительно почувствует то, лишь идею чего ему сообщают. Вот почему загипнотизированный, которого уверят, что он не может говорить, испытает нечто подобное тому, что ощущал бы, если бы рот его действительно был насильно сомкнут[43].

[40] Действием такого рода гностический учитель Марк, ученик Валентина, заставлял пророчествовать женщин, которых обратил в свое учение. Сильно поразив их воображение призываниями, как сообщает нам святой Ириней, и приведя их своими приемами в своего рода гипнотическое состояние, он заставлял их открыть рот и пророчествовать. Пророчества эти были не чем иным, как идеями-образами, которые самопроизвольно являлись тогда возбужденному уму этих женщин.

[41] См., что я сказал о стигматиках в своем сочинении под заглавием *La Magie et l'Astrologie dans l'antiquité et au moyen âge*, 3-е изд., с. 390 и сл.

[42] См. *Recherches sur le système cérébro-spinal*, с. 252 (Paris, 1865).

[43] Стоит понаблюдать за собой, когда мысленно произносишь слово, чтобы убедиться, что это действие сопровождается отзвуком в губах и во рту, в тех мышцах, которые пришли бы в движение, если бы мы произнесли те же слова

вслух. Когда нервы немного возбуждены, обратное ощущение вполне ощутимо: в органах голоса возникает дрожь. Это доказывает, что мысль, рожденная ощущением, в свою очередь вызывает ощущение, подобное тому, которое ее породило. Если мысль непроизвольна, бессознательна, ум уже не уловит причины этого ощущения и примет его за действие внешней причины; явление, как видно, то же, что и в галлюцинации.

Именно в этом, по-видимому, и состоит явление завороженности, которую вызывает сильное впечатление у людей с нежной или ослабленной нервной организацией. Поэтому ее часто порождает испуг. Ребенок, который вас знает и прекрасно понимает, что вы переоделись или что ваше лицо лишь на время приняло странный вид, поднимает крик, когда вы появляетесь перед ним в таком преображенном облике. Вы говорите ему: «*Я волк, я зверь, который тебя съест*», — и он закрывает лицо руками и с плачем убегает. Здесь мысль, внушенная ребенку, явно производит на его ум впечатление столь же живое, как сама действительность; в конце концов он на миг верит, что вы волк или хищный зверь, и бежит, чтобы избавиться от завладевшего им наваждения. Как-нибудь вечером, в тишине и темноте, расскажите пугливым людям историю о привидениях; подберите голос и жесты так, чтобы рассказ захватывал сильнее, — и вскоре вы внушите слушателям мысль, что привидения здесь, рядом; каждого охватит безотчетный страх перед потусторонним, и каждому почудится, будто он видит и слышит призрак.

Что же происходит и здесь? Разве мысль не вызвала воспроизведения ощущения столь же живого, каким было бы само ощущение? Ум воспринимает как подлинный образ эту мысль, которая есть лишь ослабленный образ, потому что его впечатлительность, то есть возбуждение мозга и нервов, придает самым слабым внутренним ощущениям ту же силу, какой обладают ощущения, действительно идущие от органов чувств.

Явление того же порядка — исцеление, совершающееся под впечатлением живой веры, когда впечатлительность так велика, что убеждение, данное верою, превращается в действительное восприятие, а оно, в свою очередь действуя на организм, производит в нем благотворную перемену[1].

[1] Некоторые подробности о таком действии душевного на телесное я уже приводил в своем сочинении *La Magie et l'Astrologie dans l'antiquité et au moyen âge* (Париж, 1860). Исцеления одной лишь силою веры наблюдались в разных религиях. Они происходят у людей нервного склада — нежного или весьма восторженного. Несомненно, влияние душевного может доходить до глубоких перемен в организме. Г-н Филипс приводит историю женщины из Вале, которая под властью глубокого страха перед предстоявшей ей операцией — удалением огромного зоба — почти внезапно избавилась от этого недуга. См.: *Electro-dynamisme vital*, с. 239. Монтень в главе XX первой книги своих «Опытов» — «О силе воображения» — приводит множество фактов того же рода, которые доказывают истинность школьного изречения: *Fortis imaginatio generat casum*.

Действия внушения, наблюдаемые у некоторых магнетизируемых, принадлежат к тому же разряду сильных воздействий ума на чувства и на организм. Вы сообщаете искусственному сомнамбуле мысли — жестом или словом; эти мысли так волнуют его ум, ослабленный кризисом, в котором он находится, что вскоре приобретают ту силу, какую имело бы восприятие, рожденное впечатлениями извне. Я присутствовал у доктора Пюэля при опытах такого рода. Магнетизируемому говорили, что он не может поднять руки; он так твердо этому верил, что и в самом деле становился неспособен поднять их; одна мысль об этом бессилии вызывала у него ощущение, совершенно подобное тому, какое он испытал бы, будь его рука парализована. Другому сомнамбуле объявляли, что перед ним лев; при этом отчасти перенимали и львиную повадку — ходили на четвереньках и изображали рычание. Магнетизируемый тогда выказывал сильнейший ужас, отражавшийся на его лице, и

подавал все признаки полной убежденности. Точно так же на сеансе барона Дюпоте я видел одну знакомую мне особу, в чьей добросовестности я не могу сомневаться; магнетизер объявил ей, что она не сможет переступить черту, проведенную мелом на полу. Она подошла к самой черте и там остановилась, словно удерживаемая магической силой, которая на деле была лишь ее собственным воображением. Погруженная в состояние сомнамбулической нечувствительности, эта особа подчинялась, собственно, не воле магнетизера, а власти внушенной ей мысли. Одна мысль, что ей невозможно переступить меловую черту, производила на ее ослабленный мозг то же действие, как если бы перешагнуть черту ей мешала настоящая преграда. Явлением того же порядка объясняется и то, что сомнамбула будет думать, будто пьет лимонад или чай, тогда как глотает простой стакан воды, — лишь потому, что вы сказали ему, будто подаете именно этот напиток. Врачи обычно ограничиваются словами, что это чистое действие воображения. Да, без сомнения; но такой ответ не объясняет явления; надо бы еще растолковать нам, почему воображение говорит тогда так же громко, как свидетельство чувств. Так вот, объяснение, как мне кажется, заключается в том, что ослабленная иннервация, лишенная своей природной силы, приходит в столь же живое сотрясение от образа, как и от действительного предмета. Здесь налицо настоящая галлюцинация, вызвать которую достаточно слова или жеста.

У экстатички, какой была, например, святая Гертруда, мысль — уже не сообщенная другим, а подсказанная чтением мистических книг — точно так же порождает воображаемые ощущения. Ей казалось, будто она чувствует запах фиалки, исходивший от Иисуса Христа. Подобно этому святая Ида Лувенская, поглощенная образом рыбы, под которым символически изображается

Спаситель, после причастия ощущала, будто рыба проникает в ее желудок; святой Пахомий чувствовал зловоние демона, чьи искушения тревожили его ум.

Твердая или бредовая убежденность в несуществующих фактах, которую наблюдают у душевнобольных, часто не имеет иного происхождения. Один польский врач привел мне пример душевнобольного, воображавшего, что у него на голове огромные оленьи рога. Его уверили, что их сейчас отпилят, и во время мнимой операции он кричал так, словно испытывал настоящую боль. Значит, мысль вызывала ощущение столь же сильное, как действительность, и вера говорила так же красноречиво, как говорили бы чувства; этим достаточно сказано, что воспроизведение ощущений, сопровождающее мысль или воспоминание — а воспоминание есть лишь оживленная мысль, — совершалось с той же силой, как если бы ощущение было непосредственным.

Факты, подобные тем, о которых я сейчас упомянул, привели к учению о передаче мыслей и о токе, исходящем от воли магнетизера. Я присутствовал на множестве магнетических опытов; я расспрашивал многих просвещенных и добросовестных наблюдателей; но я не собрал ни одного факта, который доказывал бы возможность такой передачи без посредства слова, выражения лица или жеста. Я не говорю, что очень простая мысль не могла прийти одновременно в голову магнетизеру и магнетизируемому, когда оба, соприкасаясь друг с другом, находились в условиях, способных эту мысль породить. Часто видишь, как двое людей, постоянно живущих вместе и сидящих бок о бок, не разговаривая или перекидываясь словом лишь изредка, вдруг одновременно приходят к одной и той же мысли. Со мною это не раз случалось с матерью и с женой. Но назвать это

передачей мыслей нельзя. Наши мысли рождаются в нас сами собою, под бессознательным действием множества внутренних или внешних ощущений, и легко понять, что у двух людей, привыкших жить вместе и находящихся в сходном положении, одновременно возникает одна и та же мысль. Заметьте, что предшествовавший разговор или события часто наводят оба ума на одну и ту же мысль. Так обстоит дело и с магнетизером и сомнамбулой. Сомнамбула, которого уже не раз мысленно спрашивали о природе его болезни, о том, что он чувствует, который, по его мнению, час, что он намерен делать днем, во многих случаях естественным образом предчувствует или угадывает вопрос, который ему сейчас зададут.

Не следует забывать и о влиянии взгляда, обо всем, что говорит выражение глаз, — ведь это тоже язык. Взглядом понимают нас животные и маленькие дети; взглядом мы часто выдаем самые сокровенные свои мысли; а какую роль играет взгляд в магнетизировании — известно всем!

Что же касается мыслей вполне развернутых, мысленного разговора между магнетизером и магнетизируемым, то, повторяю, никакого по-настоящему убедительного доказательства у меня нет; и многие опытные наблюдатели[2], не раз ставившие опыты в этом направлении, сумели собрать лишь довольно сомнительные свидетельства.

[2] См., что говорит генерал Нуазе в своем сочинении *Mémoire sur le somnambulisme et le magnétisme animal*, с. 127 и сл. и 135. Этот исследователь не приводит ни одного случая собственно передачи мыслей, который наблюдал бы сам; те, что он поместил в своем примечании P, с. 328, относятся просто к видениям сомнамбулы.

Но если бы даже удалось лучше, чем до сих пор, доказать, что в некоторых обстоятельствах может совершаться передача мысли,

отсюда следовало бы лишь заключить, что вследствие тесной связи, которая устанавливается между двумя организмами, находящимися под одними и теми же влияниями, то или иное умственное действие совершается одинаково в обоих мозгах и приводит к одному и тому же итогу. Для этого не нужно полного тождества душевного состояния; достаточно сходства телесного склада: ведь знаменитые сиамские близнецы, соединенные лишь простым мясистым отростком, почти всегда одновременно и не сообщая их друг другу имели одни и те же мысли; они принимали одни и те же решения и двигались в одну сторону, никогда предварительно не сговариваясь и не нуждаясь в соглашении о действиях, которые им приходилось совершать сообща. Приводили также несколько примеров, когда братья и сестры одновременно заболевали одним и тем же видом бреда или душевного расстройства[3].

[3] См. два наблюдения, приведенные в *Archives cliniques des maladies mentales et nerveuses*, сборнике, издаваемом доктором Байярже, т. I, № 1, январь 1861, с. 13 и 29.

Кроме того, предполагаемая передача мыслей часто совершается через прикосновения, особенно через соприкосновение рук. Сколько чувств выдает одно лишь прикосновение! А когда нервная система сильно возбуждена в каком-то одном месте, насколько способнее становятся чувства воспринимать самые легкие впечатления и различать оттенки, которые ускользнули бы от нас в обычном состоянии!

Наконец, как заметил г-н Байярже по поводу случая, о котором он сообщил Медико-психологическому обществу[4], сомнамбула может читать по губам магнетизера и, подобно глухому, по одному их движению угадывать слова, которые тот произносит порой вполголоса или даже мысленно, но с движением губ.

[4] См.: *Annales médico-psychologiques*, 3-я серия, т. IV, с. 262.

Если воспоминание о факте всегда сопровождается возвратом того внутреннего чувственного впечатления, которое запечатлело его в уме, то не исключено, что и всякая мысль, особенно мысль сильная и повторяемая, сопровождается нервным движением губ и голосовых органов, настолько легким, что в обычном состоянии оно ускользает от чувств другого человека, но может быть ими уловлено, если они сильно возбуждены.

Итак, в конечном счете это полукаталептическое, полусомнамбулическое состояние, которое в некоторых случаях порождают магнетические приемы, есть, как я говорил вначале, лишь разновидность или, если угодно, продолжение сна. Если уж искать где-либо чудесное, то здесь его не больше, чем в других проявлениях ума, утратившего свою цельность и подвластного попеременно нервному возбуждению и нервному упадку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

✦

Ряд наблюдений и сопоставлений, представленных в этой книге, позволил уловить связь между различными формами бреда — от того, который составляет наши сновидения, до глубокого расстройства, обнаруживающегося в мании. Наряду с этим расстройством, обычно сопровождаемым частичным возбуждением, встречаются различные ступени, которые образуют как бы переходы от сна к старческому слабоумию; они сочетаются с бредом и часто совпадают с ним. Уже г-н Ж. Моро в записке, которую я не раз цитировал, обратил внимание врачей на этот предмет и обозначил различные ступени нисходящей лестницы ума. «Два крайних члена, — писал он, — из которых один представляет наибольшую, а другой наименьшую силу мозгового изменения, связаны между собой отношениями сходства и точками перехода».

На самой нижней ступени этого ослабления мозговой деятельности мы находим, с одной стороны, полный сон без сновидений, с другой — слабоумие, дошедшее до последнего предела: первый соответствует здоровью, второе — болезни. В обоих случаях мозг действует уже недостаточно для того, чтобы возникали мысли и сохранялось сознание. Затем, поднимаясь по лестнице, на параллельных линиях располагаются сон с мимолетными сновидениями, с бессвязными и расплывчатыми образами, и то начало слабоумия, при котором мысли больше не следуют одна за другой, а слова не соответствуют мыслям. Бред видящего сон, бред больного манией и бред лихорадящего

представляют — первый для здорового состояния, второй для хронического болезненного, третий для острого болезненного — то умственное расстройство, при котором ассоциация идей становится неполной, а чувственные галлюцинации уже не отличаются от действительных впечатлений чувств.

Природный сомнамбулизм, экстаз, искусственный сомнамбулизм, гипнотизм приводят организм в сходное полуболезненное состояние и по состоянию ума представляют разновидности душевного расстройства одного и того же порядка — расстройства, при котором внешние ощущения отчасти угасают, искажаются, а ослабленный ум подпадает под власть мыслей самопроизвольных или сообщенных, причем первые он принимает за чужие, а вторые — за свои собственные. Тогда налицо смешение нервного упадка и нервного возбуждения. В природном сомнамбулизме мы имеем действие идиопатическое; в экстазе — действие искусственных средств, влияющих прямо на ум; в искусственном сомнамбулизме и гипнотизме — действие искусственных средств, влияющих одновременно на дух и на тело; в обезболивании — действие искусственных средств, обращенных только к организму, но отзывающихся на мозге[5].

[5] Этот постоянный обмен между нашими восприятиями и нашими представлениями объясняется тем, что различие этих двух умственных действий не так резко, как обычно полагают. Поскольку представление часто есть лишь восприятие, происхождения которого мы не знаем, нам нередко кажется, что мы сами нашли или придумали то, что нам сказали, и что слышали от других то, что сами думали или воображали. В экстатическом, гипнотическом и сомнамбулическом состоянии оба действия часто смешиваются, потому что ясное сознание своего «я» ослабело. Мы говорим, мы действуем вслед за размышлением. Но размышление так мгновенно, что все в наших мыслях принимает вид самопроизвольного; из-за этой самопроизвольности мы в ту минуту не различаем, движет ли нами наша собственная обдуманная воля или влечение извне. Наш ум можно сравнить с коромыслом весов, которое качнется

от малейшей прибавки груза, так что нельзя увидеть, вызвано ли это колебание толкнувшей его рукой или внутренним движением частиц самого коромысла.

Все наши действия, пишет один выдающийся психолог, образуют цепь, по которой от одного конца к другому переходишь через бесконечное множество промежуточных ступеней; так что невозможно было бы сказать, где кончается действие, называемое самопроизвольным, и где начинается то, которое называют обдуманным; тем более что мы, быть может, никогда не действуем совершенно бессознательно, вовсе не сознавая того, что делаем; и само размышление может сопровождаться или не сопровождаться сознанием, так что нам случается размышлять больше или меньше, действуя или перед тем как действовать, сами того не подозревая, и тогда мы не могли бы с уверенностью сказать, обдуманны наши действия или самопроизвольны. (См.: Грюйе, *Controverse sur l'activité humaine et la formation des idées*, в *Nouveaux Mémoires de l'Académie de Belgique*, т. XXIII.)

Чем разумнее мы становимся, тем лучше различаем внешние причины, под властью которых находимся, тем лучше оцениваем разницу между тем, что есть дело нашей воли, и тем, что есть следствие побуждающих нас сил. Во сне, как и в экстазе или в состоянии нервного упадка, мы действуем, думаем, хотим, не имея точного чувства того побуждения, того влияния, которое нас направляет; мы почти уже не различаем «я» и «не-я» в их действии на наш организм. Болезнь каждый день доказывает нам это. Пусть внезапная перемена погоды изменит состояние человека; пусть врач подвергнет душевнобольного нравственному или физическому лечению, которое улучшит состояние его ума, — и у них произойдет перемена мыслей, мнений, чувств, которую эти больные принимают за плод своей воли и которая между тем есть прямое следствие впечатлений, сообщенных им другим человеком или внешней причиной. Если магнетизер прикажет своему пациенту встать и тот встанет с такой волей, — это то же самое, как если бы пациент принял снадобье, которое, изменив деятельность мозга, вызвало бы у него волю, какой у него прежде не было. Здесь восприятие становится представлением.

Размышление обычно позволяет нам судить, какие действия исходят от нашей собственной воли, а какие — от воздействия, оказанного на нас. Если новое состояние, в которое хотят привести наш ум, сильно отличается от прежнего, мы чувствуем насилие, замечаем посягательство на нашу свободу; но если оно мало от него отличается, если мы находимся в совершенно пассивном состоянии, податливом для всякого впечатления извне, тогда мы подчиняемся чужой воле, посторонней силе, не замечая этого, и действуем силою другого, думая, что действуем сами.

В этом объяснение силы, нравственного могущества. Человек, наделенный им, сообщает другим свою волю, и они подчиняются ей, принимают ее, усваивают как свою, не переставая считать себя свободными.

У человека, отравленного обезболивающими, наркотическими или просто спиртными средствами, наступает оцепенение чувств, притупление чувственных аппаратов, которое сочетается с бредом, происходящим от возбуждения мозга. Чувства лишь в виде исключения и с перерывами приобретают повышенную впечатлительность. В гипнотизме — то же состояние чувств; однако преобладает умственный упадок, который обычно и заменяет собственно бред. Ум тогда как бы во власти сообщаемых ему впечатлений, и чувства под этим впечатлением впадают в каталепсию; ум уже не владеет собой и переходит в состояние деятельности пассивной, или сообщенной.

В экстазе чувства также притуплены, члены парализованы; ум всецело поглощен мыслями, порожденными непрерывным размышлением о предмете, к которому они относятся. Экстатик подчиняется неодолимой власти своих собственных, внезапно пробудившихся мыслей, как загипнотизированный подчиняется мыслям, которые ему сообщают.

В природном сомнамбулизме чувства и ум, пораженные как бы каталепсией или бессилием, действуют лишь в кругу мыслей, относящихся к прежним заботам ума. Сомнамбула чужд всему остальному; он спит для всего, что не составляет предмета его сомнамбулического сна, подобно тому как экстатик спит для всего, что не составляет темы его созерцания; его ум и чувства приобретают тем больше силы в тесном кругу, где они действуют, чем больше они закрыты для того, что лежит вне его, — так же как экстатик видит свои видения тем яснее, чем меньше его глаз замечает какие-либо действительные предметы.

Наконец, искусственный сомнамбулизм есть смесь явлений каталепсии, экстаза и природного сомнамбулизма, гипнотизма и явлений истерических; при нем ум сохраняет больше способности вступать в сношение с внешним миром, чем в природном сомнамбулизме, и потому может подвергаться влиянию сообщенных мыслей, как в гипнотизме.

Впрочем, все эти болезненные состояния тесно связаны между собой, и не один случай одного из этих недугов осложняется признаками другого; наблюдение многих больных показывает, что эти недуги могут порождать друг друга, — доказательство того, что они соответствуют не какой-то особой жизни души, а зависят от расстройства нервной системы, последнюю ступень которого являет нам душевное расстройство.

Исходная точка всех этих явлений — сновидение; оно представляет как бы их простейшую форму; ибо оно вызвано периодическим утомлением и дает первые очертания душевной болезни, очень часто осложняется частичным возбуждением, а иногда сопровождается преходящим расстройством, почти болезненным, но случайным состоянием организма.

Что же касается физической причины этих различных явлений, их врачебной этиологии, то указать ее с точностью пока еще нельзя. Все виды бреда, которые я рассмотрел, — от простого сновидения до буйства больного манией, сопровождаемого галлюцинациями, — связаны тесными отношениями и служат друг другу переходами. Нервные расстройства, которые их сопровождают и которые особенно поражают при сомнамбулизме и истерии, доказывают, что поражение ума связано обычно с более или менее обширным поражением иннервации. Но нет сомнения, что с патологической точки зрения эти поражения могут быть весьма несходны. Так как все они ведут к расстройству

умственных отправлений, их психические и психо-чувственные признаки сходны; но о внутренней природе болезни отсюда ничего заключать нельзя. Ум, в конце концов, есть отправление мозга, отправление особого порядка, без сомнения более высокого, чем отправления чисто физические[6], но отправление действительное. А отправления могут обнаруживать почти одинаковое расстройство в силу весьма различных болезненных причин. Пищеварение, например, может стать тяжелее или затруднительнее вследствие паралича большого симпатического нерва, начинающегося рака, опухоли желудка, сильной гастралгии и т. д. Именно сходство признаков, которое представляют разные болезни, и составляет трудность распознавания.

[6] Я говорю здесь, разумеется, лишь о нашем существовании в этом мире, а не о тех иных условиях, какие могут быть даны ему Богом в будущей жизни. Я не намерен отрицать действие души; но замечу, что это действие всегда тесно связано с работой организма.

Так, один и тот же бред может происходить от весьма различных изменений нервной системы и головного мозга. То это простое оцепенение, легкая остановка мозгового кровообращения, как во сне; то местное возбуждение одних частей, возникающее одновременно с оцепенением других, как во сне с ясными и многочисленными сновидениями; то такое возбуждение некоторых волокон, которое как бы упраздняет действие остальных, как в сомнамбулизме; то деятельный прилив крови к мозгу, как в опьянении или в лихорадочном бреду; то изменение более или менее обширных участков мозгового вещества, как в мании и слабоумии; то паралич — либо от давления, которое кровь оказывает на мозг, либо вследствие ослабления самой нервной силы, как это наблюдается при некоторых душевных расстройствах, в состоянии загипнотизированного, у того, кто

вдохнул обезболивающие средства; и этот паралич, в свою очередь, осложняется перемежающимися возбуждениями.

И подобно тому как в организме, вследствие связи органов и взаимодействия отправлений, одна болезнь порождает другую, нервные недуги, вызванные приливом крови или ослаблением иннервации, в конце концов производят другие недуги, также связанные с бредом и расстройством чувственных отправлений. Отсюда опять-таки связь различных расстройств, которым подвержен человеческий ум.

Быть может, когда-нибудь патологическая анатомия и физиология рассеют мрак, за которым скрываются столь разнообразные причины этих видов бреда. Но даже когда им удастся четко разграничить различные разряды умственных расстройств, сходство и связи, которые мы улавливаем между ними всеми, тем не менее сохранятся. Ибо человек, при всей сложности своего организма, — существо единое, части которого тесно связаны друг с другом. Работа их всех отражается в мозгу, в средоточии лучей жизни; как только какая-либо причина отклонит эти лучи, в уме обнаруживается расстройство, изменение: он уже не воспринимает правильно и не имеет ясного сознания совершаемых им действий. Потому-то, едва человек засыпает, то есть едва его отправления начинают утрачивать свою существенную деятельность, ум испытывает первые головокружения; повторяясь, продолжаясь, расширяясь и умножаясь, эти головокружения вскоре производят ту череду расстройств и извращений, которая приводит к слабоумию и к смерти. В этом, и только в этом, сновидение и должно быть психологически связано с душевным расстройством. Между всеми видами бреда существует умственное родство, и именно это

родство я и старался верно изобразить в книге, которую читатель только что прочел.

ПРИЛОЖЕНИЕ. О СНЕ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ИНСТИНКТА И УМА

✦

Явления ума, как и явления жизни, нужно изучать в их постепенном и поступательном возникновении, если хочешь понять, как они совершаются. Мрак, окружающий их, рассеет исследование их развития, а не один лишь разбор их сложной игры. Если, по данным физиологических опытов, различные части мозго-спинномозговой системы образуют иерархию, которая начинается в луковице, или продолговатом мозге, — последнем прибежище жизни, — и включает спинной мозг, ведающий чувствительностью и движением, мозжечок, согласующий движения, и мозговые доли, седалище ума, — то не следует ли предположить, что в самих мозговых долях есть части, действие которых может быть остановлено или уничтожено, тогда как другие волокна остаются деятельными? Если это так, умственная жизнь развивается или изменяется смотря по тому, пробуждается деятельность в этих волокнах или замирает.

Эта гипотеза находит подтверждение, если сопоставить развитие чувственных и умственных способностей с теми состояниями, через которые проходит человек в зависимости от того, насколько оцепенела в нем жизненная сила. Это я и попытаюсь показать в следующем очерке.

Для многих физиологов, в частности для Бурдаха[7], сон есть первоначальное состояние души, то, в котором она находится в момент появления жизни. В самом деле, еще не родившееся животное не имеет сознания самого себя, воля в нем не

пробуждена, ее даже еще нет; движения, которые оно совершает, чисто автоматичны; словом, оно находится в состоянии, подобном состоянию человека, спящего глубоким сном без сновидений, когда ощущения уже не воспринимаются умом. Лишь постепенно душа проявляет себя, выходит из этого первоначального оцепенения и достигает полноты умственной жизни. Конечно, если смотреть лишь с физиологической стороны, это сближение сна с зародышевой жизнью не вполне обосновано; и все же между двумя соответствующими им душевными состояниями существует вполне действительное сходство. Разве мы не видели, что сон, когда в нем нет ничего коматозного, есть следствие ослабления нервной деятельности? Это ослабление, правда, сопровождается иногда возбуждением некоторых частей мозго-спинномозговой системы; но так как в общем оно вызвано потребностью нервной силы восстановиться, сделать, так сказать, новый запас, его следует рассматривать как замедление работы организма. За этим замедлением следует новая деятельность, которая черпает добавочную силу в отдыхе, только что данном себе человеком во сне. В зародышевом состоянии плод живет жизнью, гораздо менее деятельной, чем та, которая будет у него, когда он увидит свет; он не может совершать действий родившегося и бодрствующего человека; к тому же он помещен в среду, которая препятствует впечатлениям, способным привести ум в движение; кроме того, в первые месяцы беременности зародыш еще не снабжен органами, необходимыми для того, чтобы впечатления воспринимались и передавались в мозг.

[7] *Traité de physiologie*, пер. Журдана, т. V, с. 229.

Итак, можно сказать, что плод спит, хотя этот сон и не вполне таков, как сон человека, увидевшего свет. Точный момент, когда

жизнь появляется в оплодотворенном яйце, указать нельзя; но несомненно, что она развивается в нем лишь постепенно и что душевное состояние следует за фазами этого органического развития, с которым оно неразрывно связано.

Вначале жизнь зародыша есть простое произрастание, составляющее едва ли не одно из отправлений жизни матери, отправление чуть более обособленное от ее организма, чем прочие. Плод дышит и питается через мать[8]; у него лишь немного собственных органов; по мере того как он формируется, он приобретает новые; но эти органы, отчасти отличные от тех, какие у него будут, когда он выйдет на свет, не позволяют действовать отправлениям чувственной жизни. Зародыш не способен к передвижению. Все его устройство приспособлено к этому внутриутробному существованию; у него есть наружная оболочка — амнион, которая не есть кожа взрослого; он дышит по-своему: сначала через желточно-брыжеечные сосуды, позднее через сосуды аллантоиса.

[8] См.: Флуранс, *Ontologie naturelle, ou étude philosophique des êtres* (Париж, 1861), с. 149, 176, 190.

Однако в этой подготовительной жизни, которая столь многим отличается от жизни настоящей, по прошествии известного срока беременности появляются проявления, уже выходящие за пределы растительной жизни, хотя они и остаются еще автоматическими: плод движется, шевелится, и у него, несомненно, есть смутные ощущения.

Родившись, ребенок еще далеко не то, чем он станет во взрослом возрасте, хотя развитие идет быстро; ощущения, во множестве возникающие в нем, совершенствуются; осязание, вкус, слух, зрение пробуждаются одно за другим, и ум следует

тому же постепенному ходу; способности становятся все более пригодными к умственным действиям.

Итак, человек от момента зачатия до наступления зрелости поднимается по всем ступеням животной жизни, и его душа проходит через состояния, подобные тем, через которые прошла бы душа спящего, если бы его постепенно выводили из полного сна в полное бодрствование.

В летаргии человек как бы низведен до состояния органической материи; ибо все естественные действия организма перестают совершаться; остановка распространяется не только на чувствующее начало, но и на само жизненное начало; все отправления животной машины пребывают в полном покое. Единственное, что отличает тело, впавшее в летаргию, от тела бездыханного, — это то, что в первом работа организма еще может возобновиться, тогда как это невозможно, если наступила смерть; а если летаргия затягивается, она почти всегда к смерти и приводит[9].

[9] Дж. Хантер, *Leçons sur les principes de la chirurgie*, в его *Œuvres*, пер. Г. Ришло, т. I, с. 308.

В глубоком, или коматозном, сне жизнь проявляется, но слабо; она в некотором роде растительная; ум человека тогда едва ли поднимается выше ума животных низшего порядка. Растительные отправления, особенно питание, берут верх над остальными; поэтому образ существования приближается к образу существования животных, нервная система которых мало развита; ибо чувствительность, хотя и связанная с более сложным устройством, в этом сне утратила свою силу и уподобляется чувствительности низших позвоночных, например пресмыкающихся[10].

[10] См. превосходную статью *Sommeil* в *Dictionnaire de médecine* Нистена, 11-е издание, пересмотренное гг. Литтре и Ш. Робеном.

Пусть сон станет менее глубоким[11] — и в уме пробудятся образы, иначе говоря, мысли; они не будут произвольными; они не будут следствием обдуманной и последовательной ассоциации других мыслей; их будут вызывать лишь внутренние ощущения или неполные внешние впечатления, обязанные остатку деятельности мозго-спинномозговой системы; они будут происходить от продолжения некоторых мозговых движений — отголосков ощущений, воспринятых извне в бодрствовании, то есть будут действием памяти.

[11] «Сновидение указывает на несовершенный сон, что подтверждается тем обстоятельством, что между сном со сновидениями и бодрствованием есть разные связанные между собою переходные ступени». У. Б. Карпентер, статья *Sleep* в *The Cyclopaedia of Anatomy and Physiology* Роберта Тодда, т. IV, ч. 2, с. 690.

Если отбросить эти последние мысли — наследие бодрствования, во время которого действовал как бы более совершенный организм, — если обратить внимание лишь на те, что порождаются наличными ощущениями, то обнаружится довольно поразительное сходство между состоянием спящего, у которого бывают лишь смутные и неясные сновидения, и состоянием ребенка в первые дни его существования. Эти образы внезапно являются уму; они тогда лишены всей свиты мыслей, которые в нашей умственной жизни уже неотделимы от ощущений и которые вызывает малейшее сотрясение, потому что наш мозг тогда вполне бодрствует. Так же обстоит дело у животных, ум которых достиг лишь слабого развития. У них, как и у маленького ребенка (*infans*), мысли приводит не размышление, то есть не произвольный умственный труд; они — прямое, необходимое следствие испытанных ощущений. Животное непременно верит

тому, что видит, что слышит, что обоняет; в нем нельзя отделить впечатление от веры. Конечно, если его нервная система случайно приходит в возбуждение, чувства передают ему обманчивые впечатления, в чем можно убедиться, наблюдая собаку, которой дали гашиша. Все в ней тогда выдает ложные восприятия и настоящий бред. Но так как размышление в ее уме, как и у очень маленького ребенка, не отделяет воспринятого ощущения от верной мысли, у животного нельзя отличить галлюцинацию от собственно галлюцинаторного помешательства. Животное, наделенное памятью, нервная система которого достаточно развита, чтобы быть способной к возбуждению, может иметь галлюцинации; собака видит сны и своими движениями — во сне или когда ей дали вдохнуть эфира — показывает, что перед ее глазами события, не имеющие никакой действительности; она лает, выказывает страх; значит, она во власти настоящего видения, она видит, слышит или чует воображаемое. Помешательство предполагает нечто большее: оно рождается из расстройства умственных способностей, следующего за этими обманами чувств, за этими повторяющимися галлюцинациями. Чтобы животное могло впасть в манию или мономанию, оно должно было бы обладать умом, способным к тем действиям, которые искажаются при душевном расстройстве. А этого, по всей вероятности, нет даже у животных, ум которых всего ближе к нашему. Сомнительно в самом деле, чтобы животные, стоящие выше всех в зоологическом ряду, имели настоящие представления — такие, которые отличаются от верований тем, что они произвольны, тогда как верование есть факт непосредственный и вынужденный, следствие известных восприятий для нашего рассудка[12]. Представления образуются трудом ума, исходная точка которого — память. Животное, без сомнения, помнит свои

восприятия, но не связывает их произвольно. Представления, которые из них возникают, по-видимому, на деле суть лишь верования.

[12] Аристотель, *О душе*, кн. III, гл. III. — Ад. Гарнье, *Traité des facultés de l'âme*, т. III, с. 246.

Так, рассуждающее помешательство, мономания, зависящая от ложных и несообразных представлений, у животных, по всей вероятности, не существует. Нет собаки, которая могла бы вообразить себя лошадью, нет кошки, которая считала бы, что живет во дворце, когда она — товарищ бедной семьи, потому что мысли, на которых покоятся такие виды бреда, недоступны уму животного. Помешательство собаки, кошки, лошади может зависеть лишь от ошибок восприятия, от ложных верований. Одно животное примет сено за солому, другое перестанет узнавать свое логово или конюшню. Словом, то, что называют помешательством животных, представляется нам как бы острой манией, то есть приступом буйного бреда, помрачением ума, — или же слабоумием. Последнее и в самом деле есть ослабление способностей, даже самых простых способностей человеческого ума, — способностей, которые встречаются у множества животных. Лошадь, собака, птица могут утратить память о том, что видели и слышали, перестать понимать жесты, совершать действия, которых требует удовлетворение их потребностей, — потому что они в самом деле обладают всеми этими способностями. Они могут отупеть, как старик, пораженный общим параличом, размягчением мозга.

Мысли-образы, которые во сне и при душевном расстройстве возникают в уме вслед за ощущениями, как их необходимое следствие, — единственные, что рождаются в мозгу животных; ибо мысли, порождаемые чистым разумом, им чужды. Такое

порождение мыслей составляет первую ступень умственной жизни, первый шаг за пределы жизни чисто инстинктивной, свойственной существам низшего порядка; оно уже предполагает смутное сознание себя, некое чувство личности, правда, неясное.

Но во сне у нас бывают не только мысли-образы — прямое следствие ощущений; мы можем также иногда, по привычке и без участия воли, связывать их логически; так мы воспроизводим во сне ряд действий или мыслей, которые были у нас в бодрствовании. Мозг делает, так сказать, автоматически то, что ум сначала делал свободно и сознательно.

Эта вторая фаза умственной жизни во сне встречается и у животных, особенно у тех, кого обучают совершать разные действия, значения и смысла которых они не понимают. Ручные птицы, обезьяны, ученые собаки по привычке совершают некоторые действия, к которым их сначала принуждали ударами, угрозами, приманивали лакомствами, то есть вызывая в них отдельные, разрозненные ощущения. Эти ощущения, или, если угодно, это телесное воспитание, всегда даваемое в одном и том же порядке, в конце концов связывают в уме животного действия, связи между которыми оно не понимает. Оно повторяет, воспроизводит их в силу самопроизвольной, автоматической и вынужденной ассоциации мыслей или действий, которые суть лишь выражение этих мыслей[13]. Одно движение вызывает другое, и животное действует так же, как попугай говорит, — не зная, что делает. Во сне, где даже наши разумные мысли, принадлежащие к области чистого разума, связываются вынужденно, по привычке, то есть путем воспроизведения движений, которые мы сначала сообщали уму произвольно, — у нас, без сомнения, есть какое-то неясное сознание совершаемого действия, потому что мы от

природы умнее животных, но мы все же действуем автоматически.

[13] Однако у того животного, которое по уму ближе всех к человеку, — у слона — есть нечто большее, чем простое подражание: есть сознание действия, которому его обучили; это видно из той проницательности и ловкости, с какой самка, обученная заманивать диких самцов, которых хотят поймать, обманывает свою жертву и скрывает от нее расставленную ловушку. См. подробности об этом у У. Суэнсона, *On the habits and instincts of animals*, с. 247 (в *Cabinet Cyclopaedia* доктора Ларднера).

Этим не ограничиваются умственные действия некоторых животных высшего порядка. Они не только помнят, но и сравнивают, делают выводы, обобщают — правда, в отношении фактов довольно простых; у них есть самые простые представления. Можно видеть, как собаки размышляют, пробуют какой-то способ исполнить свое намерение, затем оставляют его, чтобы испробовать другой, и так приходят к лучшему. Такие обдуманные действия особенно явны у обезьян.

«Животные, — пишет г-н Флуранс, разбирая наблюдения Фредерика Кювье[14], — получают через свои чувства впечатления, подобные тем, что мы получаем через наши; они сохраняют, как и мы, след впечатлений; эти сохраненные впечатления образуют у них, как и у нас, многочисленные и разнообразные ассоциации; они их сочетают, выводят из них отношения, делают из них суждения».

[14] П. Флуранс, *De l'instinct et de l'intelligence des animaux*, 2-е изд., с. 49. Ср. 4-е изд., с. 105.

Все эти действия мы совершаем во сне, и ребенок, у которого еще нет полноты ума, также их совершает. Но когда мы думаем и действуем во сне, мы делаем это до известной степени без обращения к себе, без настоящего сознания своих действий.

Именно так думает и действует животное; самое умное из них не переступает этого предела.

«Весь их ум, — справедливо продолжает г-н Флуранс, говоря о животных, — сводится к этому. Тот ум, который у них есть, не рассматривает сам себя, не видит себя, не знает себя. У них нет размышления — той высшей способности человеческого ума обращаться на самого себя и изучать ум; действия их ума совершаются, а сами они не знают, что те совершаются».

Это замечание есть уже у нашего бессмертного баснописца, которому тонкий здравый смысл позволял уловить то, что ускользнуло от Декарта и Боссюэ, увлеченных учением о животных как о машинах, к которому их привел спиритуализм, на мой взгляд неверный:

Пусть мне теперь, после такого рассказа, твердят,
Что у зверей ума и вовсе нет!
Будь я хозяином в том деле,
Я дал бы им его не меньше, чем детям.
Не мыслят разве дети с самых юных лет?
Итак, мыслить может и тот, кто себя познать не в силах.
Таким же точно образом
Признал бы я за животным
Не разум, конечно, на наш лад,
Но и куда больше, чем слепую пружину.
«Две крысы, лиса и яйцо»

Итак, у животного нет настоящего размышления, хотя оно и может размышлять; у него есть лишь то размышление, как его часто понимают в обыденном языке, — размышление, которое есть только сравнение, суждение. Действие, посредством которого ум чувствует и видит себя думающим и действующим, животному чуждо; возразят, быть может, что оно часто чуждо и человеку;

согласен, но у всякого человека есть по крайней мере его зародыш, а способность к размышлению развивается лишь воспитанием и успехами ума.

Определенное таким образом, размышление есть прежде всего достояние бодрствующего человека; именно оно дает нам сознание того, что мы находимся в мире действительном, а не в мире видений и вымыслов. Тот, кто видит сон и остается в своем сновидении рассуждающим и разумным, судит, сравнивает, делает выводы, обобщает, но не размышляет; его умственные действия могут быть разумными, но от этого они еще не обдуманны; вот почему у него тогда не больше свободы, чем у животного, вот почему действия, совершаемые им во сне, нельзя вменять ему в вину, как вменяют действия, совершенные наяву.

Однако, как заметил Сенека[15], животное должно иметь смутное сознание своего существа, то есть своего собственного устройства, и этим объясняется то свободное владение своими членами, которое мы у него видим. Оно знает свое устройство смутно и в общих чертах, как мы знаем, что у нас есть душа: *constitutionem suam crasse intelligit*, пишет философ-стоик; и животные в этом отношении, продолжает он, почти там же, где дети (*sic infantibus quoque animalibusque principalis partis suae sensus est, non satis dilucidus nec expressus*). Отсюда и у животного некая нравственная свобода, соразмерная его уму и напоминающая свободу ребенка, еще не достигшего разумного возраста[16].

[15] Письмо CXXI.

[16] Флуранс, *De l'instinct et de l'intelligence des animaux*, 4-е изд., с. 106.

Нравственное сознание у видящего сон находится в состоянии, имеющем некоторое сходство с тем, что можно назвать тем же именем у животного. Мы совершаем иногда во сне весьма дурные

поступки, вполне представляя себе, что в них есть гибельного, предосудительного; ибо эта мысль осталась связанной в нашем мозгу с самим действием благодаря воспитанию, благодаря чувству добра и зла, которое это воспитание развило и направило; но у нас почти нет способности обуздывать свои действия одним лишь соображением об их безнравственности, их бесчестности и преступности. Какая-то сила влечет нас к действию, воля наша ослаблена или угасла, мы грешим, мы видим, мы чувствуем себя грешниками, но у нас нет силы, а порой даже и мысли сопротивляться. Действие мгновенно, как то, что подсказывает грубая, чисто инстинктивная страсть; и совесть ничем нам не помогает — так же как в кошмаре вид пропасти не мешает нам упасть в нее, броситься в нее, хотя это и становится для нас машинальным. Домашнее животное тоже, несомненно, имеет понятие о дурном, что иногда делает. Мой кот, весьма склонный к воровству, знает, украв, что совершил нечто предосудительное; и доказательство тому — что он тогда выглядит совсем пристыженным и старается избежать наказания, которое предвидит; но эта оценка своего поступка есть следствие понятия, а не плод собственно нравственного сознания. Воспитание и опыт научили животное, что нельзя таскать то, что лежит в буфете; но оттого у него еще нет сознания того, что такое кража. Оно подобно ребенку, который воздерживается от поступка, запрещенного отцом, не потому, что представляет себе зло, которое этот поступок мог бы повлечь, а потому, что боится наказания, которым ему грозят за непослушание; поэтому стоит ему забыть угрозу, стоит ей перестать действовать на его ум — и он нарушит запрет. Итак, ребенком или животным владеет и иногда может удержать его страх, а не чувство долга.

Когда во сне мы совершаем преступление, мы знаем о виновности своего поступка, как показывают обстоятельства, часто связанные с этим воображаемым преступлением; этого понятия иногда может оказаться достаточно, чтобы остановить нас на полпути; но так как тогда нет настоящего обращения к себе, мы действуем вполне самопроизвольно или автоматически, мы лишь знаем о виновности поступка, не оценивая ее по-настоящему, не имеем полного ее сознания; иначе мы не уступили бы страсти, мы владели бы собой, как владеем в бодрствовании. Дело в том, что во сне нет обдуманной воли — одного из основных условий подлинного нравственного сознания. Лишь другая страсть, страсть противоположная или ставшая такой благодаря ассоциации мыслей, привитой воспитанием, способна обуздать порыв, влекущий нас ко злу. Мы подобны человеку, которого бросила механическая сила: удержать его может лишь другая сила, противоположная и превосходящая. Словом, видящий сон, который воображает, что убивает, ворует, вступает в связь с чужой женой, прекрасно знает, что это действия преступные, предосудительные; но это понятие нисколько не влияет на его мнимый поступок, потому что он совершает его в мыслях самопроизвольно, без участия воли, без ясного сознания того, что, как ему кажется, он делает; у него, одним словом, есть восприятие, а не представление преступления, виновником которого он себя воображает. Человек тогда по образу действия возвращается в разряд животных, которые действуют, знают последствия своих поступков и все же не свободны их не совершать; которых могут удержать лишь противоположные побуждения, столь же необдуманные и самопроизвольные.

Итак, мы здесь, в сущности, выходим из области ума и приходим к фактам инстинкта, о которых будет сказано ниже.

Часто и совершенно напрасно смешивали знание, простое понятие о природе поступка, с сознанием этого поступка. Между тем разница довольно резкая. Человек или животное может действовать, не зная, что делает, без всякого различения, под действием своего рода головокружения, которое им овладевает, как это бывает у больных в приступе буйного помешательства, в состоянии, которое называют помрачением ума, у некоторых животных, внезапно пришедших в ярость. Тогда нет ни знания, ни сознания; ибо умственное отправление расстроено, приостановлено[17]. Но не так мы ведем себя во сне. Человек может также действовать, зная природу своего поступка, но не измеряя его значения и последствий, под действием овладевающего им побуждения, вслед за самопроизвольным движением. Так обстоит дело с видящим сон. То же бывает и у животного, но с той разницей, что во сне мы не оцениваем значения своего воображаемого поступка потому, что наши умственные отправления тогда отчасти расстроены, а воля на три четверти упразднена, тогда как животное не имеет полного сознания того, что делает, вследствие коренного недостатка, недоразвитости ума, присущей его виду. В конечном счете результат не иной. Спящий человек, как и животное, присутствует при своих проступках, не в силах удержаться от них, и удержать его, повторяю, может лишь столь же необдуманное побуждение, обратное первому.

[17] См. об этом: Марк, *De la folie considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires*, т. I, с. 160 и сл.

Итак, можно сказать, что во сне мы поднимаемся и спускаемся по различным ступеням умственной лестницы, но последней достигаем, лишь пробуждаясь. Полного знания самих себя мы достигаем, лишь вступив в действительную жизнь.

Когда сновидение прекращается, а сон тем не менее продолжается, мы снова погружаемся в зародышевую жизнь, в жизнь без мыслей, без представлений, жизнь чисто машинальную. Между этими двумя состояниями лежит целый ряд ступеней, отвечающих различным степеням инстинктивной жизни, подобия которых тоже встречаются во сне; но чтобы уловить эти отношения, нужно сначала понять, как развивается инстинкт и как он сочетается с умом. Кроме того, во избежание всякой путаницы необходимо хорошо условиться о слове «инстинкт», ибо его применяли и к страстям, и к действиям, предназначенным обеспечить животному пищу, безопасность и продолжение рода. Однако во всех этих различных значениях, как справедливо замечает Ад. Гарнье[18], всегда находишь обозначение такого действия души, которое опережает уроки опыта и решения воли. Те же страсти, те же склонности, которые заставляют действовать нас, направляют животное без его ведома и заставляют его удовлетворять потребности, которые оно чувствует, но которых не знает. Можно, стало быть, определить инстинкт как разумный автоматизм. Животное, побуждаемое инстинктом, действует разумно, не сознавая цели и значения своих действий, не будучи, собственно говоря, само разумным. Действие, совершаемое инстинктивно, в самом деле требовало бы, будь оно следствием приобретенного понятия, способности наблюдать, сравнивать, искать, требовало бы опыта, к которому животное неспособно.

[18] *Traité des facultés de l'âme*, т. I, с. 359.

Насекомые, которые никогда не видят своего потомства и заранее готовят для него пищу, которая ему понадобится, действуют мудро и предусмотрительно, не зная, что делают. У них не может быть никакого приобретенного понятия о том, что станется с их

яйцами. Помпилы, которые кладут в свое гнездо тело убитого ими насекомого, чтобы оно служило пищей их личинкам, — а образ жизни личинок отличен от их собственного: личинки плотоядны, тогда как помпилы кормятся на цветах, — еще нагляднее показывают вмешательство ума чисто инстинктивного; ибо животное не могло судить о пище своих детенышей по своей собственной. Совершая эти инстинктивные действия, оно повинуется слепому побуждению, хотя и бесконечно разумному. Это побуждение сообщает ему Создатель, или, вернее, он связал его с самим организмом насекомого.

Человек, существо разумное по преимуществу, не мог бы без большого прилежания, расчета и старания соткать паутину столь же тонкую, как у некоторых пауков, построить соты с той геометрической правильностью, какую придает им оса или пчела, и возвести хижины на сваях, устроенные так же искусно, как у канадского бобра. Паук, пчела, бобр успешно исполняют то, что было бы невозможно для животных гораздо более умных, чем они; они всегда действуют одинаково и проявляют свое искусство с самого начала жизни, не получив от родителей никакого предварительного обучения. Фр. Кювье установил тот любопытный факт, что бобры, взятые совсем молодыми, выращенные вдали от родителей и помещенные в клетку, строили так, как строили бы в воде[19].

[19] Флуранс, указ. соч., с. 46.

Итак, это бессознательная, слепая сила влечет животное совершать ряд действий, цели которых оно не оценивает и средств исполнения которых его ограниченная способность наблюдения не могла бы открыть. Однако инстинкт, каким бы слепым он ни казался, все же не есть чисто машинальное

движение, сходное с движением растительной жизни, простое отправление тела.

У растений и у животных самого низшего порядка отправления совершаются простым действием свойств органических веществ, взаимодействием тканей и жидкостей. Растения — машины, колеса которых зависят от химических свойств некоторых веществ и их соединений.

У животных есть отправления, совершающиеся тем же образом и потому относящиеся к разряду фактов растительной жизни. Но при совершении инстинктивного действия не происходит чисто машинального движения такого рода. Чтобы уберечь их от грозящей опасности, пеликан сталкивает в воду свои яйца, а змеешейка — своих птенцов; это факт инстинкта, ибо эти птицы в подобном случае всегда поступают одинаково; но оценка опасности предполагает действие ума и обдуманного наблюдения[20]. Конечно, пчела не знает геометрии, а бобр — архитектуры. Но в тех чудесных постройках, которые они возводят, есть доля, принадлежащая их собственному разумению. Так с их незнанием сочетается настоящий ум; животное проявляет ум при осуществлении самого инстинктивного дела; и доказательство тому — что птица изменяет способ устройства гнезда, меняет материалы сообразно требованиям места. Здесь ее толкает не роковая сила; здесь с ее стороны есть наблюдение, сравнение, выбор, то есть работа разумных способностей. Инстинкт влечет животное действовать в определенном направлении и определенным образом; ум позволяет ему выбирать между средствами, которые лучше всего обеспечивают исполнение его действия.

[20] У. Суэнсон, *On the habits and instincts of animals*, с. 17 (в *Cabinet Cyclopaedia* доктора Ларднера).

Icterus mutatus (*Orchard starling* у американцев) подвешивает свое полушаровидное гнездо к ветвям плодовых деревьев и составляет его из длинных стеблей гибкой травы, которые сшивает между собой в подлинном смысле слова. Когда он выбирает для этого длинные облиственные ветви, он делает гнездо менее глубоким и более легкого плетения, потому что ветка достаточно его укрывает и избавляет от необходимости придавать постройке большую прочность[21]. Ясно, что, поступая так, *Icterus mutatus* должен быть способен судить о прочности, длине и характере ветки и сопоставлять эти факты с формой, которую следует придать гнезду.

[21] См.: Дж. Ренни, *Bird-Architecture*, новое издание, с. 197.

В этом случае ум птицы явно приходит на помощь ее инстинкту, делая его побуждение более разумным.

Гусеница, называемая *листоверткой*, строит себе жилище в листе, который сворачивает в виде цилиндра; лишь более узкий его конец имеет отверстие для входа и выхода обитателя. Листовертка начинает работу с того, что натягивает от одного края листа к другому несколько очень прочных шелковых нитей; затем она подтягивает эти своего рода канаты лапками и, заставив края сблизиться, удерживает их на месте более короткими нитями. Если одна из толстых жилок листа слишком толста и упруга, гусеница ослабляет ее, подгрызая там и сям на части ее длины.

Этот любопытный факт, замеченный знаменитым Ш. Бонне, показывает нам, что гусеница действует не только инстинктивно, то есть по слепому побуждению, но и изменяет свои приемы сообразно свойствам листа. Она проявляет некоторый ум в постройке своего жилища, во всем прочем вполне инстинктивной.

Без сомнения, чистый инстинкт побуждает шмеля высасывать из цветов мед, которым он питается. Но когда он летает в поисках места, где устроит гнездо, он осматривает, проверяет полости, которые дают ему удобное и подходящее место; инстинкт тогда действует разумно; так как формы, которые предстают его осмотру, различны, обстоятельства не всегда одни и те же, насекомое должно уметь их воспринимать и оценивать. Действие в целом инстинктивно, но способности, которые проявляет шмель, обнаруживают настоящий ум.

Разве последние наблюдения над пчелами не показали, что матка может по желанию откладывать яйца мужские или женские? Для этого у нее есть мышцы, которые она по своему усмотрению приводит или не приводит в действие[22]. Отсюда явно следует, что пчела должна обладать способностями, позволяющими ей судить, когда надлежит откладывать самцов, а когда самок; почему она должна откладывать больше самцов, чем самок? Конечно, она этого не знает, не может проникнуть в причину; но она знает, когда ей нужно действовать так или иначе.

[22] См.: Флуранс, *De l'instinct et de l'intelligence des animaux*, 4-е изд., с. 316.

У человека, у которого инстинкт проявляется так же, как у животного, но чаще всего заслонен вмешательством ума, наблюдается то же явление. Ребенок играет в силу инстинкта, основанного на необходимости развивать мышцы и приучать члены к разным движениям; охота к игре — факт инстинкта; ребенка влечет играть побуждение, в котором он не отдает себе отчета и о котором не размышляет. Но в самих играх он проявляет ум, наблюдает, соображает, размышляет.

Это вмешательство ума в инстинктивное действие не всегда совершается в одинаковой степени. Есть действия, в которых доля

наблюдения, размышления очень мала; есть другие, где она значительна. Существуют различные формы инстинктов; в самом низу лестницы мы находим те, что едва отличаются от отправлений жизни чисто растительной; на самом верху — те, что не могли бы осуществиться без ряда разумных действий, как бы подсказанных животному природой, но в которые ум, сравнение, размышление вмешиваются каждое мгновение.

Чтобы составить себе понятие об этих различных разрядах животного инстинкта, нужно изучить одно отправление во всем зоологическом ряду и сопоставить действия, с которыми оно связано. Я выбираю размножение как одно из общих отправлений, с которыми связаны самые разнообразные действия.

У животных самого низшего порядка способность размножения не порождает собственно инстинкта; это еще только отправление, растительное действие, при котором части организованного существа действуют в силу своих химических свойств. Открытия современной химии склоняют к признанию того, что тела, именуемые органическими, суть лишь соединения, образованные по общим законам сродства, но приобретающие новые свойства, высшее из которых — растительная сила[23].

[23] См.: М. Бертло, *Chimie organique fondée sur la synthèse*, т. II, с. 805 и сл.

В самом деле, жизненная сила не нужна для образования органических веществ. «Химические действия жизни, — пишет г-н Марселен Бертло, — обусловлены игрой обычных химических сил точно так же, как физические и механические действия жизни совершаются по игре сил чисто физических и механических». В обоих случаях мышечные силы, приводимые в действие, одни и те же, ибо они производят одни и те же действия.

«Жизнь, — справедливо замечает г-н де Катрфаж[24], — не такая особая сила, чтобы по своей природе противостоять силам физико-химическим. Без сомнения, во множестве обстоятельств она изменяет и уравновешивает их действие; но и физико-химические силы, приведенные в действие одновременно, весьма часто так же действуют друг на друга. Теплота изменяет действие электричества, и обе они в некоторых случаях берут верх над тяжестью, то есть над притяжением, над той силой, самой всеобщей из всех, которую находишь и в неорганических телах, и в живых существах, точно так же как в солнцах и мирах. Жизнь есть просто сила, которая присоединяется к другим силам. Это она рядом с неорганическими телами и над ними вызывает к бытию организованные существа. Организация и, следовательно, индивидуализация известного количества материи — вот два громадных явления, которые жизнь вносит на поверхность земного шара».

---

[24] *Unité de l'espèce humaine, — Revue des Deux Mondes* от 15 декабря 1860.

То, что г-н де Катрфаж говорит о жизни, можно сказать и об инстинктивном уме. Это тоже новая сила, которая присоединяется к жизненной силе, действует на нее, как та действует на силы физико-химические, порождает волю, как жизненная сила порождает организацию, и вызывает познание, как та приводит к индивидуализации. Сознательный ум есть сила высшего порядка; он сопутствует свободной, или обдуманной, воле и рассудочному, сравнивающему понятию, которые действуют на инстинкт, как инстинкт действует на жизнь, а жизнь — на силы физико-химические.

Между этими различными силами, как и между различными классами существ, границы не обозначены четко; от одной

переходишь к другой через посредствующие звенья, где сливаются жизненные силы отправлений и инстинкт, инстинкт и ум.

У человека эти четыре порядка сил — силы физико-химические, силы жизненные, силы инстинктивные, силы умственные — действуют совместно и сообща образуют человеческую личность. В каждом ряде действий узнаешь участие каждой из них; почти нет действий, где бы каждая не имела своей доли. Лестница существ являет нам сочетания этих четырех порядков сил в разных пропорциях, и в каждом отправлении участвуют одновременно несколько из них.

Человеческая наука не может сказать, коренным ли образом различны по своей сущности эти силы или они порождают одна другую. Она может лишь удостоверить их связь и присутствие в различных организмах.

Способность первичной клеточки сохраняться и воспроизводиться есть в некотором роде исходная точка органической жизни. Клеточки растут, умножаются. Новые образуются снаружи или внутри старых или вклиниваются между уже существующими. Они группируются и соединяются, образуя ткани различной природы, в которых совершаются химические действия по законам, соответствующим для растительного царства тому, чем является кристаллизация для царства животного; тогда-то и возникает растительная особь. Лист растения есть соединение клеточек, и доказано, что все придаточные органы растений суть лишь различно видоизмененные листья[25]. Различные части цветка, орган размножения, в свою очередь лишь превращения листа. Итак, в явлениях прорастания и роста встречаешь лишь распространение начала растительной жизни, характерные отправления которой

— всасывание, выделение и секреция. Некоторые части тела животных управляются действиями не более высокого порядка. Способность полипов к размножению — а они размножаются настоящим почкованием — есть в действительности лишь форма этих растительных отправлений, и между спорами хары, вошерии, некоторых конферв и размножающими узелками гидр, почками альционов расстояние очень невелико. Не более заметна разница между отводками гвоздик и зачатками гидр, возникающими делением, которые, как показал Трамбле, становятся новыми особями.

[25] См.: Аш. Ришар, *Nouveaux éléments de botanique*, 6-е изд., с. 10 и сл., и Ог. де Сент-Илер, *Morphologie végétale* (Париж, 1841).

Способность к размножению здесь еще совершенно механическая: ум не участвует в ней ни проблеском, ни даже в неосознающем виде; все зависит единственно от свойств организованной материи. Первое пробуждение настоящего инстинкта размножения у животных отмечено появлением яиц; да и то поначалу, пока это яйцекладное размножение лишь чередуется с почкованием, ничто не указывает у животного на инстинктивные способности, отличные от произвольных действий. Так, никаких проявлений инстинкта не различить у *наид* — кольчатых червей, которые размножаются то яйцами, то своего рода отводками, образующимися на заднем конце тела; членики этих отводков порождают новых особей. Те сперва держатся за мать головой и хвостом, а затем отделяются и живут собственной жизнью.

Эти способы размножения можно уподобить восстановлению кожи, мышц, волос у животных более высокого порядка, отрастанию ног у речных раков, хвоста у ящериц и веретениц, глаз у саламандр[1]: это явление чисто физиологическое.

[1] См. об этом: Г. Штраус-Дюркгейм, *Богословие природы*, т. II, с. 257, 258.

Инстинкт, который побуждает самца рыбы проплыть над икрой, чтобы оплодотворить ее, мало чем отличается от собственно физиологического отправления, от тех действий органической жизни, что основаны на свойствах тканей и жидкостей[2]. Потребность помочиться или откашляться точно так же вызывается выделениями, которые ее и порождают. Разумного в действии рыбы-самца лишь одно: он узнает икринки, плавающие в воде, и места, где самка их откладывает. Таким образом, инстинктивное действие сводится здесь, как и вообще питье и еда у животных, к тому, чтобы совершить известные движения и распознать особую природу того и другого. Самец не знает самки; он не совершает никаких действий, которые пробуждали бы в ней инстинкт любви и материнства. Самка, откладывая икру, как и самец, оплодотворяя ее, повинуется побуждению столь же слепому, как пищеварение, и оба пола в этом классе позвоночных тратят лишь самое малое количество инстинктивных действий: один — чтобы найти икру, другая — чтобы отложить ее в воде, наиболее благоприятной для вылупления. Я говорю здесь, разумеется, о большинстве рыб: есть и такие, например колюшки трехиглые и девятииглые, которые строят гнездо, знают свое потомство и заботятся о нем[3].

[2] Из этого разряда я, разумеется, исключаю хрящевых рыб, которые спариваются, яйцеживородящи и чей инстинкт размножения уже близок к инстинкту пресмыкающихся.

[3] См. об этом любопытную записку г-на Косте *О гнездостроении колюшек трехиглых и девятииглых* в *Записках Академии наук*, раздел «Иностранные ученые», т. X, с. 567 и след.

Итак, у рыб мы находим одну из самых низких ступеней инстинкта — ту, где он предстает лишь продолжением

отправления. Действие, которое совершает животное, не предполагает ни памяти, ни сравнения, ни умозаключения, ни обобщения; это следствие неодолимой силы, которая его влечет и которая, по всей вероятности, зависит от впечатлений, действующих на рыбу, от запахов, которые ее привлекают и вызывают нервное возбуждение.

Поднимемся на ступень выше по лестнице инстинкта размножения — и встретим земноводных. У этих пресмыкающихся потребность размножения, как показали гг. Дюмериль и Биброн, тоже чисто телесная; она никак не сказывается на их общественной жизни; между ними нет никакой общности желаний и привязанностей, нет даже мимолетной привязанности самца к самке; самка никогда не бывает ни подругой, ни матерью своим детям, которые навсегда остаются ей неизвестны. И все же инстинкт, проявляемый земноводным, указывает уже на действие более разумное, чем, по-видимому, действия рыб. Самка не покидает своих яиц, пока они не оплодотворены, или по крайней мере покидает их лишь после того, как самец уже вмешался. Настоящего спаривания здесь, конечно, нет: зачатки нового существа образуются, вырабатываются заранее в яичниках, отделяются от них и переходят в яйцеводы прежде, чем получат жизнь. Оплодотворение совершается лишь в клоаке; спаривание в этом случае несовершенное. Если же яйца оплодотворяются только после того, как вышли из тела самки, то самец по меньшей мере облегчает их выход. У бесхвостых четвероногих земноводных самец, взобравшись на самку, крепко обхватывает ее и задними лапами помогает ей освободиться от яиц, которые медленно выходят через свободное отверстие клоаки, а затем поливает их семенной жидкостью. У хвостатых земноводных самец своими

заигрываниями побуждает самку отложить яйца и оплодотворяет их, едва они выйдут.

Как видим, инстинкт животного здесь не так груб, как у рыбы. Ему нужно узнать самку и выполнить ряд обдуманных действий. Ведет его по-прежнему слепая сила, но к этому инстинкту размножения уже присоединяются действия, выдающие страсти и предполагающие способности. Этим и ограничивается участие ума в собственном смысле: самец, извлекая яйца из самки, лишь удовлетворяет толкающую его потребность; о яйцах, о детенышах он не заботится, ведь они родятся в облике, непохожем на его собственный: это будут головастики, которые сами добудут себе пищу. Однако у некоторых земноводных уже заметен инстинкт отцовства или материнства. Пипа не только помогает самке разрешиться от яиц, как делают некоторые жабы, но еще и раскладывает их у нее на спине, после чего самка уходит в воду. В воде кожа земноводного, раздраженная прикосновением яиц, вздувается и образует ячейки, в которых детеныши вылупляются и остаются, пока не закончат превращений. Только тогда мать возвращается на сушу. Здесь самка должна уметь судить о том, насколько развились детеныши, а самец — узнавать свою подругу, которая подчиняется его действиям. Участие ума очевидно; не то чтобы можно было допустить, будто пипа отдает себе отчет в том, что делает, но, делая это, она приводит в действие способности, которые представляют собой нечто иное, чем отправления.

Перейдем к животным, у которых происходит настоящее спаривание, и мы найдем ум более заметный, поставленный на службу действию, разумному пока еще вслепую.

Сперва мы встречаем животных, у которых мать узнает свои яйца и заботится о них, не зная при этом детенышей, которые из них выйдут. У десятиногих раков самка носит яйца

подвешенными к ложным ножкам брюшка; у цимотоид есть настоящая сумка, предназначенная для вынашивания. Пауки делают больше: некоторые из них таскают за собой и мужественно защищают кокон, в котором заключены их яйца. Они даже проявляют уже некоторую заботу о своем потомстве. Можно видеть, как пауки-волки, едва опасность миновала, возвращаются за драгоценным мешочком с яйцами и некоторое время охраняют своих детенышей. Ликозы, или тарантулы, носят кокон прикрепленным к брюшку. Когда детеныши вылупятся, они держатся, вцепившись в тело матери, пока не окрепнут настолько, чтобы самим искать пищу.

Напротив, у змей и черепах забота о яйцах не идет дальше выбора места, пригодного для их вылупления; а у некоторых, например у сухопутных черепах, самка и вовсе ограничивается тем, что оставляет их в ямках.

Итак, инстинкт размножения соответствует здесь различным степеням ума. Одни животные вносят в его исполнение лишь весьма ограниченные восприятия, например способность распознать ямку или вырыть ее; другие действуют с большим разбором и заботятся то о гнезде, то о яйцах, а то и о детенышах.

Насиживание, которое появляется у птиц, но отсутствует у ящериц и змей, если не считать питонов, знаменует значительный шаг вперед в развитии животного ума. У птиц самец узнает свою самку, заигрывает с ней, ухаживает за ней; нередко он даже помогает ей заботиться о яйцах и строить гнездо, воспитывать и кормить птенцов. Впрочем, и в разумном инстинкте птиц есть свои ступени. Одни проявляют гораздо больше ума, чем другие, потому что их яйцо требует больше заботы, а птенец ждет от родителей корма в клюв.

У куриных и у большинства водоплавающих птенцы уже через несколько мгновений после выхода из яйца способны бегать и искать себе пищу. Родителям тогда нет нужды готовить и приносить им корм. Все разумные действия, которые влекут за собой такие заботы о пропитании, остаются им чужды; зато молодая птица быстрее достигает той степени инстинктивного ума, что свойственна ее виду, и не проходит через те фазы, когда инстинкт еще причастен к отправлению и не сопровождается никаким умом. Изучите все действия, которых требуют постройка гнезда, насиживание, воспитание птенцов, — и вы увидите в них весьма сложную совокупность разумных и обдуманных действий. Животное распознает и выбирает материал для гнезда, различает разные виды пищи, годные для выводка, и при нужде приготовляет ее. Оно следит за безопасностью птенцов и покидает их лишь тогда, когда рассудит, что его забота больше не нужна. Совершая все эти действия, птица не знает ни их смысла, ни их природы; она исполняет их всегда одинаково или по крайней мере видоизменяет лишь в тесных пределах. Это доказывает, что она действует инстинктивно. Однако, как я уже замечал, это инстинктивное дело не может быть исполнено, если у животного нет известных душевных способностей, и сами изменения, которые оно вносит в свои действия, доказывают, что оно не простой механизм, что его действие не чистое отправление. Нет машины, которая сама слегка переделывала бы свои колеса, когда ей не хватает места или когда меняется природа материала, над которым она работает; нет физиологического отправления, которое вдруг преобразилось бы, когда вещества, поступающие в тело, становятся иными. Птица же, напротив, меняет и корм, и способ постройки гнезда в зависимости от места; она учится, приобретает опыт, —

следовательно, она разумна в самом исполнении инстинктивного действия. Когда собака, оставив нечистоты на камне, скребет его задними лапами, как сделала бы это на рыхлой земле, чтобы засыпать испражнения, она действует без разбора и без ума: это у нее чистое дело инстинкта; но когда кошка, оставив нечистоты в ямке, старательно засыпает их землей и убеждается, что они хорошо скрыты, она ставит на службу тому же инстинкту, что двигал собакой, настоящий ум.

Если от разряда животных, откладывающих яйца, мы перейдем к животным, которые рождают детенышей живыми и выкармливают их молоком, мы поднимемся по лестнице ума еще выше. Конечно, и здесь самца к самке влечет инстинкт, и он же побуждает мать заботиться о детенышах и кормить их; но сколько ума проявляется во всех этих действиях, какое разнообразие страстей приходит в движение, какой ряд умственных действий приходится совершить! Здесь в заботе о потомстве обнаруживается та же степень ума, что и в добывании пищи. Животное от природы нуждается в пище; однако, чтобы схватить добычу, оно не всегда прибегает к одним и тем же средствам, к одним и тем же уловкам, не тратит одних и тех же усилий. Оно ищет, наблюдает, сравнивает, вспоминает; узнает места, где побывало, и перемены, которые в них произошли; остерегается врагов, — и это, несомненно, плод опыта, ибо молодые животные менее осторожны, чем старые, а в краях, где не бывал охотник, животное легко дается в руки. В том, как самка млекопитающего устроит логово, где принесет приплод, в предосторожностях, которыми она укроет детенышей от человека или от зверя-врага, она проявит такую же предусмотрительность, такую же наблюдательность. В каждом действии будет тогда столько же ума, сколько инстинкта, и сам детеныш будет нуждаться в

воспитании тем больше, чем больше ума ему предстоит иметь. Совершенно слепой инстинкт, свойственный зародышу, близкому к жизнеспособности, вскоре после рождения — раньше или позже — уступит место инстинкту разумному. Правда, в классе сумчатых, который служит как бы посредником между млекопитающими и животными с превращениями, слепой инстинкт держится сравнительно дольше: детеныш рождается не вполне сформированным, глаза у него едва обозначены, кости почти еще хрящи, и происходит своего рода насиживание. Молодой сумчатый, помещенный в сумку, не имеет даже такого устройства тела, а следовательно, и такого инстинкта, которых хватило бы, чтобы сосать; он может лишь прильнуть к соску, заменяющему плаценту, которой эти животные лишены, а у матери есть удивительное приспособление, позволяющее ей впрыскивать молоко в рот зародыша, который, в свою очередь, защищен особым устройством, не дающим ему задохнуться от слишком обильной струи. Лишь к концу этой как бы наружной беременности детеныш, как это наблюдается у кенгуру, приобретает достаточно ума и достаточно развитое тело, чтобы начать принимать пищу, которую будет свободно и сам добывать, когда достигнет взрослого возраста.

У настоящих млекопитающих вынашивание происходит исключительно внутри; к концу беременности животное уже вышло из чисто функционального периода. У утконосов ясно виден переход от яйцерождения к живорождению, и в этом семействе ум опускается до уровня ума водоплавающих птиц, чьи повадки напоминают их собственные.

Душевная жизнь животного, еще не достигшего взрослого возраста, которому всего несколько дней, несколько часов от роду,

занимает промежуточное место между жизнью чисто зародышевой и жизнью разумной.

Выше я уже указывал на сходство умственного состояния зародыша с состоянием человека, погруженного в глубокий сон. Но, желая показать, как во сне рядом с чисто функциональной, или растительной, жизнью появляется инстинкт, я должен вернуться к этому предмету.

Каждое ощущение, приходящее к новорожденному, расширяет круг его представлений и его восприятий. Сначала эмбрион жил, как растение, чисто функциональной жизнью; когда же он стал настоящим плодом, когда органы его полностью сложились и позволяют воспринимать некоторые ощущения, проявляется инстинкт, то есть неосознающий ум. Но матка, в которой развивается животное, — среда слишком тесная, чтобы ощущения в ней были многочисленны и разнообразны; да и органы плода к этому не приспособлены. Его восприятия могут быть лишь смутными и неопределенными. Поэтому душевная жизнь зародыша, достигшая высшей ступени своего развития, должна приближаться к жизни класса самых низших животных — например, моллюсков. У этих животных, как и у рыб, инстинкт несколько поднимается над отправлением, однако крайнее несовершенство чувствующей части влечет за собой и меньшую степень ума. Я говорю по крайней мере о таких моллюсках, как оболочники и мшанки, у которых полы слиты и которые размножаются одновременно яйцами и луковичками, столонами, или же о безголовых моллюсках, о щитожаберных, которые гермафродиты. У этих существ инстинкт размножения не влечет за собой никакого произвольного действия в собственном смысле: это отправление, которое совершается без участия двух отдельных животных, и нужно подняться до брюхоногих, до

головоногих, вообще до раздельнополых животных, чтобы встретить ряд действий, знаменующих первое появление инстинкта, который уже не есть только работа функциональных аппаратов.

Если у зародыша инстинкт, а у ребенка, у детеныша ум не проявляются сами собой, если для появления первого нужно, чтобы органы достигли полного развития, а для появления второго — чтобы животное получило воспитание от собственного опыта и от родителей, то это потому, что душевной жизни, как и органической, нужен период вызревания. Превращения, наблюдаемые у животного, когда оно переходит от одной поры жизни к другой, — превращения, которые по выходе из яйца сводятся у ракообразных и паукообразных к смене кожи и небольшим изменениям органов, а у животных высшего порядка почти исчезают или сливаются с простым ростом, — соответствуют переходу функциональной жизни в инстинктивную и инстинктивной жизни в разумную. Насекомые с полным превращением[4], которые всего отчетливее являют нам это явление, у которых из яйца выходит личинка — гусеница или червь, — та затем превращается в куколку, а из нее выйдет взрослое насекомое, хорошо обозначают различные ступени животной жизни. В яйце она еще только функциональная, в личинке, или гусенице, чаще всего чисто инстинктивная. Личинка, живущая в земле, в древесине, в плодах, в разлагающихся животных веществах, почти подобна плоду, живущему в материнской утробе: она получает лишь весьма ограниченные впечатления, и ее инстинкт сводится почти к одним действиям, обеспечивающим ей пищу и жилище. Личинки муравьев уже обладают инстинктом просить и получать корм прямо от рабочих муравьев, как птенцы получают его от матери:

проголодавшись, они приподнимают тело и ищут ртом рот рабочих, которым поручено их кормить; муравей тогда раздвигает челюсти и позволяет им брать прямо у себя изо рта жидкость, которую они там ищут[5], — а это уже больше, чем инстинкт. У других видов насекомых жилище личинок говорит об уме, равном уму взрослого насекомого и даже превосходящем его; в этом случае наблюдается явление, подобное тому, что представляют некоторые обезьяны, которые в молодости смышленее, чем во взрослом состоянии. Выше я привел пример, доказывающий, что у гусениц настоящий ум бывает поставлен на службу инстинкту. Но большинство личинок питается чисто функциональным образом — таковы те, что кормятся соками животных или медовой влагой цветов. Состояние личинки сближает с состоянием зародыша еще и то, что оно по самой сути переходное и изменчивое; оно выглядит скорее периодом развития, чем устойчивым состоянием. Личинки быстро растут; многие меняют кожу и даже внутренние органы. Итак, вообще говоря, личинку можно считать простым проявлением чисто инстинктивной жизни.

[4] Есть насекомые, которые не проходят, собственно, через состояние личинки, иначе говоря, у которых личинка — лишь полуличинка, ибо она уже имеет облик насекомого; в действительности это лишь зародыш, живущий на открытом воздухе. См. Т. Лакордер, *Введение в энтомологию*, т. I, с. 56.

[5] См. П. Юбер, *Местные муравьи*, новое изд., с. 68.

У взрослого насекомого жизнь начинает уже быть разумной: как справедливо замечали разные натуралисты, насекомое, несмотря на свою малость, обладает известной долей подлинно умственных способностей. Всякий, кто станет наблюдать республику пчел или муравьев, увидит, как эти крошечные существа проявляют настоящий ум в действиях, направленных к исполнению инстинктивного дела. Чтобы в этом убедиться, довольно,

впрочем, прочесть занимательные труды женевцев Франсуа и Пьера Юберов[6]. Но прежде чем перейти из состояния личинки в состояние взрослого насекомого, оно проходит как бы второе вызревание: гусеница снова становится зародышем, и кокон — словно другое яйцо, где должно совершиться это превращение. Так по крайней мере обстоит дело у большинства насекомых, у тех, что претерпевают полное превращение. Некоторые куколки ничем не отличаются от собственно личинок: они не похожи на прочих — неподвижные комки, наделенные смутной чувствительностью, простой способностью передвигаться, — а столь же деятельны и прожорливы, как сами личинки. Животное в этом случае возрождается к новой жизни, более развитой, более разумной, и проявляет ее уже в оболочке, скрывающей его в состоянии куколки, — чтобы выйти из нее и ее прорвать. У ложноживородящих животных, таких как хрящевые рыбы, скорпионы, двукрылые насекомые из группы серых мясных мух и дексий, веретеницы и некоторые ящерицы, гадюки и т. д., яйцо вскрывается внутри яйцеводов, развивается в матке, и, следовательно, периода насиживания нет. Когда животное появляется на свет, оно уже приняло свой облик. Такой способ размножения, по-видимому, объясняется тем, что снаружи яйцо не нашло бы условий, достаточных для своего развития и созревания. Известно, что живородящие змеи живут в сухих местах, и г-н Флоран Прево показал, что ужей можно сделать живородящими, если долго держать их в местах, лишенных воды. Эти животные, следовательно, минуют первый период, когда проявляется одна лишь инстинктивная жизнь, или, лучше сказать, эта жизнь протекает в материнском лоне, как у животных более высокого порядка.

[6] См.: Франсуа Юбер, *Наблюдения над пчелами*, изданные в 1814 г., и Пьер Юбер, *Местные муравьи*, новое изд., 1861, in-12.

Итак, различные душевные фазы животного мира можно подытожить следующим образом.

Зародыш оплодотворенного яйца, образование зародыша соответствуют чисто функциональной жизни. Если яйцо оплодотворяется после того, как вышло из тела матери, инстинкт самца едва отличается от отправления. Если оно оплодотворяется в теле матери, но при еще несовершенном спаривании, пока яйцо находится в клоаке, или сразу после его выхода, инстинкт самца уже более развит, к нему примешиваются разумные действия. Если спаривание совершенное, любовь животного непременно сочетается с действиями, в которых ум очевиден.

Эмбрион зарождается и развивается в яйце — будь то яйцо действительно снесенное и требующее насиживания, будь то яйцо, вынашиваемое в теле матери, как у яйцеживородящих, или же беременность заменяет насиживание. Пока это лишь чисто растительная сила, которая обнаруживается появлением *punctum saliens*; позже является настоящее животное, и инстинкт уже подает признаки жизни. Но этот инстинкт, берущий начало в смутных и неполных ощущениях, едва отличимых от растительных отправлений, все еще есть нечто слепое и неотвратимое. Таков инстинкт цыпленка, готового вылупиться из яйца, или плода незадолго до родов. Если эмбрион завершает свое развитие вне яйца или матки, как у насекомого или сумчатого, то инстинкт зародыша уже причастен инстинкту детеныша, взрослого животного и в некоторых случаях может сравняться с ним: так бывает у гусеницы. Ибо тогда органы зародышевой жизни приспособлены к наружной или полунаружной жизни, которую предстоит вести животному.

Когда животное увидело свет и приняло окончательный облик, когда умножившиеся ощущения породили многочисленные восприятия, инстинкт достигает высшей ступени развития; но этого развития он достигает лишь при условии, что развивается и сам ум. Инстинктивные действия высокого порядка не могут обойтись без упражнения известных умственных способностей; однако у животного ум всегда лишь служитель инстинкта. У млекопитающих, таких как собака, обезьяна, слон, которые кажутся нам самыми умными, ум в высокой степени участвует в чисто инстинктивных действиях, но тем не менее почти всегда остается подчинен инстинкту.

Только у человека преобладает ум; инстинкты у него еще сохраняются, но по мере того, как человек растет, они все больше подпадают под власть ума.

Так, плод в материнской утробе сначала живет лишь функциональной жизнью, затем смутной инстинктивной. Когда ребенок появился на свет, инстинкт достиг своей наивысшей точки, тогда как ум еще едва пробудился. По инстинкту ребенок сосет, по инстинкту узнает свою кормилицу; но спустя недолгое время ум отодвинет чисто инстинктивные действия на задний план. Надо, однако, заметить, что, пока ум не наберет достаточной силы, он не будет господствовать над инстинктами и будет служить лишь тому, чтобы им угождать и обеспечивать их исполнение. Только размышление может противопоставить в человеке необдуманному и неотвратимому побуждению соображения долга, права, пользы и т. д. Тогда разум занимает место инстинкта в управлении нашими поступками, и лишь с этой минуты мы становимся по-настоящему разумными. А сколько людей почти никогда не достигают этой вершины душевной жизни! Сколько людей, чьи рассуждающие способности постоянно

служат инстинкту, страсти, неотвратимому побуждению; кто знает добро и зло не высоким и сокровенным сознанием, не чувством права, а лишь простым знанием их последствий! Однако главное, что отличает нас в нравственном отношении от ребенка и от животного, — это то, что мы полностью сознаем свои поступки; и именно это сознание есть самое характерное проявление ума, ум по преимуществу.

Итак, от мгновения зачатия до зрелости человек проходит все фазы душевной жизни: растительное, или функциональное, существование, смутный инстинкт, инстинкт, отчетливо воспринимающий впечатления, знание инстинктивное, знание обдуманное.

Теперь, когда я дал обзор и как бы постепенный ряд различных форм инстинкта и ума, я должен показать, как во сне, сопоставленном с бодрствованием, обнаруживается подобная же постепенность.

Человек, погруженный в глубокий сон, в коматозное состояние без сновидений, возвращается, как я уже говорил, к той скрытой жизни, которая ненамного поднимается над жизнью чисто растительной и функциональной. Он не сознает своих действий, если еще их совершает. Он шевелит рукой, ногой, отдергивает то место, которое раздражают или колют, но не знает, что делает, не знает, что действует. Следовательно, он стоит ниже взрослого животного, которое знает, что действует, хотя и не созерцает себя действующим. Ощущение тогда, можно сказать, лишено восприятия, или, лучше, ощущение сопровождается лишь смутным восприятием; движение по-настоящему рефлекторное. Если во сне мозг начинает включаться в работу, если перед умом уже встают какие-то смутные и бессвязные образы, но это восприятие еще не пробуждает никакого представления, то

умственная жизнь остается пока жизнью низших животных — с той разницей, что во сне, сопровождаемом неполными сновидениями, обычно не возникает никакого соответствующего действия, тогда как у животного эти смутные восприятия влекут за собой действия и пробуждают связанные с ними инстинкты.

Пусть впечатления станут менее смутными, сновидения — яснее, и к этим восприятиям уже присоединятся более или менее произвольные представления. Но эти представления возникнут неотвратимо и как бы инстинктивно, без того чтобы ум отдавал себе отчет в своем действии или хотя бы вполне его сознавал. Значит, в действительности господствует все еще инстинкт; ум здесь лишь следует за ним. Во сне мы повинуемся всем телесным побуждениям или побуждениям привычки; наши воображаемые действия — следствие этих самых побуждений. Если сновидение принимает характер экстаза, сомнамбулизма, наши представления влекут за собой известные действия, даже прямо претворяются в действия. Когда вследствие болезненного перевозбуждения их живость сравнивается с живостью восприятия, они даже перестают отличаться от восприятий. Мы по-прежнему действуем неотвратимо, без участия нашей свободы, хотя ум развертывает всю свою тонкость и все свои средства. Нас толкает, нас влечет инстинкт, хотя ведет нас ум и позволяет нам знать о своих действиях, помнить их. Я говорю — знать, а не сознавать: сознания в сновидении нет, или оно появляется лишь смутно, когда мы уже близки к пробуждению. Вот почему, как я уже отмечал, нам нельзя вменять в вину поступки, совершенные во сне. Это самопроизвольные порождения организма, при которых мы присутствуем, не имея возможности ими управлять, или которыми управляем силой привычки, действием хоть и разумным, но оттого не менее механическим. Мы действуем тогда

так же, как действует животное под властью инстинкта. Этим умом, который проявляется во сне и расходуется на исполнение воображаемых действий, произвольных, но не обдуманных, мы обязаны умственной жизни бодрствования. У животного же, напротив, он коренится в самом его сложении: бодрствуя, оно присутствует при своих действиях так, как мы во сне присутствуем при своих; увлекаемое инстинктом, оно прилагает свой ум к исполнению того действия, которое инстинкт ему подсказывает, не противодействуя ему, чтобы его побороть или изменить. Так и спящий, хоть и понимает свое сновидение, присутствует при нем как при внешнем зрелище и потому не может ему противиться. Если же между иллюзией и чувством действительности начинает завязываться борьба, если у человека появляется смутная мысль, что он игрушка сновидения, если само это сновидение вызывает у него неприятное впечатление, вырывающее его чувства из оцепенения, — тогда в нем совершается возврат к разумной жизни, который его и пробуждает.

Следовательно, можно сказать, что если во сне наш ум и действует, то действует совершенно инстинктивно: он есть знание действия, но не его сознание. Поэтому ум спящего должен поступать так же, как ум животного. Возьмем пример. Мне снится, что вор грозит мне смертью; я бегу; на бегу натыкаюсь на реку, кидаюсь искать лодку, чтобы переправиться; прыгаю в нее и изо всех сил стараюсь грести быстрее. Во всем этом я действую разумно: я понял, к каким средствам нужно прибегнуть, чтобы избежать опасности, и прибегаю к ним. Но этим участие моего ума и ограничилось; дальше в своем размышлении я не пошел; я не спросил себя, возможно ли появление этого вора, может ли быть лодка там, где я помещаю реку, вправду ли я держу весла.

Восприятия мои были внезапны, а действия инстинктивны, хотя и разумны, ибо они не были обдуманы. Значит, во сне я вел себя здесь так, как вело бы себя бодрствующее животное. Оно получает впечатление, подчиняется ему, не рассуждая, и его ум целиком занят исполнением того действия, которое это впечатление вызывает. Никогда в своем инстинктивно-разумном действии оно не соотносит средство с целью. Впечатление подсказывает мысль, а мысль повелевает действием. Животное видит, узнает, судит, но это суждение совершенно самопроизвольное и не обдуманное, как суждение спящего. Это неотвратимая работа его ума, которая к тому же прилагается лишь к вещам гораздо более простым, чем те, что рисует нам во сне воображение.

Когда мы позволяем себе увлечься внезапным порывом страсти, например гневом или чревоугодием, мы подпадаем под власть инстинкта; наш поступок, конечно, разумен, ибо предполагает точные понятия и суждения, но ум наш действует как бы самопроизвольно, он поставлен на службу неотвратимому побуждению; вот почему считается, что в первом порыве страсти, порожденном мощным действием организма, человек теряет свою свободу. Ребенок поступает не иначе: его толкают страсти, а не ведут обдуманные решения. Он разумен в своих поступках, но поступки эти подсказывает ему инстинкт, а не ум. В этом он ближе к животному, чем взрослый человек, хотя доля ума у него бесконечно больше той, какой обладает животное.

Отличительная черта инстинкта, как видим, — самопроизвольность; ум, который он предполагает у животного, тоже самопроизволен; ум животных действует со знанием, но не с сознанием, по принуждению, а не по выбору, — совсем как у спящего.

Поскольку исходная точка человеческого действия (я говорю — действия, а не отправления) — это мысль, порожденная впечатлением, а возникновение или припоминание мысли чаще всего совершается самопроизвольно, а не по воле, инстинкт следует считать исходной точкой огромного большинства наших поступков. У ребенка, у человека первобытного племени в особенности поступок чаще всего лишь следствие таких самопроизвольных мыслей. Но в силу способности своего существа к совершенствованию человек приобретает умение судить, сопоставлять, связывать мысли по своему выбору, отвергать те, что приходят к нему сами, когда они не относятся к занимающей его мысли, и действовать лишь согласно мыслям, которые он сравнил и обсудил. Эта способность к обдумыванию, как я уже говорил, — высшая ступень, какой может достигнуть человеческий ум; именно она ведет нас к исполнению величайших наших трудов и к самым прекрасным открытиям. На ней покоится наука. Обдумывая, размышляя, упорядочивая свои мысли и проверяя их одну другою, человек владеет собой и приходит к полному самосознанию. Инстинктивное побуждение имеет над ним в эту минуту лишь слабую власть; обдуманная мысль берет в его уме верх над чувством, которое в действительности есть лишь одна из форм инстинкта.

Хотя ум, достигший такого сознания самого себя, бесспорно превосходит инстинкт, инстинкт все же дает нам знания, которые свободный умственный труд мог бы дать лишь несовершенно. Давно замечено, что знания чувства надежнее знаний чисто научных и выведенных рассуждением. *Incertum est et inaequale quidquid ars tradit; ex aequo venit quod natura distribuit*, пишет Сенека[7].

[7] *Письма*, CXXI.

В знании чувства, конечно, участвует и ум, поскольку не все в нем инстинкт; но ум тогда, как у животных, служит лишь развитию первоначального инстинктивного знания; он подчиняется предшествующему впечатлению, которое не есть плод сознательной работы мысли. Знания, которые обнаруживает животное, почти всегда этого рода. Вот почему в отведенной ему области действия оно ошибается реже нас; по той же причине у женщины, у которой инстинкт сохраняет больше власти, чем у мужчины, наблюдаются тонкость чувства и меткость непосредственного суждения, в которых нашему полу отказано. Проявления ума, которые больше всего удивляют нас у животных, целиком основаны на инстинктах, и доказательство тому дают насекомые, самые поразительные из всех животных по своему искусству. Они никогда не ошибаются, строя свое жилище, гнездо, кокон. Собака, обезьяна, напротив, в действиях, которые основаны на чисто личном опыте, совершают явные и частые промахи. И если наш род совершает самое возвышенное, он же в своей области действия больше всех подвержен ошибкам.

Поскольку человек рождается разумным, а необходимое выражение человеческого ума — язык, то знание языка, которое человек приобретает, проистекает главным образом из знания чувства. Язык, впрочем, основан на сочетании знаков, установленных не волей, а связанных с тесным соотношением восприятий, мыслей и движений организма[8]. Ребенок самопроизвольно постигает начала и правила, которым подчиняется составление и согласование слов; он не учит грамматику — он приобретает чувство грамматики. Во всем этом, как и во многих инстинктивных действиях, инстинкт и ум действуют сообща[9]. Ум, проявляющийся у ребенка, который начинает говорить, — неосознающий: он видит, а не ищет, он

основан на интуиции, а не на обдуманном и произвольном восприятии. Так становится понятно, почему языки легче усваиваются в детстве, чем в зрелом возрасте. Заметим же, что языки — не только плод памяти: они требуют и суждения. И что же? Хотя ребенок не так умен, как взрослый, он скорее овладевает ими. Разве это не явное доказательство того, что его ум действует тогда инстинктивно? Стало быть, чувство языка можно отнести к разряду самопроизвольных и инстинктивных действий ума; оно не есть приобретение мысли, это свойство нашего устройства, выражение наших умственных способностей в действии. У животных нет членораздельной речи, но крики, жесты, движения, которыми они выражают состояние своей души, тоже возникают самопроизвольно[10]. Есть, однако, такая разница между языком мимики и междометий у животного и настоящим языком человека: оба основаны на инстинкте, но первый никогда не поднимается выше, тогда как второй дает уму основу, над которой тот работает и которая ведет его к совершенствованию и изменению речи. Здесь, как и во всех человеческих действиях, обдуманное знание завладевает инстинктивным действием, чтобы направлять его и упорядочивать. Не будь этого, ребенок рождался бы говорящим или по крайней мере начинал бы говорить без всякого воспитания со стороны родителей, едва его мозг развился бы настолько, чтобы совершать умственные действия, которых требует язык; а этого не бывает.

[8] См. Ад. Гарнье, *Трактат о способностях души*, т. II, с. 455.

[9] См. об этом прекрасный труд г-на Э. Ренана *О происхождении языка* (2-е изд., Париж, 1858), с. 89 и след.

[10] См. об этом: Флуранс, *Об инстинкте и уме животных*, 4-е изд., с. 95.

Подводя итог, видим, что знаниями чувства, или интуитивными, следует называть понятия, приобретенные необдумывающим умом, — понятия, которые размышление порой лишь ослабляет, как это бывает с чутьем к языкам, с чутьем к людям и т. д.

Во всем этом роде понятий ум действует так же, как во сне, то есть не отдавая себе отчета в том, что делает.

Многие открытия, восходящие к первобытному обществу, были, по всей вероятности, плодом этого разумного инстинкта, который ослабевает по мере того, как общества стареют, и место которого стремятся занять обдуманные действия. Хотя человек, становясь рассудительнее и менее инстинктивным, по-прежнему повинуется закону природы, принято считать инстинкт более прямым действием природы, потому что он более непосредственное ее порождение. В этом смысле можно сказать, что человек, ставящий свой ум лишь на службу инстинкту, в большей мере дитя природы, чем кабинетный ученый: он прямее подчиняется закону побуждений, которые сообщают ему ощущения, и меньше обдумывает свои поступки. Значит, человек, который видит сон и которого во сне неизбежно ведут впечатления, отраженные в его уме, хотя он и не вполне сознает свое действие, — такой человек, говоря все тем же языком, ближе к природе, чем человек бодрствующий: он спускается вниз по лестнице ума и возвращается в разряд животных, которые мыслят, судят, действуют в силу побуждения — непосредственного и необходимого следствия ощущений. Зато он приобретает бóльшую способность к некоторым действиям, поскольку эти действия становятся уже не делом выбора, а делом чувства и инстинкта; впечатления его живее, страсти властнее, заботы исключительнее. Умственный подъем некоторых способностей, который проявляется под влиянием

перевозбуждения или нервного недуга, как это бывает в иных снах, в припадках сомнамбулизма, тоже, по всей вероятности, объясняется тем, что ум действует тогда совершенно инстинктивно. Знания, приобретенные в бодрствовании и представляющие собой плод обдуманного опыта, проявляются самопроизвольно во сне или в тех припадках, о которых я только что говорил; они порождают действия, исполняемые тем точнее и увереннее, чем меньше они были обдуманы.

То же явление обнаруживается в привычке, благодаря которой мы способны выполнять некоторые действия лучше, чем выполнили бы их с помощью рассуждения. Действие, сначала обдуманное и рассчитанное, от повторения начинает совершаться инстинктивно. Дело в том, что привычка сообщает органам известную способность, которая становится инстинктивной и тогда может передаваться по наследству. Детеныши выученных животных сами легче поддаются выучке, чем детеныши недомашних животных. Ребенок европейца схватывает быстрее и легче, чем ребенок из первобытного племени, даже если тот с малых лет вверен людям цивилизованного мира. Наследственная передача некоторых приобретенных способностей, равно как и некоторых несовершенств, которые у родителей не были врожденными, — явление того же ряда[11]. Итак, привычка может порождать инстинкт, как давно уже замечено; свидетельство тому — известная поговорка: «Привычка — вторая натура». Следовательно, надо признать, что привычка граничит с инстинктом, что инстинкт может быть лишь привычкой, переданной через рождение. И действительно, страсти, наклонности, вкусы — побудительные причины инстинктивных поступков человека — тоже передаются по наследству. В высшей степени наследственный характер душевных и нервных болезней,

апоплексии, воспаления мозга — болезней, связанных с особым умственным складом человека, — служит еще одним доказательством того, что умственное устройство передается через рождение[12], иначе говоря, что душевные склонности связаны одновременно и с химическими началами организма — единственным, что передается при зачатии, — и с силами, которые развиваются вместе с ними. Если болезнь, которая есть в некотором роде лишь порочная привычка той или иной части тела, передается по наследству, то это потому, что привычка во всех своих формах неизменно передается. Если какая-нибудь привычка проявляется у человека, который ее не приобретал, значит, он получил ее от предков, и тогда она сливается для него с инстинктом. Отсюда следует, что инстинкт некоторых животных может происходить, как и передающиеся по наследству признаки их породы, от давних привычек, приобретенных родоначальником этой породы. И действительно, щенок собаки, которую выучили охотиться на пекари[13] или хоря, через несколько поколений охотится на них по инстинкту. Бык, завезенный в Северную Америку, по инстинкту разгребает снег, чтобы добраться до травы, — а первые быки, привезенные в Новый Свет, этого не умели[14].

---

[11] См. П. Люка, *Философский и физиологический трактат о естественной наследственности*, т. I, с. 329; т. II, с. 666. Г-н Флуранс выдвигает как принцип, что искусственные изменения не передаются по наследству. Это отрицание кажется мне слишком безоговорочным, и против него можно привести немало фактов. Ограничусь тем, что назову двух дочерей одного знакомого мне человека, унаследовавших горб своего отца; а позвоночник у него искривился после раны, полученной на войне. Болезни, по самой своей сути передающиеся по наследству, часто суть не что иное, как искусственные изменения. Впрочем, изменения такого рода чаще всего не передаются; когда же они становятся наследственными, надо полагать, что они настолько изменили весь организм отца или матери, что сделались неотъемлемой частью их сложения. Так же и в нравственной области: передаются лишь те недостатки или достоинства,

которые связаны с коренным душевным складом родителей; но некоторые из этих достоинств или недостатков могли быть приобретены: привычка, иначе говоря долгое упражнение, превратила их тогда в инстинкт, и именно в этом качестве они становятся наследственными. Среди передающихся по наследству умственных и нравственных способностей на первом месте, несомненно, стоят память, музыкальное чувство, мужество, кротость. Но непременно следовало бы принимать в расчет особые обстоятельства, сопровождавшие зачатие и беременность, которые сильно изменяют эти способности и порождают несходство между детьми и родителями. Сновидение может помочь нам различить те недостатки и достоинства, которые вследствие привычки перешли в душевный склад и, следовательно, приобрели инстинктивную природу: ведь именно они должны проявляться во сне, поскольку возникают самопроизвольно.

[12] См. П. Люка, указ. соч., т. II, с. 702 и след. Ср. т. I, с. 557.

[13] См. Рулен, *Исследования о некоторых изменениях, замеченных у домашних животных, перевезенных из Старого Света в Новый*, с. 19.

[14] См. об этом здравые замечания г-на де Катрфажа в одной из его статей о единстве человеческого рода, напечатанных в *Revue des Deux Mondes*, 1861. Ср.: Флуранс, *Об инстинкте и уме животных*, 4-е изд., с. 107 и след., 170 и след.

Инстинкт животных часто меняется в зависимости от места, потому что его проявление связано с известным умом, позволяющим приспосабливать инстинкт к местным требованиям; этот измененный инстинкт также передается через рождение и остается неизменным, пока сохраняются условия, необходимые для его проявления.

Итак, у детеныша, который с самого рождения и почти без участия ума совершает действие, которому его предок научился путем наблюдения, к которому затем привык и которое завещал потомству, обдуманные действия совершаются в силу привычки, перешедшей в породу; и, исполняя свое инстинктивное дело, ум животного подобен уму спящего, который совершает ряд последовательных и связных умственных действий по самопроизвольному побуждению, не имея о своем действии разумного понятия.

Этих соображений достаточно, чтобы оценить, насколько обосновано мнение, видящее во сне образ первоначального существования; они показывают, что, хотя различные формы психической жизни разделены резкими фазами, зависящими, по всей вероятности, от коренных различий умственного устройства, они связаны одна с другой и что довольно остановки в работе организма, простого ослабления нервной силы, чтобы умы, достигшие вершин духовной жизни, спустились на самые нижние ступени.

Древние видели во сне образ смерти — и ошибались. Смерть — это распад, разъединение элементов, которые своим соединением и совместным действием составляли особь, существо; во сне жизнь продолжается и в некоторых отношениях даже обнаруживает больше силы. Сон — скорее образ умственного упадка, утраты ума. И не без причины древность изображала его гением, опирающимся на перевернутый светильник жизни. Пламя, горящее в нас во время бодрствования, поднимается к небесам; когда нас одолевает сон, оно клонится к земле, то есть к олицетворению того, что в нас всего вещественнее, всего телеснее.

ПРИМЕЧАНИЕ А. О СОВМЕСТНОМ УЧАСТИИ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ ОРГАНИЗМА В ПОРОЖДЕНИИ МЫСЛИ

✦

Хотя мозг необходим для порождения мысли, из этого не следует, что наши мысли — если рассматривать их лишь со стороны вызывающих их телесных влияний — зависят исключительно от здорового или болезненного состояния этого органа. Будучи местом прикрепления или началом множества нервов, мозг испытывает на себе отголоски состояния наших различных органов; и влияние этих органов на чувства, страсти и мысли тем сильнее, чем теснее и прямее их связь с головным мозгом. Так, сердце, желудок, половые органы, печень, легкие действуют на него гораздо заметнее и, следовательно, гораздо больше участвуют в образовании мыслей и в порождении чувств, чем мочевой пузырь, селезенка, кишечник.

Достойно внимания, что расстройства, изменения, возбуждения в деятельности первых из этих органов соответствуют переменам характера, извращениям чувств, выдают себя веселыми или печальными мыслями, наклонностью к ненависти, к мести, нарушением суждения, переменой в складе воображения. Между тем мозг при этом не меняется ни в объеме, ни в составе; он остается таким, каким был до болезни или возбуждения названных внутренних органов. Ничто не указывает на расстройство умственных действий; и все же человек мыслящий, человек нравственный часто уже не тот, что прежде, после того как в сердце, желудке, печени и т. д. произошли такие

изменения. Внешние причины, телесные или нравственные влияния тогда уже не действуют на ум прежним образом и не порождают тех мыслей, которые породили бы, не случись этих изменений. Поэтому в мысли непременно нужно видеть не только следствие того, как работает мозг, но и зеркало всего нашего существа, равнодействующую всех органических действий, словом, голос души — той таинственной и скрытой силы, которая поддерживает и творит жизнь.

Ничто лучше не доказывает этих внемозговых влияний, чем иное течение мыслей, перемены характера, которые происходят у девушки, когда у нее устанавливаются месячные, у женщины — в ежемесячные сроки и под действием возбуждения матки. Впрочем, следует признать, что в этом случае в мозгу возникают ответное действие, прилив крови, сочувственное возбуждение — отголоски, которые и вызывают нравственные перемены у женщин, ибо в их организме главную роль играют отправления материнства. Но это лишь следствие второго порядка: в действительности не мозг служит исходной точкой расстройства, изменений ума и характера; прилив крови лишь показывает, что орган материнства действует на головной мозг. Ясно, что в мозгу должно быть ответное действие, раз мысли, которые могут вырабатываться только при его посредстве, заметно меняются.

Глубокие перемены характера, склада ума, вкусов, вызываемые одним лишь удалением мужских органов, еще нагляднее доказывают, что мозг может оставаться нетронутым, способности, происходящие из него, — сохранять свою силу, а мысли и чувства тем не менее преображаться из-за изменений, внесенных в другие части организма.

В своей прекрасной записке, озаглавленной *О действии кастрации на человеческое тело*[15], Мойон отметил не только

телесные последствия оскопления, но и его нравственное влияние, и из его исследований следует, что человек после кастрации перенимает кое-что от характера и мыслей женщины, вплоть до ее любви к нарядам и привязанности к маленьким детям. Частые кровотечения, которым подвержены евнухи, по всей вероятности, производят нечто подобное месячным и вызывают в мозгу ответные действия того же рода. Ибо здесь уместно напомнить: ум, мысли зависят не только от устройства мозга, но и от тех движений, которые вызывают в нем нервная система и общее кровообращение; а это, замечу мимоходом, доказывает вопреки френологии, что величина мозговых извилин — не единственное, что нужно принимать в расчет, оценивая силу способностей.

---

[15] 3-е изд., Генуя, 1813, in-4°.

Итак, наши действия и все мысли, которые они рождают, которые подготавливают и сопровождают их исполнение, суть равнодействующая различных изменений, производимых в нашем организме внутренними или внешними причинами, действующими на него. Это начало, к которому при изучении человека приводит нас умозаключение, находит свое доказательство в наблюдении над животными. Поскольку причины их действий менее сложны, а их мысли, их умственные и нравственные понятия бесконечно несовершеннее и ограниченнее, связь здесь уловить легче. Возьмем для примера птиц.

Повышение температуры — явление, зависящее от общих законов земной физики, — вызывает у этих существ набухание яичников и семенников, действуя, как доказали физиологи, на мозг и нервную систему птиц. Это состояние организма вызывает

появление всех инстинктивных действий, которые предшествуют кладке яиц и сопровождают ее, а как только оно прекращается, прекращаются и те же действия. Нет больше любовных сборищ и спариваний, постройки гнезд, драк с другими птицами, вылазок за тем, что нужно для выводка, и т. д.; самцы и самки повинуются тогда лишь повседневным инстинктам, рожденным потребностью кормиться и защищаться.

Следовательно, действия птиц, которые ухаживают друг за другом, насиживают или выкармливают птенцов, — это результат изменений, произведенных в организме этих животных общими и частными причинами. Мысль и действие возникли без ведома птицы, в силу известных побуждений, в которых участвуют все части ее организма. Конечно, то, что она видит, наблюдает, чует, осязает, слышит, способно изменить подробности этих действий, иначе говоря — ее ум, как я отмечал выше; она может лучше приспособить свое действие к цели, к которой стремится, но само действие определяется побуждением, которое есть отголосок потрясений и побуждений, рожденных в организме повышением тепла и состоянием погоды. Доказательство тому — что птица, посаженная в клетку, даже в одиночку, все равно будет повторять те же действия, хотя и не может уже достичь их цели. Она построит гнездо и приготовит все для кладки, из которой не могут выйти птенцы, — точно так же, как с наступлением поры перелета пленная птица, если она перелетная, будет стремиться вырваться на волю или станет беспокойнее, суетливее обычного.

Итак, мысли и действия животного следует возводить не к одной причине или немногим причинам: они следствие весьма сложных причин, соединенных с меньшим числом вторичных причин, которые в свою очередь вытекают из еще меньшего числа причин более отдаленных. Но все эти причины затрагивают

различные части организма, и их одновременная или последовательная работа приводит к мысли или к действию. Пока действие совершается без того, чтобы животное его сознавало или знало о нем, оно остается чисто автоматическим; когда оно сопровождается мыслями, оно становится разумным. Наконец, если оно исполняется с полным знанием, оно становится сознательным. Это сознание, присущее человеку и составляющее его преимущество, не мешает тому, чтобы исходная точка, первые побуждения, которые к действию привели или впервые подали мысль о нем, были явлениями инстинкта. Сложная работа организма порождает мысли и действия; эти действия и мысли борются друг с другом или сочетаются, а затем вмешивается ум; здесь у каждого органа своя доля, и его состояние и деятельность зависят от более общих причин, находящихся вне нас. Если мы можем противодействовать своим мыслям, то и это происходит в силу других следствий, вытекающих из подобных же причин.

Животные гораздо чаще, чем человек, действуют автоматически, и даже самые умные из них, животные высшего порядка, вносят в свои действия гораздо меньше ума, чем мы проявляем в большинстве наших поступков. Тем не менее у всех наших мыслей и всех наших действий есть побуждающая, первая причина, которая все еще чисто автоматическая и инстинктивная, — причина, которую мы не знаем и не сознаем. К нам приходит мысль, в нас проявляется желание, нас осаждает наклонность, и все это связано с внутренней работой организма и с влиянием, которое оказывает на нее среда; эти мысли, желания, наклонности рождены совместной работой всех частей нашего существа. Размышление, наблюдение, прежние мысли могут их изменить, отстранить, побороть или поддержать, но не создают их, так же как и сами эти умственные действия и нравственные

состояния не создали себя сами: они тоже были подобным же образом вызваны. Вот почему в зависимости от условий, в которые человек себя ставит, от влияний, которым он подчиняется по своей воле или помимо нее, меняются течение мыслей и природа поступков.

Действует ли существо вслепую или с ясным разумением, знает ли оно, что делает, или не знает, чувствует ли себя действующим или нет, — первоисточник его действия кроется в совокупности изменений организма и органов, которые совершаются сами собой, без сознания и воли. Человек весел, печален, тревожен, доверчив, проницателен, наблюдателен или легкомыслен и ветрен не потому, что так хочет, а потому, что эти состояния — выражение и равнодействующая изменений, неизбежно совершающихся в нем в силу природы и перемен его организма и сложения. Он таков, как бывает красив или некрасив, чувствителен или равнодушен, жесток или нежен, робок или решителен. Из этих состояний, которые он может сознавать и на которые может воздействовать прежними мыслями, рождаются мысли, которые сцепляются, вызывают друг друга, упорядочиваются согласно его воле и уму, но в порождении которых, как видим, участвовали общее состояние и частные состояния каждого органа своим взаимным влиянием друг на друга. А сами эти органы обязаны своим состоянием изначальному сложению человека, законам его развития и воздействию той телесной и нравственной среды, в которой он живет.

Все наши органы находятся в известной взаимной зависимости, но ни один не связан с остальными так тесно, как мозг: через нервы, которые от него отходят, он прямо сообщается со всеми, и возбуждение, приданное любой части тела, с большей

или меньшей силой передается головному мозгу. Здесь, стало быть, и есть подлинный центр, точка схождения наших впечатлений, здесь вырабатываются наши мысли и согласуются наши действия — следствие многообразных и сложных побуждений организма.

Понятно поэтому, что во сне, когда воля не противодействует самопроизвольным движениям мозга, мысли чаще всего оказываются простым следствием возбуждений, местом которых становятся различные части тела. Мысль становится верным зеркалом организма, который отражается в ней целиком.

ПРИМЕЧАНИЕ B. О СВОБОДЕ ВО СНЕ И ПРИ ДУШЕВНОМ РАССТРОЙСТВЕ

✦

Вопрос о свободе человека — один из самых темных и много раз обсуждавшийся. Сторонники предопределения противопоставляют признанию свободы воли то начало, что нет следствия без причины; они указывают, что если человек решается на то или иное, то в конечном счете это решение вытекает из внутренних или внешних условий, в которых он оказался, — условий, которые он не волен изменить и которые к тому же мог бы изменить лишь в силу этих же самых условий. Наши поступки, говорят они, вызывают друг друга, и если человек действительно может то, чего хочет, то его воля, без его ведома, есть неизбежное следствие его телесного, нравственного, умственного склада, происхождение которого предшествует ему самому. Человек может выбирать, но для выбора ему нужен побудительный мотив, а ценность и вес этого мотива зависят от его собственного склада. Защитники свободы воли ссылаются на внутреннее чувство нашей свободы, на ответственность, которую поступки влекут для каждого, — ответственность, непостижимую с точки зрения Божьей справедливости, если бы нам не была дана свобода совершать эти поступки или воздерживаться от них по выбору, всецело от нас зависящему. Учение о первородном грехе и благодати служит как бы посредником между учением о предопределении и учением о полной свободе: оно признает в человеке природное, а следовательно, неизбежное влечение к некоторым добрым и некоторым дурным поступкам — к первым

в силу врожденной наклонности, переданной по наследству и восходящей к первому человеку, ко вторым в силу божественного вмешательства. Человек, которому помогает благодать, может противостоять своим страстям — наследию греха Адама; но без ее помощи он не может вполне в этом преуспеть.

Физиология, доказывающая врожденность и наследственное происхождение множества наклонностей и способностей, подтверждает правоту богословия, но вместе с тем и правоту учения о предопределении. С другой стороны, сила, которую религиозные убеждения сообщают человеку, чтобы восторжествовать над врожденными страстями, даже самыми бурными, свидетельствует, что одна лишь вера способна преобразить наш нравственный склад без участия перемен в организме. Но остается решить последний вопрос: есть ли живость веры действие благодати или просто следствие естественных изменений в физиологическом складе? Некоторые философы держатся последнего, указывая, что вера, благочестие часто бывают врожденной наклонностью, переданной по наследству, развитие которой совпадает с телесными изменениями; что это, в конце концов, лишь очень сильная наклонность верить, а свойство всякой сильной наклонности — противодействовать остальным.

Одна физиология не может рассудить эти два мнения, которые, впрочем, ближе друг к другу, чем принято думать: ведь богословы, по сути, лишь называют *даром божественной благодати* то, что рационалисты считают простым следствием природного устройства, которое и само обязано своим существованием совместному действию всех причин, создающих нашу нравственную личность.

Заметим к тому же, что довод об ответственности, на который опираются защитники свободы воли, в учении богословов теряет многое из своей силы: поскольку Бог волен даровать свою благодать кому пожелает, его избрание основано уже не на заслугах поступков, а на его предпочтении, и мы приходим, таким образом, к предопределению, к неотвратимости судьбы.

Впрочем, учение о благодати не отменяет начала свободы полностью, хотя и заметно его ограничивает: богословие учит, что благодать, если она не была дарована по свободной воле Бога, нужно испросить молитвой, а в этой просьбе человек остается совершенно свободен. Он подобен тогда тому, кто не в силах поднять ношу и потому не может обойтись без машины, но кому оставлена свобода пользоваться машиной или нет.

Итак, в конечном счете противоречие между началом свободы и учением о предопределении остается. Одни утверждают, что для решения человеку нужен побудительный мотив, который зависит от склада, данного не им самим, — склада, который он мог бы дать себе лишь благодаря мотивам, находящимся вне его. Другие не признают в явлении свободы необходимого начала причинности, которое открывается нам лишь путем умозаключения, неприменимого к явлениям свободной воли, и, указывая, что всеобщность этого начала потребовала бы применить его и к Богу, а это лишило бы Его свойства первопричины, говорят, что человеческая душа может быть первой и свободной причиной, как и Бог.

Я не хочу и не могу углубляться дальше в эту неразрешимую задачу. Я лишь предупреждаю читателя, что понимаю под свободой способность, данную человеку, животному, определять себя законами своего внутреннего склада, то есть согласно своим мыслям. Если эти мысли чисто самопроизвольны, как почти все

мысли спящего человека и животного, то существо, хотя и свободное телесно, еще не свободно нравственно: оно действует автоматически, со знанием, но не с полным сознанием своего действия. В этом смысле можно сказать, что свободен лишь бодрствующий человек, а животное, ребенок нескольких месяцев от роду — нет. Ибо они действуют по необходимости, в силу побуждений, которые им сообщены или которые возникают из работы организма; взрослый человек, напротив, часто действует после обдумывания, после выбора; его прежние мысли сочетаются тогда с нынешними побуждениями, чтобы побудить его к действию; он вызывает их, связывает и так судит о том, что ему следует делать. Он совершает действие сознательное, а не просто инстинктивное или функциональное; он нравственно свободен.

Душевнобольной может, как и здоровый человек, пользоваться своей нравственной свободой, то есть действовать после обдумывания, размышления и согласно своим мыслям. Но поскольку эти мысли из-за расстройства ума стали неполными, ложными, несообразными, его нельзя признать юридически ответственным за свои поступки: он попадает в один разряд с ребенком, еще не достигшим разумного возраста. Было бы неверно сказать, что такой больной лишен нравственной свободы: если душевнобольной не охвачен бессвязным бредом, если он страдает лишь мономанией, меланхолией, он будет решаться на поступки так же свободно, как здоровый человек, ибо, как и тот, будет действовать согласно законам собственного нравственного склада. Следует просто сказать, что он введен в заблуждение, обманут ложными восприятиями, неизбежно ошибочными суждениями; и именно по причине неведения, нравственной и умственной неспособности, а не по причине

утраты свободы суды должны снимать с него всякую ответственность. Его неведение и неспособность так же не могут быть поставлены ему в вину, как слабоумному — его слабоумие.

Напротив, человек, который бьет или убивает во внезапном порыве гнева, ревности, в опьянении, то есть, говоря языком закона, без умысла, не обладает нравственной свободой, хотя, в отличие от душевнобольного, часто знает, что делает; он действует не по неведению, не по неспособности, а под властью внезапного возбуждения, не оставившего ему времени обдумать. Закон наказывает его, потому что признает, что вначале он мог побороть наклонность, которая в конце концов отняла у него свободу; устрашая его угрозой наказания, закон стремится остановить его в стремительном порыве страсти.

Некоторые преступления, совершаемые больными слабоумием и манией, относятся к разряду тех, что связаны с утратой нравственной свободы, — но с той разницей, что душевнобольной часто не знает, что делает, и закон не может преследовать его за то, что он не пытался обуздать страсть, грозившую привести его к преступлению, поскольку эта страсть была неизбежным следствием болезни.

Во сне есть одновременно и неведение, умственная неспособность — вследствие оцепенения мозга, несовершенства восприятий, — и отсутствие нравственной свободы — вследствие самопроизвольности мыслей, мгновенного действия наклонностей; человек и принужден, и введен в заблуждение[16].

[16] См. об этом то, что говорит Лотце в *Справочном словаре физиологии* Вагнера, статья «Инстинкт», с. 199.

Душевная болезнь и оцепенение сна могут не оставить даже телесной свободы; так бывает, когда душевнобольной чувствует, что его против воли влечет к поступкам, с которыми он борется и

которые осуждает, когда спящий, мучимый кошмаром, испытывает своего рода головокружение, которого не может одолеть. В этом случае остановка или расстройство способностей действуют на мозг и на организм, как цепи на руки и ноги, как стены темницы на узника. Оба чувствуют себя связанными и удерживаемыми.

Итак, при душевном расстройстве следует различать три причины, снимающие ответственность, а именно: неспособность ума, утрату телесной свободы, утрату нравственной свободы. Эти три причины могут встречаться в одной и той же форме душевной болезни — вместе или порознь.

ПРИМЕЧАНИЕ С. О ВНУШЕНИИ

✦

Внушить мысль другому — значит вызвать ее в чьем-либо уме, либо высказав ее словами, либо напомнив ему другие мысли, способные ее в нем пробудить. Некоторые мысли почти неизбежно рождаются из некоторых других, непременно приходят на ум в тех или иных обстоятельствах. Покажите французу человека со скрещенными на груди руками и в маленькой треуголке — и вы можете быть почти уверены, что он подумает о Наполеоне I. Особенно действуют так образы, способные разжечь самые сильные наши страсти: обычно они вызывают у всех одни и те же мысли и ведут к сходным поступкам; так бывает, в частности, с непристойными словами или изображениями — отсюда их опасность.

Чем меньше наш ум занят мыслью, которая через него проходит, тем легче навести его на ту мысль, которую вы желаете ему внушить. Если никакой предмет не захватывает нашего внимания и не занимает нашего ума, спинномозговой системе недостает того легкого возбуждения, которое ей необходимо; она впадает в полуоцепенение, неотделимое от вялости нервной системы. Вот почему мы зеваем, когда скучаем, так же как когда хотим спать. Зевота — своего рода судорога, или спазм, — признак расслабления и вялости наших нервов. Всякая причина, стремящаяся ослабить нервную деятельность, ослабляет и внимание и делает нас менее способными сосредоточиться на мысли, думать, размышлять, а следовательно, более расположенными подчиняться влиянию мыслей, которые нам

предлагают. Бездеятельность, в которой мы тогда находимся, превращает нас в настоящие машины без пружины: достаточно толкнуть их в одну сторону, и они придут в движение, не отклоняясь от того направления, в котором их толкнули. Сон, как и гипнотическое состояние, совпадает с ослаблением нервной силы; поэтому он больше отдает нас во власть внешних влияний — телесных, нравственных или умственных. Мы видели по моим собственным опытам, что, когда человек спит, слуховые, зрительные, осязательные, обонятельные впечатления, приходящие извне, чаще всего вызывают сны, связанные с этими впечатлениями; образы, самопроизвольно порожденные в уме ответным действием организма, рождают в нас веру в их действительность. Загипнотизированный, магнетизированный находятся в таком же состоянии умственной бездеятельности. Ощущения, которые у них вызывают, слова, которые к ним обращают, производят то же действие, что и самопроизвольные образы: они порождают соответствующие верования и ощущения. В обиходе это называют действием воображения. Точнее было бы сказать, что это действие пассивного состояния спинномозговой системы. Загипнотизированный, магнетизированный, лишенные воли, не обладающие больше личным сознанием самих себя, не отличают внушенную им мысль от собственной и тотчас ее присваивают, как это бывает с образами сновидения. Когда мне навевают сон, вызывая у меня какое-нибудь ощущение, пока я сплю, во мне нет сознания того, что это сон внушенный; я принимаю за самопроизвольное создание своего ума эту мысль, связи которой с вызвавшим ее действием мой глаз уловить не может. Сомнамбул или загипнотизированный находится в подобном же состоянии: ему сообщают мысль; он принимает ее за свою и, поскольку воля и суждение у него нарушены, верит в

присутствие, в действительность предмета, который она напоминает, — как спящий верит в действительность своего сна.

Вот, как мне кажется, истинная природа внушения и вот к чему сводится то, что называли передачей мысли.

Пример сделает мое объяснение яснее и покажет, в чем оно сходится с объяснением, которое предложил г-н Филипс.

Представим себе человека, впавшего в то состояние упадка сил и нервного расслабления, которое составляет одно из главных действий гипнотизации; скажите ему: *Вы сейчас будете пить вино*, — и подайте ему стакан воды. Этими словами вы пробудите в нем мысль о вине, и мысль эта повлечет за собой воспоминание о вкусовом ощущении, которое дает вино. Возбуждение, царящее во внутренних, мозговых окончаниях нервов, тогда как их наружные проводники, напротив, ослаблены, придает этому отзвуку ощущения такую силу, — иначе говоря, сообщает мозговому или спинномозговому концу нерва колебание почти такой же силы, какую вызвало бы прямое ощущение. От одной этой мысли о вине испытуемый, как только вкусовой нерв придет в действие от глотка воды, будет уверен, что пьет первую жидкость, хотя глотает вторую. Во сне то же самое явление даст вам такую же уверенность даже без посредства жидкости: довольно будет образа стакана воды, увиденного умом. Но психосенсорное явление от этого не меняется, и именно оно составляет внушение.

Вот другой пример, который дополнит мое объяснение.

Я хочу, чтобы сомнамбула сказал мне, который час. Знаком или словом я обращу к мысли о времени его ум, который плавает в смутной неопределенности и удивительно легко позволяет завладеть своим воображением. Я говорю сомнамбуле: *Вам нужно встать и пойти посмотреть, который час*; или же приказываю

ему это жестом, взглядом. Тогда мысль пойти посмотреть на часы входит в ум испытуемого, и никакое умственное противодействие с его стороны не может ей воспротивиться, потому что он, как человек, видящий сон, не способен противиться тому, что воспринимает. Он, стало быть, подчинится этой мысли и остановится, только если тем же способом я сообщу ему другую.

По мнению приверженцев магнетизма, у магнетизера должна быть сильная воля, чтобы она могла так передаваться; в этом нет нужды, ибо то, что они принимают за силу воли, есть лишь действие, ясно выраженное, указанное сомнамбуле жестом, выражением лица или голосом, — все это, естественно, требует некоторого времени и, следовательно, некоторого упорства воли[1].

[1] См. сказанное у Дж. Брейда: *Магия, колдовство, животный магнетизм, гипнотизм и электробиология*, 3-е изд., с. 111.

Итак, магнетизер действительно приобретает над своим сомнамбулой власть; но психического действия здесь нет; это попросту следствие ослабления воли и нервной системы у загипнотизированного, намагнетизированного человека, — ослабления, из-за которого у него почти не остается иных мыслей, кроме тех, что внушают ему речь, интонация, выражение взгляда и лица его магнетизера. Раз попав во власть этой посторонней мысли, сомнамбула не может ей противиться; он подобен спящему, который подчиняется образу, поразившему его воображение, с той лишь разницей, что у видящего сон этот образ рождается из внутренних или внешних ощущений, а у сомнамбулы и загипнотизированного он есть следствие обращенного к нему слова, сделанного ему жеста.

Как я уже отмечал выше, человек уснувший, но не настолько глубоко, чтобы не слышать звуков у самого уха, иногда вводит в сновидение слова и мысли, которые ему сообщают речью, не

замечая, что мысли эти не его; тогда он видит сон по *внушенным* мыслям. Вот пример из моих собственных опытов.

Однажды вечером я задремал в кресле; слух мой еще смутно улавливал звуки; брат, сидевший рядом, довольно громко произнес: *Возьмите спичку*. Свеча только что погасла. Я, по-видимому, расслышал эти слова, но не заметил, что их сказал брат, и в сне, который я тогда видел, вообразил, будто иду за спичкой. Когда через несколько секунд я проснулся, мне пересказали фразу брата. Я уже забыл, что слышал ее, хотя в ту минуту на нее и откликнулся; отклик мой был совершенно машинальным. И все же во сне я думал, что иду за спичкой по собственному побуждению, и не подозревал, что исполняю приказание. В другой раз, когда я засыпал у камина, жена сказала мне несколько слов; я очнулся от дремоты, но не мог разобрать, ее ли это были слова или произнес их я сам. Эти факты явно относятся к тому, что называют внушением, и помогают его объяснить. Сколько поступков, сколько мыслей в повседневной жизни вот так внушены нам другими, а мы принимаем их за свои! О скольких вещах ловкий человек заставляет нас подумать будто бы по собственному почину! Не то же ли это всегда явление[2]?

[2] См. об этом верные замечания г-на Шевреля о способности, которую приобретают некоторые люди, располагать других к той или иной мысли, к тому или иному намерению: так поступают, в частности, торговцы, чтобы *привлечь покупателя*, фокусники — чтобы направить внимание на нужный им предмет. *О гадательной лозе*, с. 250. Быть может, к этому же приему прибегает г-н де Кастон в одном из самых любопытных своих номеров, когда угадывает задуманную вами карту или имя.

Человек каждую минуту испытывает внешние влияния; но он улавливает лишь их отражение в зеркале своей личности и там принимает их не за копию, а за подлинник, за образы, которые начертала в нем его собственная воля. Как часто человек

воображает, что действует свободно, тогда как он лишь игрушка сил, которые его окружают и влекут, и обманут ими; он — марионетка, не видящая нитей, что приводят в движение его руки, ноги и мозг. Когда наш мозг не противится сообщаемым нам впечатлениям, мы думаем, что наша душа вырабатывает свои суждения и мысли по свободному выбору.

Таким образом, внушение, столь чудесное с виду при гипнотизме и естественном сомнамбулизме, есть лишь расширение явления, которое повседневно встречается в жизни каждого.

Подведем итог: гипнотическое или магнетическое внушение — это сон, заданный словами, знаками, которые соответствуют тем ощущениям, с помощью которых можно вызвать у спящего тот или иной сон. Сомнамбула, намагнетизированный верит слову, верит в действительность того, мысль о чем ему внушают, как видящий сон верит в действительность своего сна, и, подобно ему, испытывает соответствующие ощущения, вызванные перевозбуждением некоторых нервных волокон, или, вернее, их корешков, которое совпадает с вялостью остальной нервной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ D. О ВОЗВРАЩЕНИИ ВОСПОМИНАНИЙ ВО СНЕ

✦

То, что я рассказал выше о возвращении во сне неосознанных воспоминаний, объясняется тем, что наша память может без нашего ведома хранить следы впечатлений; мы носим тогда в себе, сами того не замечая, ряд мыслей, которые были нам когда-то сообщены или которыми мы обязаны прежней работе ума; они содержатся в нашем уме, а мы о том и не подозреваем. Когда эти мысли приходят нам на ум, они имеют все черты нового замысла, плода самопроизвольной или только что совершившейся работы нашего ума. Помню, как однажды я написал для печати несколько соображений по одному вопросу политической экономии. Я потерял листки, на которых изложил свои мысли, и поневоле отказался от намерения отправить их в литературный журнал. Я совершенно забыл, что написал, когда меня снова попросили дать обещанную статью. Я опять сел писать и решил, что придумал новый способ приступить к предмету статьи. Два месяца спустя я случайно нашел затерянные листки. Велико было мое удивление, когда я узнал в них почти слово в слово, теми же фразами, то, что считал недавно придуманным. Очевидно, память без моего ведома хранила воспоминание о первом сочинении. Именно это и происходит порой во сне. Подобное смешение замысла и восприятия доказывает тесную связь между ними — связь, на которой я настаивал в заключении этой книги.

Во всяком творении нашего ума памяти принадлежит значительная доля, и лишь немногие его составные части

привносятся работой размышления и сопоставления. Эту долю памяти мы считаем меньшей, чем она есть на самом деле, потому что воспоминание о множестве фактов у нас неосознанно; таковы, по-видимому, в особенности воспоминания детства. Множество сведений, мыслей, убеждений обязаны своим появлением тому, чему мы научились в первые годы жизни, но мы не узнаем их происхождения, и позже они представляются нам созданиями нашего собственного ума. Отсюда влияние первоначального воспитания на человека. Мысли, сообщенные ребенку и вспоминаемые им, когда он подрастет, без ведома о том, становятся как бы неотъемлемой частью его ума и впоследствии являются в виде самопроизвольных. С возрастом эта способность усвоения слабеет; ум, приобретая собственный и окончательный склад, меньше рискует смешать то, что слышал от других, с тем, что задумал сам. Сон, подобно совокупности детских мыслей, большей частью составлен из таких неведомых нам воспоминаний.

Я рассказывал в этой книге, что латинские стихи, которые я, как мне казалось, сочинил во сне и которые остались у меня в памяти по пробуждении, оказались стихами Вергилия, сохраненными моей памятью без моего ведома. Можно было бы привести немало подобных фактов. Память настолько главное действующее лицо наших снов, что мы чувствуем в них так, будто бодрствуем, хотя сон уже не дает нам самих поводов для ощущения. Зрение у меня слабое и близорукое, и из окна я не могу отчетливо разглядеть прохожего на улице. И что же: несколько раз во сне мне казалось, что я вижу из окна людей на улице, и различал я их не лучше, чем различил бы наяву. Очевидно, воображаемой близорукости не бывает; это память о моем плохом зрении заставляла меня так же плохо видеть во сне.

Это явление, впрочем, то же самое, что заставляет слепых видеть во сне, будто они видят, а глухих — будто слышат. Со временем, когда воспоминание о видимых предметах или о звуках начинает стираться, такие сны исчезают и сменяются другими, в которых участвуют лишь ощущения, связанные с уцелевшими органами чувств.

Ум человека можно сравнить с зеркалом, в котором отражаются все предметы, чьи лучи на него падают, но которое со временем тускнеет и теряет способность отражать. Под известным углом отражение бывает полным; глаз не замечает оптического обмана и думает, что видит сам предмет, тогда как под другими углами неполнота отраженного образа сразу открывает нам, что перед нами зеркало.

С нашими поступками дело обстоит так же, как с мыслями: мы думаем, что совершаем их по собственному решению, хотя во множестве случаев лишь повторяем виденное; мы подражаем, не сознавая подражания. Чужая воля отражается в нашей без нашего ведома, и мы повинуемся, будучи уверены, что действуем сами.

Ни одно явление не делает эту истину очевиднее, чем сновидение: все в нем кажется нам самопроизвольным, мы чувствуем себя в нем свободными, — и, однако, нас ведут, без нашего ведома, ускользающие от нас воспоминания, впечатления внутренние или пришедшие извне. Но мы так легко следуем за ведущей рукой, она так мало давит на нашу, что нет ни малейшего трения, нет того нажима, который открыл бы нам, что мы уже не свободны и уступаем чужим побуждениям, — потому что мы делаем это с такой же легкостью, как если бы нас вел наш собственный почин. Это обман не только ночей, но и бодрствования. Человек думает, что принадлежит себе, а между тем он ходит, окруженный силами и влияниями, которым

подчиняется, сам того не замечая. Он вспоминает, когда думает, что воображает; он подчиняется, когда думает, что повелевает; он чувствует, когда думает, что мыслит.

Печальные игрушки столкновения вещей, мы — сложный плод бесконечного разнообразия того, что нас окружает; и если наша собственная личность отражается в наших суждениях, то наши суждения в свою очередь, как и наши поступки, — отражение мира, в котором мы живем.

ПРИМЕЧАНИЕ Е. ОБ УТРАТЕ ПАМЯТИ

✦

Память слабеет с возрастом: сперва память на собственные имена, на слова, затем на вещи, на факты. Отсюда следует, что способность вспоминать связана с особым состоянием мозга и нервной системы. Впечатлительность, благодаря которой сотрясение мозгового волокна продолжается и порождает явление стойкого впечатления, заметно ослабевает по мере того, как мы стареем. Вещи и факты, усвоенные в детстве и юности, то есть в ту пору, когда мозговое вещество легко приходило в действие и сильно колебалось, почти всегда остаются запечатленными в уме и стираются лишь тогда, когда ум угасает совсем. Это, без сомнения, зависит от того, что колебания, сообщенные мозгу в раннем возрасте, черпают свою силу в молекулярном состоянии, какое имеют в эту пору волокна; отзвук сотрясения, которого оказалось достаточно, чтобы родилось воспоминание, длится бесконечно, пока это строение не изменится. Когда поражение мозга очень глубоко, как бывает при старческом слабоумии, при размягчении мозга, больной порой еще может понимать значение слов, узнавать предметы, делать знаки, чтобы на них указать; но вспомнить их, назвать он не в силах. В памяти остаются лишь отдельные слова, которые больной повторяет по всякому поводу и произносит всякий раз, когда пытается вызвать в памяти какое-нибудь имя или предмет. Обычно это слова, связанные с сильным, мощным чувством, которое глубже запечатлело их в уме, — например, бранные слова, восклицания, междометия; очевидно, потому, что живость

чувства, сопровождавшего их, когда они входили в память, вызвала в мозгу более глубокие и потому более стойкие сотрясения.

Примечательный факт! Есть такие больные, такие впавшие в детство старики, которые еще могут написать слова, но не способны их выговорить, сказать, — как это наблюдается и у загипнотизированных; те теряют способность припоминать слова; их заставляют забыть слова впечатлением, обратным тому, которое запечатлело их в памяти. Отсюда следует, что видимый знак производит на ум впечатление более глубокое и прочное, чем звуковой. И в самом деле, память глаз гораздо обширнее памяти уха.

Иной человек, пораженный размягчением мозга, путает слова одно с другим и говорит одно, когда хочет сказать другое. Один из непременных секретарей прежней Академии наук, астроном Гранжан де Фуши, рассказывал[3], что после падения, при котором он ушиб нос, он несколько мгновений не мог произносить нужные ему слова; фразы, которые он выговаривал, вовсе не отвечали его мысли, хотя во всем остальном ум его нисколько не пострадал. Гранжан де Фуши прекрасно понял, что у него произошло болезненное сотрясение нервных нитей, идущих от мозга внутрь носа. Очевидно, волокно, которое в обычном состоянии приводит в действие память о слове, которое нужно произнести, было заменено, вследствие перемещения, перестановки, соседним волокном. А это доказывает, что возрождение мысли заставляет колебаться волокна, соответствующие словам и мыслям, которые связаны с нею в уме.

[3] См. *Записки Академии наук* за 1784 год, с. 399.

Больной хочет, например, попросить *хлеба*, а просит вместо этого *огня*; дело в том, что мысли о хлебе и об огне связались в его мозгу. Мысль о хлебе уже недостаточно сильна, чтобы вызвать сотрясение, соответствующее обозначающему его слову; но пока больной пытается вызвать это сотрясение и не может сделать его настолько сильным, чтобы оно стало для него ощутимым, он вызывает сотрясение того волокна, движение которого связано с первым и которое сохранилось менее ослабленным; так что выговаривается слово *огонь*. Человек, страдающий старческим слабоумием, хочет назвать число *два* и не может найти слово; но мысль о видимом знаке в нем еще сохранилась, и он показывает два пальца. Ассоциация идей здесь как бы пережила саму идею.

Язык жестов, который прямее исходит из самого организма и появляется у ребенка прежде, чем тот научится говорить, противостоит утрате памяти и речи по той же причине, по какой воспоминание о письменном знаке переживает воспоминание о звуковом.

Когда человек забывает знаки, связанные с действиями, которые он повторял чаще всего, с теми, что изначально сильнее всего поразили его ум, — например, собственное имя, название родного города, своего народа и т. д., — значит, способность мозговых волокон к колебанию почти совсем угасла. Сколько ни говори ему это слово, минуту спустя оно уже выпало из его памяти, потому что новое впечатление уже недостаточно сильно, чтобы возродить старое, которое отзывается лишь глухо.

Вещества, отнимающие память, например наперстянка и различные наркотические средства, действуют так же, как возраст: они ослабляют способность волокон мозга к колебанию.

Френологи и некоторые физиологи пытались поместить память в определенную часть мозга. Но этому учению

справедливо противопоставили тот факт, что память — способность многообразная, ибо ее назначение — делать более стойкими впечатления, относящиеся к способностям разных, отличных друг от друга родов. У одного память на слова, у другого — на формы, у третьего — на места, у четвертого — на числа, у пятого — на звуки. Одна из этих памятей может ослабеть, быть мало развитой, а другая сохраниться во всей силе, быть очень ярко выраженной. Поэтому вероятнее, что память происходит от свойства всех мозговых волокон сохранять полученное впечатление, однажды сообщенное сотрясение, и усиливать его, когда с ним соединяется соседнее сотрясение, вызванное связанной с ним мыслью.

Мы не можем помнить все впечатления, которые восприняли; даже самая счастливая память забывает больше поступков, фактов, вещей, чем помнит: дело в том, что волокон в мозгу ограниченное число и каждое способно лишь на определенное число колебаний. Память об одной вещи вытесняет память о другой, и недавно усвоенные факты часто заставляют забыть то, что знали прежде. Чтобы помнить, нужно освежать уже приобретенное знание, то есть новыми и тождественными впечатлениями возвращать силу более старому. Волокно колеблется, как качается маятник: смотря по тому, сильнее или слабее был толчок, маятник будет качаться дольше или меньше, но в конце концов остановится, если пружина или рука не поддержит его движения. Старея, мы вынуждены чаще повторять что-нибудь, чтобы это знать, и то, что мы тогда заучиваем наизусть, быстро забывается; это доказывает, что размах колебания для новых впечатлений меньше и что нужно, чтобы та же причина чаще сообщала движение мозговым волокнам.

Если мы хотим, чтобы память о каком-нибудь факте у нас осталась, нужно, чтобы сопровождающее его впечатление было живым. И действительно, надо заметить, что мы всегда помним факты, вызвавшие в нас сильное волнение[4]. Мать, которая дает ребенку пощечину за то, что он забыл ее слова, и прибавляет: *Теперь-то ты запомнишь*, сама того не зная, признает этот психологический закон. Пощечина привязывает к мысли более сильное чувство, которое делает умственное впечатление ярче, а следовательно, и долговечнее. Итак, чтобы помнить вещи, нужно связывать их с фактами, способными живо на нас подействовать. В детстве все нас поражает, все впечатляет своей новизной, и это тоже одна из причин, почему память в эту пору цепче.

[4] См. об этом верные замечания Томаса Брауна, *Лекции по философии человеческого ума*, глава «О явлениях простого внушения», 7-е изд. (1848), с. 236.

Однако предмет должен быть связан со знаком, чтобы впечатление от него было прочным: ведь именно этот знак, вызванный в уме, оживит сотрясение, произведенное первоначальным впечатлением; потому ребенок почти не помнит того, что делал, когда еще не умел говорить. Но причина эта не единственная, от которой зависит память: нужно еще, чтобы мозговое вещество набрало достаточно силы, чтобы однажды сообщенное сотрясение длилось долгое время. До тех пор ребенок, без сомнения, помнит вещи какой-то срок, но срок этот короток. Младенец в пеленках узнает кормилицу — значит, он помнит; но воспоминание это непрочно, и если человек несколько дней не показывается ему, он его забывает. То же самое бывает при старческом слабоумии, и не без причины говорят, что старики *впадают в детство*.

Трудно объяснить, почему память на собственные имена теряется раньше памяти на вещи. Мне кажется, это должно

зависеть от того, что воспоминание о людях связано с меньшим числом мыслей, чем память о вещах; тогда как последнюю непрестанно оживляет множество связанных с нею мыслей, которые ее возрождают, с людьми, которых мы видим не постоянно, у нас связано лишь немного фактов; так что ассоциация идей, столь укрепляющая память, действует не так сильно при припоминании собственных имен. И вот доказательство: чтобы запомнить имя, мы стараемся связать его со словом, обозначающим вещь, мысль о которой нам привычна, то есть с колебанием соответствующего ей мозгового волокна — волокна, которое часто приводилось в движение. Имена родных, друзей, напротив, остаются в уме так же долго, как названия предметов, — по указанной выше причине.

Заметим в подтверждение этого объяснения, что имена и слова, которые труднее всего вспоминаются, когда память на имена и слова слабеет, — это именно те, что не связаны ни с какой привычной мыслью, совершенно для нас новы. Вот почему, перейдя за сорок пять — пятьдесят лет, почти невозможно выучить иностранный язык, тогда как множество фактов еще усваивается.

Те, у кого хорошая память на цифры, — это, как правило, те, кто лучше всех умеет с ними обращаться, то есть кто ближе всего знаком с их отношениями как между собой, так и с вещами; что опять-таки подтверждает мое наблюдение. Память на звуки по той же причине встречается у людей, от природы музыкальных, память на формы — у живописцев, скульпторов, на линии — у зодчих.

Способность памяти развивается, как и всякая способность, от употребления, упражнения, потому что волокно, которое часто заставляют колебаться, становится восприимчивее к сотрясению.

Память — исходная точка всякого суждения, всякого знания. Нет ума без памяти; но способности памяти соответствуют способностям ума, и можно сказать, что у человека всегда особенно развита память на тот род действий, который удается ему лучше всего. Память, как и всякое умственное действие, может быть сознательной или нет. Когда мы повторяем что-нибудь по привычке, память все еще действует, но не сознает себя. Мы делаем то, что, как мы помним, однажды выучили, но не замечая этого. Здесь уже нет обдуманной ассоциации идей; поэтому и утомление мозга меньше. Вот почему умы, не склонные к усилию, предпочитают заучивать вещи по навыку, а не по порядку и методу. Можно подумать, что привычка, рождающаяся из этой скрытой памяти, сообщает мозговым волокнам сопутствующие движения, которые совершаются сами собой и без усилия.

Впрочем, в наших действиях и мыслях постоянно сочетаются воля и связанные между собой мысли, и часто трудно решить, вызвано ли то или иное движение ассоциацией идей или прямым вмешательством воли. Воля вмешивается в большей или меньшей мере. Например, когда мы напеваем мотив или исполняем на инструменте музыкальную пьесу, то, смотря по тому, насколько мы привыкли это делать, воля и вытекающее из нее внимание будут вмешиваться все меньше и меньше и в конце концов почти перестанут участвовать, так что нам случится, напевая или играя, думать о другом. Двигательные побуждения разного рода будут вызывать друг друга в известном порядке, и нам не придется всякий раз совершать акт воли; память будет действовать как бы самопроизвольно, благодаря связи, которую привычка установила между действиями, каждое из которых первоначально совершалось отдельным усилием воли. И чем меньше мы тогда

будем привлекать внимание, тем машинальнее будет наше действие, тем больше легкости и видимой свободы будет в нашем движении или в череде движений. Настолько, что если мы начнем раздумывать над своим действием, то скорее ошибемся, — как заика, который заикается тем сильнее, чем больше старается выговорить звук, на котором спотыкается его язык. Однако на самом деле мы тогда гораздо менее свободны, потому что ведут нас память, ассоциация идей, а не суждение.

Явление того же порядка наблюдается при ходьбе, речи, плавании, фехтовании и т. д. Во всех этих упражнениях нами движет ассоциация идей, основа памяти; как только воля дала первый толчок, действие продолжается, даже если внимание ослабевает или переходит на другой предмет; ум едва сознает свое действие, и, хотя остается свободным — ведь он в любой миг может снова призвать волю и обдуманное внимание, — он позволяет мышцам действовать под властью побуждений, самопроизвольно сцепляющихся в силу известных связей между движениями и мыслями, которые устанавливаются механически и зависят от одновременности колебаний мозговых волокон[5].

[5] См. об этом: Р. Вагнер, *Физиологический словарь*, т. II, с. 763.

ПРИМЕЧАНИЕ F. НОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ГИПНАГОГИЧЕСКИМИ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯМИ

✦

С тех пор как была написана глава этой книги, посвященная гипнагогическим галлюцинациям, мне довелось сделать над этим необычным явлением новые наблюдения, результаты которых я считаю нужным изложить здесь. Но прежде я должен ответить на возражение, которое может вызвать роль, приписываемая мною этим расстройствам восприятия в теории возникновения мыслей. Галлюцинация, возникающая в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, — скажут, быть может, — есть факт патологический, признак почти болезненный; стало быть, она отлична от мысли, рождающейся в нас в здоровом, обычном состоянии. Согласен; но замечу, что патологические явления могут служить к прояснению явлений психологических; они даже дают большое преимущество для изучения душевной жизни, потому что представляют в более резкой форме, в преувеличенных размерах факты, которые у человека в полном здоровье из-за их слабой силы или скрытой природы едва ли можно было бы заметить. Перемены, которые мысль, чувство вызывают в той или иной работе нервной и кровеносной системы, открывают те части организма, которые вступают в действие, как только душа занята этой мыслью или этим чувством; болезнь есть в известном смысле предел производимых действий и совершаемых в организме перемен, если говорить языком математического анализа. Так, статистика форм

душевного расстройства и порождающих его нравственных причин может открыть нам, какие страсти сильнее и чаще всего действуют на душу. Душевнобольной, без сомнения, находится не в том умственном состоянии, что здравомыслящий человек, но он все еще повинуется побуждениям, мыслям того же порядка, хотя и более увлекающим, более бурным и основанным на ложных или искаженных восприятиях. Частота, сила того или иного побуждения измеряются тем, насколько часто оно приводит к потере рассудка; эту цифру, следовательно, можно принять за меру влияния того же побуждения на наши размышления и поступки в обычном состоянии. Телесное поражение, которое анатомия, физиология смогут обнаружить у душевнобольного, укажет, какие нервные волокна и какая часть работы жизненных органов связаны с определенным нравственным действием, с тем или иным чувством, впечатлением, мыслью.

Итак, хотя гипнагогическая галлюцинация — явление болезненное, она тем не менее проясняет способ, каким возникают мысль и сновидение, ибо она резче выставляет участие чувств, увеличивает их действие, теснее скрепляет союз между представлениями и вызвавшими их чувственными впечатлениями; тонкость нервной деятельности, которую предполагает это расстройство мозгового и чувственного аппарата, открывает нам явления, которые в менее резкой форме, в том равновесии отправлений, что составляет здоровье, совершенно бы от нас ускользнули.

Отклонив возражение, прибавим к сказанному в главе IV несколько новых замечаний. Я установил, что гипнагогическая галлюцинация усиливается и учащается по мере того, как растет прилив крови к мозгу и связанное с ним нервное возбуждение; тогда она теснее зависит от мысли. Стоит уму остановиться на

какой-нибудь мысли, как возникает соответствующая гипнагогическая галлюцинация, если глаз закроется; возбуждение, ощущаемое в той или иной части нервной системы, вызывает соответствующую мысль, которая выражается в видимом образе, в слышимом звуке, как только веко смыкается. Вот доказательство.

Два года назад, под действием перемен погоды, которые обыкновенно вызывают у меня приступы ревматизма в голове и в верхней части груди, галлюцинации появлялись, едва я закрывал глаза; они показывали фигуры, связанные с моими мыслями, а мысли в свою очередь были связаны с испытываемыми мною нервными возбуждениями. Однажды я почувствовал крайнюю тяжесть в лобных пазухах и в затылке, с ощущением напряжения и жара; в то же время я страдал от спазмов в желудке. Погода в тот день была очень жаркая. Я закрываю глаза и вижу кушанья на тарелке, словно мне снится сон после долгого поста; ничего аппетитного в этих кушаньях не было. Позднее, в мае 1862 года, у меня вечером была гипнагогическая галлюцинация, в которой мне явилась рука, державшая тарелку с пирожным. Через час я лег и увидел во сне, будто по службе библиотекаря меня вызвали в одну из императорских резиденций. Когда настал час завтрака, я с большим трудом отыскал дорогу в столовую и подошел к столу императора лишь тогда, когда трапеза почти закончилась и три четверти гостей разошлись; но на тарелке еще оставались пирожные. Сильно раздосадованный, я проснулся и почувствовал сильные нервные спазмы в желудке. Здесь очевидна связь сна и гипнагогической галлюцинации, вызванных одной и той же причиной. В другой раз, в 1864 году, днем на бульварах я рассматривал выставленные фотографические портреты и в тот же вечер в гипнагогической галлюцинации снова увидел

подобные портреты, в которых узнал лица, похожие на те, что меня поразили. Ночью мне снились портреты. На другой день после первого видения, о котором я только что вспомнил, боли мои перешли в шею, в уши, и гипнагогическая галлюцинация показала мне нечто вроде ножа, скоблившего кожу на голове, которую я различал неясно и которая исчезла при малейшем моргании. В тот же день я почувствовал боль в пятке и в пальцах ноги — это были дергающие боли с попеременным ощущением жжения и холода; опустив веки, я увидел босую ногу, потом обутую. В другую неделю, прочитав с напряженным вниманием одно немецкое место, темнота которого приводила меня в отчаяние, и находясь к тому же во власти своего ревматизма, я, засыпая, снова увидел свою книгу с закрытыми глазами. Однажды вечером я думал об одной знакомой, которую видел с обнаженными руками, и вскоре гипнагогически снова увидел ее с руками, обнаженными до самых плеч, такой, какой она предстала моим глазам, с засученными рукавами. Видения подобного рода не раз рисовали перед моими закрытыми веками, когда я был в состоянии полового возбуждения, облик женщин, чья красота поразила меня днем и на которых я некоторое время смотрел.

Эти факты ясно доказывают, что всякая мысль сопровождается началом ощущения, возвратом восприятия, к которому она относится, и что, наоборот, ощущение непременно пробуждает мысль. Нервное раздражение, которое я испытывал, делало мой организм тоньше и показывало мне то, чего в здоровом состоянии мы не видим; ибо когда ощущение не болезненно, оно слабее, мимолетнее, и тогда мысль, которую оно внушает, кажется самопроизвольной и не зависящей ни от какого телесного отклика, не имеющей иной причины, кроме чистой деятельности ума.

Болезнь, повторяю, обнаруживает нити, привязывающие наши ощущения к нашим мыслям и мысли к ощущениям; в обычном состоянии эти нити так тонки, что их не различить. Точно так же именно явное болезненное состояние делает очевидным влияние тела на перемены характера, вкуса, суждения, которые мы не всегда можем обнаружить в здоровом состоянии, потому что, когда мы здоровы, действие телесного начала на нас ускользает от нас; оно, так сказать, скрыто, как и перемены, совершающиеся в организме. Ибо не нужно забывать, что у здорового человека эти изменения крови, соков, нервов не менее многочисленны, чем у больного, только совершаются они в слишком тесных пределах, чтобы их можно было уловить, и тогда мы считаем свободным порождением мысли то, что есть лишь равнодействующая всех внутренних и скрытых действий.

Болезнь со своими признаками во многих случаях — лишь последняя ступень изменения, которое совершалось издавна и постепенно привело к расстройству отправлений. Это расстройство в сущности есть лишь видимая форма того, что существовало прежде в менее выраженном и еще внешне не уловимом виде.

То же самое происходит и с расстройствами восприятия и представления. Галлюцинация есть следствие тесной связи, существующей между ощущением воспринятым и ощущением представленным; это явление, в котором связь обнаруживается без всякой неясности.

Это объясняет нам, почему галлюцинация, хотя она и есть, как сказал г-н Лелю, превращение мысли в ощущение, все же не всегда является как последняя ступень этой мысли, как прямое и непосредственное следствие напряженного размышления, созерцания. Когда мы сильно и часто думаем о чем-нибудь и это

созерцание, это размышление вследствие ослабления нервной системы отзывается на ней сильнее обычного, возникает более частое внутреннее ощущение — ощущение того рода, что сопровождает всякое представление. Часть организма, потрясаемая этими повторяющимися отзвуками, утомляется, слабеет и становится подвержена, без внешней причины, самопроизвольным возбуждениям, спазмам, которые вскоре вызывают самопроизвольное пробуждение соответствующей мысли.

Возьмем пример. Ум человека встревожен мыслью, что он может разориться; эта мысль вызывает в нем внутренний образ последствий разорения; эти образы, вызываемые непрестанно, в конце концов возбуждают в волокнах, которые затронул бы этот самый образ, движение, совершенно тождественное тому, что возникло бы, если бы этот человек на деле присутствовал при своем разорении, видел свой обветшалый дом, свою изодранную одежду, свое распроданное имущество и т. д. Под действием повторяющихся возбуждений волокна в конце концов приходят в некое подобие эпилептического состояния; и следствием болезни становится то, что в один прекрасный день расстройство вспыхивает, даже если мысль и не обращалась к образу, затрагивающему эти волокна. В этом случае больные волокна охватывает настоящая судорога, и тотчас возникает мысль, которую вызывает это движение, не будучи вызвана ассоциацией идей. Галлюцинация является вдруг, когда меньше всего думают о ее предмете.

Так примиряются объяснение г-на Лелю и наблюдения г-на Байярже.

Итак, состояние галлюцинации не предполагает, собственно, переворота в умственных действиях; это лишь оживление мысли-

образа, вызванное тем, что внутренние части чувственных аппаратов, ставшие тоньше и легче возбудимыми, испытывают при работе представления отзвук более сильный, чем в здоровом состоянии, — отзвук, однако, той же природы, что и тот, который сопровождает всякую мысль.

ПРИМЕЧАНИЕ G. О НЕОСОЗНАННЫХ ДВИЖЕНИЯХ

✦

Со времени трудов Прохаски и Легаллуа физиологи признают *рефлекторные* движения, вызванные ответным действием чувствительных нервов на двигательный аппарат, которое совершается через посредство спинного мозга, без участия головного, а следовательно, и воли. Эти движения, хотя они вполне инстинктивны и в известном смысле механичны, тем не менее разумны и последовательны; они опираются на инстинкт самосохранения и чаще всего стремятся устранить причину разрушения или расстройства. Только ли эти движения мы совершаем, не сознавая их, или, по крайней мере, исполняем машинально и замечаем лишь при последующем, немедленном наблюдении? Я думаю, что более внимательное изучение отношений между явлением мысли, работой мозга, которая служит ее условием, и движениями мышц и нервов привело бы к признанию других рефлекторных явлений; но местом этих явлений служит сам головной мозг.

Мне кажется, я показал в этой книге, что всякое представление непременно связано с движением мозговых корешков чувственного аппарата, которое без нашего ведома, хотя и в ослабленном виде, воспроизводит самый факт ощущения. Как только мы думаем о каком-нибудь действии, которое всегда выражается для нас в определенном числе ощущений, наш мозг затрагивается так, как его затронуло бы само действие; сотрясение того же порядка, что сообщается мозгу при

действительном ощущении и из которого рождается восприятие, охватывает ту часть мозга, где выработалось бы восприятие. Я указывал, что, подобно тому как рефлекторная способность усиливается некоторыми веществами и средствами, применение различных приемов, действующих на нервы, или действие болезни усиливает этот отзвук мысли на чувственных корешках, заключенных в мозгу, и в конце концов придает нашим представлениям вид действительного восприятия: так бывает при галлюцинации[6].

[6] Простое явление мысли, выражающейся во внутренних словах, ясно показывает, как действует чувственный аппарат помимо самой этой мысли. Обратим внимание на то, как мы думаем, и мы действительно услышим, как я отмечал в этой книге, что в нас звучат, хотя и слабо, слова и речи, приходящие нам на ум. Если мозг переполнен кровью, это внутреннее слышание будет заметнее; оно может даже вызвать тягостное и несколько болезненное чувство. Наконец, если мысль становится очень живой, нервы, слегка возбужденные и уже потрясенные со стороны своих корешков, вступят в действие, приведут в движение мышцы, и мы будем думать вслух, выговаривать слова, как это наблюдается у людей, охваченных сильной озабоченностью, и особенно у душевнобольных.

Может ли это тайное соответствие между мыслью и нервами распространяться и на самые мышцы и сообщать нашему телу движения, которых мы не сознаем? Это я и предполагаю рассмотреть.

Один из самых выдающихся химиков нашего времени, г-н Шеврель, доказал своими любопытными опытами с исследовательским маятником, что мышечное действие может развиться в нас без вмешательства воли, лишь оттого, что наша мысль обращается к явлению, связанному с этим движением, хотя она и не составляет, собственно, заботы о мышечном действии, необходимом для проявления названного движения[7]. Каждый, впрочем, мог заметить, что некоторые движения совершаются в

нас под действием волнения, озабоченности, простой мысли, которая не всегда даже имеет своим предметом сами эти движения. Есть люди, страдающие перемежающимся нервным тиком, которых он, напротив, беспокоит сильнее, едва они озабочены тем, чтобы его не показать, едва чувствуют смущение. Мысли зевнуть или даже не зевать достаточно, чтобы вызвать желание зевнуть. Вот движения непроизвольные, которые скорее можно было бы назвать противовольными и которые возникают вслед за одной лишь мыслью об этом движении. При некоторых истерических или ипохондрических расстройствах наблюдаются подобные факты. Я знал одну даму, страдавшую истерией, которая во время приступов делала и говорила как раз то, чего не хотела ни говорить, ни делать. Боясь, как бы с ее уст не сорвалось неприличное слово, она против воли и плохо понимая, что говорит, произносила непристойные слова. Проходя вечером со свечой в руке по длинной пустынной галерее своего замка, она испытывала крайний страх оказаться там в темноте; и едва эта мысль приходила ей в голову, как она задувала свечу. Факты того же порядка наблюдаются при головокружении. Душевнобольные часто делают то, чего, по их мнению, не делают, и приписывают сверхъестественным причинам действия, которые сами же, без своего ведома, совершают.

---

[7] *О гадательной лозе, исследовательском маятнике и вращающихся столах с точки зрения истории, критики и опытного метода* (Париж, 1854, in-8°).

Явление, ясно доказывающее существование этих психических рефлекторных движений, — то, что показывают опыты с вращающимися и говорящими столами, которые так занимали воображение и до сих пор увлекают многих.

Г-н Шеврель в упомянутой выше книге о гадательной лозе и исследовательском маятнике с очевидностью показал, что эти

опыты воспроизводят факты того же порядка, что наблюдали Жербуэн, Фортис и Аморетти, и дал им весьма верное объяснение.

Я сам уже пришел к тем же мыслям, что и прославленный академик, когда прочел книгу, где они развиты и обоснованы совокупностью наблюдений, честь которых принадлежит ему. И, познакомившись с его превосходным сочинением, я пожалел лишь об одном — что оно недостаточно распространено и что доказанные в нем факты не проникли глубже в публику.

Да будет мне позволено изложить здесь вкратце, прибавив несколько собственных замечаний, суть мыслей, содержащихся в книге г-на Шевреля.

Несколько человек садятся вокруг стола и кладут на него руки. Они вовсе не намерены нажимать на него настолько, чтобы он затрещал или сдвинулся. Однако спустя некоторое время, если участники этого опыта остаются поглощены желанием узнать, когда стол повернется, часто бывает, что стол затрещит и придет в движение. Как только этому круглому столу сообщено движение, нажимы неизбежно становятся боковыми и складываются так, что ускоряют вращение стола. Очевидно, руки, лежащие на столе, на него давили, и это давление было совершенно непроизвольным и неосознанным; оно было следствием того, что участники сильно думали о том, чтобы заставить стол вращаться. Что руки действительно давили и что стол движется лишь до тех пор, пока есть боковое давление, — это несомненно доказали опыты гг. Фарадея и Шевреля. Вид движущегося стола тоже побуждал присутствующих сообщать ему движение; наблюдения с исследовательским маятником показывают, что вид движущегося предмета сильно влияет на непроизвольное действие, которое приводит его в движение. Итак, мысли довольно, чтобы вызвать легкие движения ладони и

пальцев, повторение которых положило начало сотрясению стола, по своей форме легко поддающегося вращению. А доказательство того, что здесь имеет место непроизвольное действие мысли на нервы, а затем на мышцы, в том, что стол вращается в ту или в другую сторону, смотря по тому, хотят ли все участники повернуть его справа налево или слева направо.

Но так как эти неосознанные нажимы очень трудно уловить из-за их малого размаха и мгновенности, некоторые отрицали, что они действительно бывают. Говорящие столы дают нам доказательство более убедительное.

Серьезные люди, присутствовавшие при множестве опытов с такими столами, смогли удостовериться в следующем явлении: стол, которому задают вопрос, всегда отвечает спрашивающему только то, во что тот верит или что у него на уме. Если спросить у стола, который час, сколько денег у вас в кошельке, как зовут друга и т. д., и, задавая вопрос, сами вы неверно знаете время, содержимое кошелька, имя друга, стол разделит ваше заблуждение. Этот стол, которому приписывают пророческий дар, отражает ваши мысли, ваши страхи и надежды. Верите вы, что им движет бес, — он ведет с вами бесовские речи; думаете, что невидимое, но благое существо дает о себе знать этими стуками, — вы получаете лишь назидательные ответы. Были люди, уверенные, что стол продиктовал им роман, музыкальную пьесу или песню, и эти сочинения оказывались того же слога и того же духа, что и произведения самих участников опыта. Доходило до того, что в сочинениях стола обнаруживались те же грамматические и орфографические ошибки, какие были привычны для спрашивавшего.

Итак, очевидно, что люди, заставляющие столы говорить, — я разумею, само собой, людей добросовестных, — получают обратно

собственную мысль. Здесь происходит рефлекторное движение, но не через спинной мозг, а через стол. Наши руки, пальцы, весь осязательный аппарат повинуются, сами того не сознавая, озабоченности или, как говорит г-н Шеврель, предрасположению, действующему на наш ум. Нажимы умножаются или прекращаются сообразно тому, какая буква должна войти в слово, которого требует наша мысль, обращенная на предмет, о котором спрашивают стол.

«Мой принцип, — пишет г-н Шеврель (с. 223), — может найти применение как к стучащим столам, так и к лозе, употребляемой для гадания, и потому я говорю, что, как только приобретено умение заставлять стол стучать той или другой ножкой[8], а вместе с ним и вера в разумность этого стола, я понимаю, как вопрос, обращенный к столу, пробуждает в человеке, который на него действует, без того чтобы он отдавал себе в этом отчет, мысль, следствием которой является мышечное движение, способное заставить одну из ножек стола стучать сообразно смыслу ответа, который кажется этому человеку наиболее правдоподобным».

[8] Г-н Шеврель заметил, что можно приобрести навык поднимать стол о нескольких ножках так, чтобы он встал только на одну из них. С другой стороны, он привел примеры, показывающие огромную силу слабых повторяющихся нажимов в порождении значительных движений.

Привычка точно так же может сообщать нашим пальцам движения, выражающие наше представление, без того чтобы наше внимание обращалось на сами эти движения. Музыкант, импровизирующий на фортепиано мотив собственного сочинения, не видит и, можно сказать, не знает ни одного из движений, которые должны совершить его пальцы на клавиатуре, чтобы извлечь ноты, которых требует его ум. Музыкальная мысль прямо выражается движением пальцев, которое, как научили нас

обучение и привычка, нужно для получения воображаемых звуков. Так же мы поступаем, когда говорим. Мы уже не знаем тогда, какое движение совершают наш язык, зубы, небо, гортань, чтобы издать различные звуки, выражающие нашу мысль; мы следим лишь за самой мыслью, и если мы не наблюдаем за собой, то едва слышим, как говорим.

Итак, обучение и привычка могут связывать с мыслью движения, которые ее выражают и которые мы совершаем почти не замечая[9].

[9] См. верные замечания г-на Шевреля о привычке в ее отношении к непроизвольным движениям, *О гадательной лозе*, с. 230 и след.

Пусть мысль будет очень сильной, озабоченность очень живой, пусть наша нервная система по своей тонкости и возбужденности теснее связывает ощущения с движениями мозга, — и мысль, которой будет одержим наш ум, вызовет у нас движения, выражающие эту мысль, как выражают ее в речи движения голосовой щели и ротового аппарата. Так у нас вырываются невольные восклицания, которые нас выдают. Непроизвольные движения тех, кто вертит столы, так же выдают их озабоченность, и участник опыта действует, не думая, что действует.

То, что происходит с вращающимися столами, происходит и с *медиумами*; но здесь мышцы прямо и непроизвольно совершают те движения, которые в предыдущих опытах передаются столу. У *медиума*, как у человека во сне, — я показал это в этой книге, — есть неосознанная мысль, и именно эта мысль водит его пером или карандашом. Она управляет движениями, которые кажутся тогда совсем непроизвольными, потому что они в известном смысле инстинктивны.

Отсюда видно, что изучение неосознанных движений и удивительных явлений, которые они производят, связано с

явлением сна, рассмотренным в этой книге.

ПРИМЕЧАНИЕ Н. ОБ УЧАСТИИ ИНСТИНКТОВ И СТРАСТЕЙ В СНОВИДЕНИИ

✦

Не только мысли, которые действуют в нас самопроизвольно, не будучи вызваны предшествующей умственной работой, но даже те, к которым мы приходим путем размышления, зависят от нашего организма. Собственное строение крови, нервов и тканей, темперамент порождают склонности или страсти определенного рода, и мысли при своей выработке испытывают влияние этих склонностей или страстей. Так, человек очень сангвинического сложения и раздражительной нервной конституции склонен к гневу; лимфатик — к вялости или лени; у желчного характер энергический или мстительный, им владеют честолюбие или ненависть, тогда как человек, чья нервная система легко возбудима, охотнее предается нежным или грустным чувствам. Из совместного действия и игры различных страстей, которые волнуют нас сообразно нашему темпераменту и влияниям, которым подвержен наш организм, складываются направление и склад наших представлений и мыслей. Без сомнения, мы можем размышлением и суждением изменить эти мысли и представления, но, каковы бы они ни были, они всегда сохранят отпечаток собственного характера нашего ума, следствия нашего темперамента. В свою очередь, ум действует на тело, и определенный, привычный род представлений и мыслей часто вызывает изменения в самом темпераменте.

Следует поэтому признать, что наши склонности и страсти участвуют в том, как мы понимаем вещи, как мы их видим, —

участие, в котором мы почти никогда не отдаем себе отчета. Состояние нашего организма — одна из главных причин того, каковы наши мысли и суждения. Всем известно, что некоторые болезненные расстройства окрашивают наши мысли грустью и меланхолией, что мысли становятся веселыми и шутливыми при известной степени опьянения, что смотря по тому, хорошо или плохо идет пищеварение, спокойны или возбуждены наши нервы, мы по-разному примем одно и то же впечатление.

Из этих телесных состояний, сильно влияющих на мысль, одни преходящи, другие связаны с коренным строением нашего организма; именно это последнее влияние проявляется без нашего ведома: так как оно не следствие перемены или преходящего расстройства, так как оно исходит из самой сущности нашего телесно-душевного существа, у нас нет данных для сравнения, которые позволили бы его оценить.

Во сне участие этих инстинктов и склонностей, рожденных нашим собственным темпераментом, постоянно, и так как их действие не ослаблено, как наяву, множеством причин и мыслей, мы можем лучше судить об их природе и, так сказать, об их глубине. Во сне открывается прежде всего человек инстинктивный. Разум отсутствует, по крайней мере отчасти, и уже не может бороться с влиянием организма. Отсюда сладострастные мысли у того, кого нравственное воспитание сделало целомудренным, кровожадные и мстительные мысли у того, чьи нравы то же нравственное воспитание необычайно смягчило, мысли о сверхъестественном у того, кого просветила наука. Человек, видя сон, возвращается, так сказать, к естественному состоянию; но чем меньше усвоенные мысли проникли в его ум, тем больше влияния на ум сохраняют во сне противоречащие им склонности.

Личное наблюдение лучше пояснит мою мысль. Я говорил выше, что часто нахожу в своих снах следы той склонности к вере в чудесное, которая врождена всем людям, но с которой умственное воспитание и разум борются и которую нередко им удается искоренить. Хотя я давно занимаюсь народными поверьями и потому хорошо знаю, что опоры в действительности у них нет, мне очень часто снятся сны, в которых у меня проявляется именно тот род веры в чудесное, против которого я больше всего возражал в своих книгах. Вот тому доказательство.

Мне снилось, что я с несколькими родственниками нахожусь в церкви, где стояла рака святой Женевьевы. Один из моих собратьев, случайно оказавшийся там, достал из этой раки какое-то вещество странной природы и объяснил мне, как оно меняет вид и чудесным образом не поддается химическому анализу. Эта мысль, несомненно, была навеяна недавно напечатанной газетной статьей о крови святого Януария, которую я прочел. Зная своего собрата как человека весьма просвещенного, я почувствовал, что его доводы, а особенно вид этого странного вещества, меня поколебали. Чтобы испытать его силу, я приложил его к одному из своих глаз, отчасти утратившему зрение. После чего, все так же во сне, я заснул. В сновидении, сопровождавшем этот мнимый сон, мне очень отчетливо явился мой отец, умерший тридцать три года назад, и сказал: «Это правда. Так угодно Богу». Пораженный изумлением и отчасти страхом, я проснулся от этого ложного сна, или, вернее сказать, от этого сна во сне. Я ощупал глаза и убедился, что больной глаз не прозрел. Тогда я понял, что это явление, должно быть, было обманом чувств и что нет серьезных оснований принимать о чудесном веществе те народные верования, о которых говорил мне собрат. Немного погодя я проснулся по-настоящему.

В этом бессвязном сне легко различить остаток веры в то, что я менее всякого другого склонен допускать. Эта давняя закваска веры в чудесное, которую возраст или событие, живо поразившее воображение, может оживить у просвещенного человека, вновь проявилась в моем сне!

ПРИМЕЧАНИЕ J. О ТЕОРИИ ДЭВИДА ГАРТЛИ ОБ АССОЦИАЦИИ ИДЕЙ

✦

Дэвид Гартли, знаменитый английский врач, родившийся в 1705 и умерший в 1757 году, оставил весьма замечательный труд о теории человеческого ума, который при выходе в свет не встретил того приема, какого заслуживал. Его книга во многих отношениях далеко опередила мысли своего времени, но авторитет некоторых тогдашних физиологов, и прежде всего великого Галлера, способствовал тому, что ее сочли химерическим построением и упрекали в том, что тогда называли материалистическими наклонностями. Успехи науки во многих пунктах оправдали Гартли перед его противниками. Более тридцати лет спустя после смерти этого врача знаменитый химик Джозеф Пристли, которому не была чужда ни одна из отраслей физических и нравственных наук, понял всю важность и значение мыслей, развитых в *Теории человеческого ума на основе начала ассоциации идей*, и выпустил ее второе издание (Лондон, 1790), предпослав ему введение.

Когда я писал свою книгу, труд Гартли был мне совершенно неизвестен, как он, к сожалению, неизвестен и большинству моих соотечественников. Случайно встретив в Лондоне в 1863 году издание Пристли, я нашел во взглядах, развитых знаменитым английским врачом, мысли, весьма близкие к тем, что предложил я сам, и считаю полезным дать здесь их краткое изложение; оно дополнит обзор, приведенный выше.

Физики прошлых веков для объяснения явлений, природа которых была им известна лишь несовершенно, обычно

прибегали к вмешательству особых флюидов, определенных так, чтобы объяснить эти явления. Так придумали два электрических флюида, положительный и отрицательный, так теплоту, свет, магнитную силу представляли в виде других невесомых флюидов. Неудивительно поэтому, что пытались объяснить нервное действие вмешательством еще одного флюида, который течет по нервам, как по трубкам, и таким образом доставляется от нервных окончаний к мозгу. Это учение было весьма распространено, когда Дэвиду Гартли, пораженному ролью, которую открытия Ньютона отводили колебаниям в оптике и в особенности в зрении, пришла мысль, что подобное явление должно происходить и в мозгоспинной системе. Он указал, что раз луч света, падая на дно глаза, вызывает колебания в сетчатке, эти колебания должны распространяться по волокнам зрительных нервов до мозга и производить там зрительное ощущение. Движения такого рода способны продолжаться весьма долго: ведь мы видим, что теплота, тоже вызванная колебаниями, держится в плотных телах столь же долгий срок; поэтому нервы, благодаря своей однородной плотности, могут проводить к мозгу впечатления, произведенные на органы чувств, как с сетчатки, так и с любой другой точки организма. Оптика доказывает, что различные роды лучей, смотря по размаху и числу колебаний, или, говоря языком современных физиков, по длине волн, вызывают в нас ощущения различных цветов, совершенно так же, как звуковые волны, различные по протяженности и быстроте, вызывают в нас ощущение различных звуков.

Гартли полагает, что так обстоит дело не только с чувствами в собственном смысле: по его мнению, явление того же порядка повторяется во всей нервной системе и в мозгу при возникновении и ассоциации идей.

Способность мозга сохранять впечатления весьма сходна со способностью сетчатки, долго и сильно возбужденной лучами света, испытывать то же впечатление, что и под их прямым действием, иначе говоря, под действием порождающих их колебательных или волновых движений. Поскольку мозг есть лишь ствол нервного вещества, способ передачи и сохранения впечатления должен быть одной природы в нервах и в мозгу. Итак, если нервные проводники передают и сохраняют впечатление, произведенное на их конце, посредством колебаний или последовательных движений, то колебания или последовательные движения должны совершаться и внутри мозга, чтобы передавать и сохранять воспринятые впечатления, а следовательно, и идеи. Нельзя удивляться тому, что мозг способен к бесконечному разнообразию движений, которого требует множественность ощущений и идей, если подумать, к какому поразительному разнообразию колебаний способен воздух: число звуков и их сочетаний, можно сказать, безгранично. Сколько людей могут говорить одновременно, сколько разных звуков может прозвучать, и ухо услышит их все разом, не смешивая! Если разнообразие идей рождается из колебаний или движений мозга, то по аналогии с тем, что происходит со звуком, понятно, что не только размах колебаний, соответствующих сотрясению одной и той же природы, но и род этого сотрясения, отвечающий тому, что в акустике есть тон, и точка мозга, первой приведенная в движение и становящаяся средоточием сотрясения, дают столько же различных действий. Если первоначального разнообразия колебаний достаточно, чтобы объяснить все разновидности того, что можно назвать простыми идеями, то же верно и для их сочетания, то есть для сложных идей. Всякая идея всегда предполагает совокупность впечатлений, а следовательно,

механических сотрясений нервов и мозга, и в зависимости от нервного склада каждого человека получатся различные действия. Восприятие всякого ощущения и всякой идеи предполагает, таким образом, известное движение в определенной области мозга, в составляющих ее волокнах, и, как только эти волокна были потрясены вследствие данной идеи или совокупности идей, они приобретут особую способность колебаться; они сохранят остаток колебания; но это последующее колебание неизбежно будет сильно отличаться по силе и в других отношениях от первоначального, — и это различие позволит уму отличить предмет присутствующий от предмета лишь вспоминаемого, точно так же как ощущение цвета, которое получает глаз, когда на него надавливают пальцем или когда его резко ударяют, нельзя смешать с ощущением цвета, которое дает ему луч света того же оттенка. Если по той или иной причине, например при возбуждении нервной системы, при приливе крови к мозгу, сохраненное впечатление, то есть остаток колебания, приобретет силу, равную силе первоначального колебания, воспоминание может смешаться с действительным образом, представление — с впечатлением от действительного предмета: так бывает во сне и при галлюцинациях душевной болезни.

Предположение, что частицы мозга, однажды приведенные в колебание, сохраняют склонность колебаться тем же образом, получает новую степень вероятности от того факта, что всякое твердое вещество, форма которого временно изменилась под действием внешней силы, никогда, когда эта сила устранена, в точности не возвращается к первоначальному расположению молекул; пока на него не подействует другая сила, оно хранит следы временного изменения, которому подверглось. Так, лук, однажды натянутый, не возвращается к прежней форме; он

сохраняет легкий изгиб, потому что сферы притяжения и отталкивания, окружающие каждую из молекул вещества лука, от перемены взаимного положения, даже очень краткой, претерпели некоторое изменение.

Ощущения удовольствия и боли, которые испытывает глаз в зависимости от цвета световых лучей, показывают, что удовольствие и боль для наших чувств зависят от размаха колебаний или волн. Здесь лишь вопрос степени, так что от одного к другому переходят незаметно. Так, умеренная теплота приятна, и удовольствие от этого ощущения растет, пока температура не достигнет известной степени, за которой она начинает становиться тягостной; затем боль растет так же, как прежде росло удовольствие, по мере того как температура поднимается.

Поскольку каждое ощущение, как и каждая идея, отвечает колебанию в мозгу, и наоборот, каждое колебание порождает ощущение или идею, естественно допустить, что, если два колебания возникают одновременно, они будут взаимно видоизменять друг друга: молекулы мозгового или спинномозгового вещества будут колебаться не совсем так, как колебались бы, если бы каждое из этих колебаний было отдельным. Приведенные в движение молекулы испытают каждая двойное влияние и сохранят его след. Если затем по какой-либо причине одно из этих колебаний повторится, затронутые молекулы как бы путем индукции вызовут колебание, которое некогда ему сопутствовало. Так объяснялось бы явление припоминания одной идеи посредством другой, с нею связанной.

Гартли принимает, что явления памяти, воображения, воли, рассуждения и вообще все умственные действия суть лишь различные виды ассоциации идей, сводя таким образом

умственную жизнь со всем ее разнообразием и сложностью к тому единству, которое физики находят в явлениях, по видимости самых сложных, таких как тяготение, электричество, теплота и т. д. И действительно, разбор умственных действий показывает, что их вовсе не невозможно свести к чистому и простому факту ассоциации идей.

Предположим, что человеческий ум приобрел известный запас идей вследствие ряда впечатлений, произведенных на чувства, и что эти идеи связаны между собой различным образом, так что, когда присутствует одна, она пробуждает некоторые другие, тесно с ней связанные, — и у нас будет все, что нужно для объяснения явления памяти; ибо мы не обладаем способностью вызывать по произволу любую идею, будить ее в нужный миг; мы можем лишь вспомнить идеи, с которыми она связана в силу прежней ассоциации, возникшей оттого, что эти различные идеи в какое-то время одновременно затронули ум. Ощущение пробуждает идею, а эта идея вызывает другие по закону ассоциации. Так, вид человека, воспоминание о нем, пробужденное в нас словом или какой-либо другой связанной с ним идеей, обычно напоминает его имя, потому что имя и облик этого человека связались в уме. Если ассоциация этих двух впечатлений не оставила следа, достаточного, чтобы одно вызывало другое, мы вынуждены прибегнуть к вызову новых обстоятельств, также связанных с одним из двух впечатлений или с обоими сразу. Когда мы повторяем известное число слов, из которых состоит фраза, или стихи поэмы, последнее слово каждого стиха или каждой фразы напоминает следующий стих или фразу, потому что они изначально были связаны в уме, — вот почему мы можем удерживать их в их порядке. Но если бы мы захотели прочесть ряд фраз или стихов, начиная с конца и кончая началом, мы смогли бы

сделать это лишь после нового изучения, нового упражнения, которое установило бы обратные ассоциации, способные сцепить слова между собой в новом порядке.

Это о памяти. В явлении воображения мы опять-таки лишь связываем идеи, обязанные прежним впечатлениям, по известным законам, зависящим от движения нашего мозга и распространяющихся в нем ощущений. Идеи, которые называют новыми, на деле лишь новые сочетания простых идей, уже существующих в уме, или разложения сложных идей.

Суждение сводится либо к восприятию, к утверждению совпадения двух впечатлений, одновременно затрагивающих ум, взаимную зависимость которых он таким образом признает, либо к отрицанию этого совпадения. Например, когда я говорю: молоко бело, дважды два — четыре, я лишь утверждаю постоянную для всех ассоциацию двух идей, а принятие того или иного начала через другую ассоциацию идей приводит меня к утверждению или отрицанию того или иного совпадения. Когда мы говорим, что Александр Великий победил Дария, мы выражаем лишь тот факт, что лицо, с которым связано имя Александра, то же самое, что победило Дария. Когда мы говорим: Бог добр, мы утверждаем, то есть удостоверяем посредством своего рода проверки, что существо, которое мы называем Богом, по своим делам и поступкам обладает тем же расположением, которое заставляет нас говорить, что человек добр. Ассоциации, повторяемые таким образом, приводят нас к пониманию общих и отвлеченных истин, то есть к связыванию идей независимо от частных ощущений и восприятий, которые их внушили; а аналогия, которая тоже есть лишь ассоциация идей, вызванная известными сходствами, а следовательно, связями впечатлений, заставляет переносить на

другие суждения, конкретные или отвлеченные, отношения, выведенные из первых.

Далее Гартли показывает, как страсти, то есть нравственная жизнь человека, также берут начало в ассоциации идей; ибо они зависят от того, что известные чувства, известные волнения были однажды сильно или много раз связаны с идеями или особыми обстоятельствами, которые в силу самого закона ассоциации способны их пробуждать. Возьмем для примера страх. Мы каждый день видим, что ребенок боится какой-нибудь вещи лишь с той минуты, когда эта вещь или другая, с ней связанная, стала для него действительной или мнимой причиной страдания, неприятности. Неприятная мысль, оставленная в уме воспоминанием об этом тягостном ощущении, связывается с мыслью об обстоятельствах, в которых он был неприятно или болезненно задет, и постепенно сама эта мысль о страдании так тесно соединяется с обстоятельством, что оно становится для ума настоящей причиной боли или страдания. Вот почему ребенок боится огня лишь с того дня, как обжегся, собаки — лишь с той минуты, как она его укусила. Подобным же образом страсть любви рождается из ассоциации приятных обстоятельств с мыслью о предмете, вызывающем эту любовь. Все наши страсти можно, таким образом, свести к чувствам страха или привязанности, меняющимся в зависимости от отношения к нам предметов, к которым эти чувства обращены. Изначально всякая страсть всегда корыстна, то есть рождается из ассоциации идей страдания или удовольствия; но вследствие новых ассоциаций идей вещей или людей, одно напоминание о которых пробуждает в нас отзвук других идей, связанных в свою очередь с первыми ассоциациями между страданием или удовольствием и вызывающим их предметом, наши страсти принимают

бескорыстный характер. Вот почему ребенок любит кормилицу или мать: мысль об этих людях связывается с мыслью о различных удовольствиях, которые они ему доставили, которые он испытал в их присутствии. Как только эта тесная связь установилась, всякое удовольствие, всякое страдание, испытанное в свою очередь кормилицей, матерью, пробуждает в ребенке соответствующее чувство, потому что постоянная ассоциация впечатлений породила новые сочувствия.

Любовь к деньгам — явное доказательство того, что страсти рождаются именно так. Скупость, быть может, из всех страстей та, что проявляется в жизни позже всех и сильнее всех растет с возрастом. Ребенок любит в монете лишь ее форму и блеск; он не знает того совсем иного удовлетворения, которое обладание монетой пробуждает в том, кто знает цену деньгам и терпел нужду. Сперва дает себя почувствовать удовольствие, порождаемое мыслью об обладании, — удовольствие, проистекающее из ассоциации идей о различных удовлетворениях и выгодах, которые может доставить нам монета. Мало-помалу эта сложная идея удовольствий, которые могут дать нам деньги, так тесно связывается с самой идеей денег, что они становятся предметом самостоятельной страсти, и человек в конце концов ищет их, даже не думая о выгодах, которые они могут ему принести.

Воля — другое умственное явление, в котором участвуют предыдущие; в конечном счете это лишь видоизменение страсти желания, но происходящее без того волнения, того особого сотрясения, которое может вызвать мысль о любимом предмете, которым не обладаешь. Затем следуют действия, мысль о которых связалась в уме с самими этими предметами и которые, как показал ему опыт, пригодны для их получения. Так, ребенок

сначала протягивает ручку и делает хватательное движение, хотя внимание его не направлено ни на какой определенный предмет; ладонь его в эту минуту испытывает раздражение, повинуется какому-то возбудителю, приводящему в движение мышечную систему. Это чистое явление инстинкта. Вскоре в эту ручку кладут игрушки, лакомства, и, сжимая пальцы, ребенок постепенно научается протягивать руку, раскрывать ладонь, чтобы схватить предметы, которые попадаются ему на глаза и вид которых через ассоциацию идей пробуждает чувство желания. Со временем это действие становится ему так привычно, так тесно связывается с видом любимого предмета, что рука протягивается и хватает, едва предмет замечен.

Все проявления инстинкта, какие мы видим у животных, при разборе сводятся к такому же простому происхождению. Их исходная точка поистине автоматична: мышцы сначала сокращались непроизвольно, в силу свойства своей ткани и нервного действия, которое само зависит от собственного строения составляющих их частиц. Действие мышц, сначала непроизвольное, быстро связывается с сопровождавшим его мозговым сотрясением известного рода, иначе говоря, мысль связывается с движением, и движение следует за ней немедленно и механически. Например, одно из самых инстинктивных действий — то, которым животное, падая, восстанавливает равновесие, — есть лишь приобретенное знание; ибо мы видим, что ребенок лишь постепенно и медленно приходит к этому чувству равновесия, то есть к той тесной и мгновенной ассоциации идей и действий, которая всегда имеет место в инстинкте.

Впрочем, в том, что Гартли говорит об инстинкте, он недостаточно принял в расчет способности, передаваемые по

наследству, то есть большую предрасположенность мозговых волокон с самого начала воспринимать известные впечатления и сочетаться в своем движении. Это замечание приложимо также к страстям, к умственным способностям, которые могут передаваться через рождение. Не все в животном есть знание, приобретенное им самим; в нем совершаются и непосредственные ассоциации, обусловленные собственным строением мозга и нервов, которое оно унаследовало от родителей.

Это соображение, которым Гартли слишком пренебрег, следует помнить и при приложении его гипотезы к сложным и отвлеченным идеям. Английский врач принимает вместе с Локком и всей школой, которую называют сенсуалистической, что ощущения — источник всех наших идей. Без сомнения, внешние чувства доставляют нам для них материал, но многочисленные и сложные ассоциации этого материала вскоре порождают отвлеченные идеи, идеи чистого размышления, происхождение которых трудно распутать. Гартли пытался сделать это проницательно и часто удачно; но он недостаточно принял в расчет особое устройство, с помощью которого ассоциации ощущений и идей до бесконечности слагаются, расширяются, ограничиваются и проникают друг в друга. Есть начало деятельности, которое направляет все эти действия и с самого своего появления подчиняется собственным законам, источник которых следует искать за пределами отдельного существа. Человек имеет не только идеи, приобретенные повседневным опытом; у него есть и такие, что обусловлены его врожденным строением и которыми Бог наделил его, как наделил животное, ради цели, для которой его сотворил. Без сомнения, даже когда участвует переданный инстинкт или наследственная страсть, движения мозговых и нервных волокон должны совершаться так

же, как при явлениях, порожденных ассоциациями ощущений и идей, приобретенных в течение жизни; мозгоспинная система в этом случае затрагивается не иначе; но сама причина совершающихся в ней сотрясений, колебаний проистекает тогда из самих источников жизни. Гипотезы Гартли достаточно, чтобы объяснить работу органов, но она не может достичь первоначальной причины тех сотрясений, что отдаются в нас, передаются от поколения к поколению, пробуждаются вместе с жизнью, упорядочивают и поддерживают ее. Столь безусловный автоматизм, каким его мыслит английский врач, приводит нас во всем механическом, что есть в существовании, к простой силе, видоизменения которой порождают разнообразие явлений; но до исходной точки самой этой силы мы проникнуть не можем, и когда высшим усилием, которое есть вершина сложности умственных действий и мыслящей способности, мы, углубившись в себя, приходим к тому, чтобы удостовериться, что мы такое, и проверить свое существование самим фактом мысли, — сознание пробуждается в нас над вещественным механизмом и многообразной согласованностью движений; тогда есть двигатель, который не может быть колеблющимся нервным веществом; этот таинственный двигатель, в человеке, как и во всей природе, ускользает от опыта.